



В.М.Дорошевич
ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ



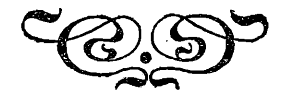




Литературная
летопись
Москвы

В. М. Дорошевич

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ





Московский рабочий
1986

Р1
Д69

Составление, предисловие, примечания
С. И. ЧУПРИНИНА

Рецензент: кандидат искусствоведения
Б. Н. ЛЮБИМОВ

Художник *А. В. ЛЕПЯТСКИЙ*

Иллюстративный материал подобран из фондов
Музея истории и реконструкции города Москвы
П. Ф. НИКОЛАЕВЫМ

Дорошевич В. М.
Д69 Избранные страницы / Сост., предисл., примеч. С. И. Чупринина.— М.: Моск. рабочий, 1986.— 416 с., ил.— (Литературная летопись Москвы).

На рубеже XIX—XX веков не было, наверное, в России журналиста, мастера сатирической прозы более популярного, чем В. Дорошевич (1864—1922). «Король фельетонистов», как его называли читатели, оставил обширное творческое наследие, а лучшие его произведения выдержали испытание временем и сейчас привлекают внимание остротой и блеском литературного изложения.

В созданнной В. Дорошевичем художественной летописи русской жизни предоктябрьских десятилетий особо выделяются страницы, посвященные Москве, ее быту, традициям, культуре.

Д $\frac{4702010100—140}{М172(03)—86}$ 165—87 Р1

ГАЗЕТНАЯ МУЗА ВЛАСА ДОРОШЕВИЧА

Жизнь Власа Михайловича Дорошевича (1864—1922) окаймлена личными несчастьями.

Сиротство вначале: шести месяцев от роду он был немилосердно брошен в гостиничном номере матерью — А. И. Соколовой, третьеразрядной беллетристкой с радикально-эмансипированными, «нигилистическими» взглядами и замашками. Перед тем, как скрыться, мать приколола к детской рубашонке записку с просьбою назвать ребенка Блезом — «в честь Блеза Паскаля». Хорошо еще, что подвернулся добрый человек, вынянчил, усыновил, дал свою фамилию и заодно, переиначив французского Блеза на российский манер, дал и имя. Стоило, однако, мальчику подрасти, как мать нежданно объявилась и все с той же грубой безжалостностью — по суду — вытребовала его к себе.

Потом-то, спустя годы и годы, отношения между матерью и сыном внешне вроде бы наладились, они даже работали одно время вместе в редакции московской газеты «Новости дня», впрочем, как вспоминает служивший в той же редакции В. А. Гиляровский, она «не признавала его за своего сына, а он ее за свою мать... Никто не знал об их родстве...». Жестокая душевная травма, очевидно, не заживала, и, став уже знаменитым писателем, Дорошевич не раз возвращался к разговору о правах детей, и в частности «о праве избавляться от дурных родителей». Заслуживает, наверное, упоминания тот факт, что фельетон «О незаконных и о законных, но несчастных детях», где Дорошевич особенно резко говорил о произволе судей, которые «присудили ребенка отвратительному существу, когда-то отказавшемуся от своего ребенка», появился еще при жизни А. И. Соколовой и, надо думать, был оценен ею по достоинству...

Стартовая ситуация в известной мере повторилась и в последние годы жизни писателя. Вихрем гражданской войны Дорошевич

был заброшен сначала в Харьков и Киев, затем в Севастополь, затаился там, пробавляясь случайными лекциями, но упорно отказываясь и от соблазна эмигрировать: «Русский писатель имеет цену только до тех пор, пока ноги его стоят на русской земле»,— и от самых лестных предложений сотрудничать в белогвардейских изданиях: «Я не хочу испортить своего некролога».

Некролог между тем не заставил себя ждать: журналист и издатель А. Е. Кауфман, поверив слухам о смерти Дорошевича в Крыму, поместил известие об этом в октябрьском номере журнала «Вестник литературы» за 1920 год. И лишь спустя почти год Дорошевичу, и тут не потерявшему чувства юмора, удалось через тот же журнал сообщить читателям о ложности распространившихся слухов: «Гражданин редактор! С теплым чувством прочел я в «Вестнике литературы» свой некролог.

В нем все правда, за исключением одной фразы: я не умер.

Известие несколько преждевременно.

Извините, пожалуйста, но я жив — чего и другим от души желаю».

Но жить ему, к сожалению, оставалось уже совсем немного,— сделав после освобождения Крыма от белых заявление о «полном присоединении» к Советской власти, больной, обнищавший и полузабытый писатель вернулся в Петроград, оказавшись, по сути, и без семьи, и без средств к существованию. Деятельно вмешавшийся в ситуацию М. Е. Кольцов попытался привлечь ветерана русской журналистики к активной работе в большевистской печати, и Дорошевич действительно написал несколько фельетонов и памфлетов о царской фамилии и о зверствах белой армии в Крыму, но... Силы были уже на исходе, болезни одолевали все настойчивее, ощущение исчерпанности собственного жизненного предназначения уже укоренилось в душе, и 23 февраля 1922 года Влас Михайлович Дорошевич скончался. Похоронен он на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде, неподалеку от могил Белинского и Плеханова.

Такова биографическая «рама» судьбы самого, быть может, знаменитого из русских журналистов конца XIX — начала XX века, человека, бесконечно много сделавшего для того, чтобы уравнять «газетную прозу» в правах с высокой литературой.

Что же внутри «рамы», на полотне судьбы?

Труд, труд и еще раз труд.

Количество написанного Дорошевичем не поддается пока учету, и исследователи — здесь в особенности следует отметить С. В. Букчина, автора единственной у нас монографии о Доро-

виче — «Судьба фельетониста» (Минск: Наука и техника, 1975) — вводят в научный оборот все новые и новые публикации писателя в повременной печати, открывают неизвестные прежде страницы его кипучей общественной, литературной и собственно журналистской деятельности.

Пройдя в юности суровую жизненную школу — он был и землекопом, и грузчиком, и корректором, и актером, давал уроки, поставлял базарным издателям переделки повестей Н. В. Гоголя, знавал самую горькую нужду,— Дорошевич уже с начала восьмидесятых годов раз и навсегда связал себя с газетной работой. В его «послужном списке» — «Московский листок», «Волна», «Голос Москвы», «Развлечение» и «Будильник», где Дорошевич сотрудничал вместе с начинавшим тогда Антошей Чехонте, сравнительно солидные «Новости дня» и тяготевшая к сенсациям «Петербургская газета», респектабельный «Одесский листок» — одна из крупнейших провинциальных газет либерального направления и высоко влиятельные «Россия», «Русское слово», пытавшиеся задавать тон всей отечественной массовой периодике...

Сменялись издания, рос и общественно-литературный авторитет Дорошевича, укреплялись его известность, материальная и творческая независимость, его безупречная профессиональная репутация. Начав, как и полагалось молодому, без связей и имени газетчику той поры, с анонимных или подписанных забавными псевдонимами юморесок и репортерских заметок в «трактирной» печати[1], Дорошевич уже к рубежу веков перешел в разряд признанных мастеров, стал заметной величиной в общероссийской политической и культурной жизни. Его фельетонами, судебными очерками, обзорами театральных сезонов, юмористическими рассказами и поэмами, путевыми заметками зачитывались, его Собрание сочинений бойко распродавалось, его разоблачительная книга «Сахалин» попала в центр внимания передовой общественности, подверглась жестоким преследованиям со стороны правительственной бюрократии, его талант высоко ценили Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, А. М. Горький, К. С. Станиславский, В. В. Стасов.

С газетной поденщиной давно вроде бы можно было распроститься, как вовремя распростились с нею многие известные литераторы конца XIX — начала XX века, дебютировавшие, подобно Дорошевичу, в разного рода «листках» и журнальчиках. Лета́, ка-

---

[1] «У редактора одного листка,— вспоминал позднее Дорошевич,— спросили:

— Какое же направление вы придаете вашей газете?

— Да все больше по пивным и портерным направляем,— скромно отвечал редактор».

залось бы, клонили к капитальным занятиям, к «чистому» писательству или хотя бы к «чистой» политике, но...

Дорошевич оставался и остался газетчиком.

Он, конечно, клял судьбу, зло вышучивал нравы, царившие в кругу представителей «второй древнейшей профессии» и их работодателей, горевал, вглядываясь в трагические судьбы одаренных, честных людей, не выдержавших испытание газетной барщиной: «Когда у журналиста, измученного ежедневной работой, не хватает больше сил на эту ужасную, вытягивающую все соки работу, его без церемоний выбрасывают, как выжатый лимон, как истоптанную подошву.

Сколько сошло с ума!

Сколько покончило самоубийством!

Сколько преждевременно сошло в могилу от чахотки, от истощения, от изнурения непосильной работой».

Но сам Дорошевич не сделал ни одной серьезной попытки вырваться из газетной каторги. Работоспособность и продуктивность его с годами, с приобретением «сановного» положения в журналистском мире не падали, и, наверное, не один из теперешних газетчиков изумится, узнав, что, подписывая в 1901 году договор о сотрудничестве с сытинским «Русским словом», признанный метр, «король фельетонистов» обязывался, наряду с «общим наблюдением» за редактированием газеты, «давать для «Русского слова» 52 воскресных фельетона в год», а также «отдельные статьи по текущим вопросам общественной жизни, числом не менее 52-х в год».

Два объемных, остро актуальных и непременно ярких фельетона в неделю при условии исполнения повседневных редакторских полномочий! — так давно уже не работает никто из мало-мальски заметных профессионалов пера, подолгу вынашивающих каждый замысел, подолгу собирающих материал, «вылизывающих» слог и композицию, уточняющих акценты, выверяющих цифры, факты, имена и т. д. и т. п.

Дорошевич работал именно так.

И не жалел об этом.

И мы сейчас, хотя и отдаем себе отчет в неравноценности оставленного Дорошевичем наследия, в общем-то не жалеем об этом.

Почему?

Удержимся от искушения списать все на уникальность натуры Дорошевича, на его поистине непостижимую способность, не повторяясь или почти не повторяясь, быть в каждой газетной публикации и остроумным, и блестящим, и тонким, и многознающим собеседником массовой аудитории.

Дорошевич действительно неповторим, почему мы и выделяем именно его в когорте «золотых перьев» отечественной журналистики. Но с тою же продуктивностью, а иногда и с не меньшим блеском, с не меньшей эффективностью, работали в предоктябрьские десятилетия и А. В. Амфитеатров, и В. А. Гиляровский, и Вас. Ив. Немирович-Данченко, и А. Р. Кугель, и С. Т. Герцо-Виноградский, и другие «газетные писатели», чьи имена были тогда на слуху у десятков тысяч читателей.

Работать так было принято, и поэтому, не умаляя нимало масштаб исключительной одаренности Дорошевича, скажем все-таки несколько слов о беспрецедентной по-своему ситуации, в которой реализовывалась эта одаренность, а также и о требованиях, которые предъявлялись в ту пору к газетчикам.

Но сначала о ситуации, о том, что начиная с семидесятых—восьмидесятых годов минувшего века в отечественной печати произошли важные изменения. Традиционная для России «журналоцентричность», когда наиболее сильные перья собирались в редакциях «толстых», по-профессорски солидных ежемесячников, постепенно стала подаваться под напором ежедневных газет и оперативных еженедельников. Достаточно сказать, что если в 1871 году в России выходило 14 журналов разного содержания и 36 газет общественно-политического характера, то уже в 1890 году было 29 журналов и 79 газет.

Причин здесь множество. Во-первых, по мере превращения страны из феодальной монархии в монархию буржуазную росло, как бы этому ни сопротивлялись царские бюрократы и доброхоты-мракобесы, число грамотных людей, приобретавших вкус если не к участию в общественной жизни, то хотя бы к ее обсуждению и, следовательно, нуждавшихся в оперативной, широкой и разносторонней информации. Журналы в России выписывали сотни, редко тысячи, людей, принадлежавших, как правило, к состоятельной, высокообразованной части общества. Газеты же обращались сразу к демократическому большинству населения, не требовали от читателя ни особых умственных усилий, ни высокого образовательного ценза, бойко распродавались в розницу и, значит, приносили (точнее, в случае успеха могли принести) издателям быстрый и изрядный барыш, что, если останавливаться на «во-вторых», притягивало к газетной индустрии опытных и ловких дельцов, стремившихся к личному обогащению. Да и многие правовые акты царской администрации объективно поощряли возникновение газет консервативного, либерально-реформистского или, еще лучше, безлико-коммерческого содержания.

Газетное дело стало прибыльной статьей вложения капитала, и Дорошевич, вспоминая своего первого редактора, полуграмотного,

стихийно талантливого Н. И. Пастухова, выбившегося благодаря ходкости «Московского листка» из нищих репортеров в миллионеры, недаром писал:

«Успех «Московского листка» кружил головы,
Всякому хотелось в Пастуховы!
«Московские листки» возникали десятками,
Про таких издателей спрашивали:
— Этот с чего газету издавать вздумал?
— Спать не может.
— Почему?
— Пастуховские лошади очень громко ржут».

А тут еще и технический прогресс, значительно облегчивший, а главное, удешевивший выпуск и сбыт газет. Резко увеличилось производство бумаги; появились мощные печатные машины (так, владелец «Нового времени» А. С. Суворин уже в конце семидесятых годов обзавелся вывезенной из Парижа ротационной машиной производительностью 20 тысяч оттисков в час); телеграф и телефон во много раз ускорили поступление информации из провинции и заграницы; возникли частные Русское (1866), Международное (1872) и Северное (1882) телеграфные агентства; рисованные иллюстрации с конца восьмидесятых годов сменились фотографиями, исполненными способом автотипии...

И еще одно обстоятельство достойно отметки историка периодической печати в России. Это связанное прежде всего с подъемом революционного движения относительное ослабление цензурных тисков, которое хотя и перемежалось периодами бешеных ужесточений, «закручивания гаек», но все ж таки давало сотрудникам легальной печати возможность, не задевая впрямую царствующую фамилию и основы самодержавной власти, подвергать едкой критике действия отдельных представителей бюрократии, идеологов и пособников реакции, денежных тузов, промышленных магнатов, судей, прокуроров и адвокатов, чиновников от здравоохранения, народного просвещения и социального обеспечения.

Поэтому сегодняшнему читателю таких, например, произведений Дорошевича, как «Маленькие чиновники», «Старый палач», «Истинно русский Емельян», «И. Н. Дурново» и т. д., полезно напомнить, что все они появлялись на страницах подцензурной печати, выделяясь на общем газетном фоне скорее блеском изложения, устойчивостью вольнолюбивых воззрений автора, нежели своей критической направленностью.

Поразительно, но факт: в России с ее декретированными свыше законопослушностью, идеологическим добронравием и единомыслием почти не было общественных слоев, симпатизировавших практическим действиям царской администрации. Мотивы оппо-

зиционных настроений и их глубина, их социально-политические корни были, естественно, различны, и уже первая русская революция 1905—1907 годов выявила, сколь иллюзорен миф о существовании общедемократической оппозиции царизму.

Об этом мы еще будем говорить. Но пока речь о другом. О том, что такой миф действительно бытовал сравнительно долгое время — вплоть до возникновения революционной ситуации в стране. О том, что любое издание, не желавшее прослыть совсем уж «рептильным», а значит, не желавшее потерять популярность у публики, просто-таки обязано было сдабривать свою продукцию «оппозиционным перчиком», печатать сенсационно разоблачительные материалы, интриговать — с большей или меньшей дерзостью — против власть предержащих.

И о том, что всем этим изданиям — от «трактирных» до «профессорских», от «Русских ведомостей», где сотрудничали Чернышевский, Чехов, Горький, Михайловский, до «Санкт-Петербургских ведомостей», газеты, которую еще Салтыков-Щедрин метко назвал «старейшей российской пенкоснимательницей», от «России», претендовавшей на роль флагмана отечественной оппозиции, до «Нового времени», тоже принужденного заигрывать с либерально настроенной публикой,— так вот, всем этим изданиям конца XIX — начала XX века остро потребовались бойкие перья, репортеры, умевшие находить и раздувать сенсации, фельетонисты, балансирующие на грани дозволенности и недозволенности, присяжные острословы, способные «продернуть» кого угодно и тем самым поднять планку ежедневного тиража.

Влас Михайлович Дорошевич долгое время казался одним из таких бойких, хватких, беспринципно дерзких журналистов.

Да вот пример. Заслужив уже за годы сотрудничества с «Московским листком», московскими «Развлечением», «Будильником», «Новостями дня» репутацию отважного обличителя современных нравов, Дорошевич приехал в Одессу и в первом же своем фельетоне на страницах «Одесского листка» ядовито высмеял местного «столпа общества», тайного советника и матерого спекулянта зерном Г. Г. Маразли, который только-только отпраздновал «15-летие беспорочной службы на посту городского головы».

Скандал? Еще какой скандал! Градоначальник адмирал П. А. Зеленый потребовал немедленной смены цензора «Одесского листка». Дорошевичу, после «строгого внушения», пришлось на время покинуть «Южную Пальмиру». Зато газету рвали буквально из рук, и ее тираж и престиж Дорошевича стремительно выросли.

Значит, успех? Да, но лишь отчасти. Вот что, например, прочи-

тав фельетон, записал в свой дневник В. Г. Короленко, по праву считавшийся в ту пору олицетворенной совестью русской демократической интеллигенции: «Это человек с несомненным талантом, но истинный «сын своей матери»[1] уличной прессы. Хлесткий, подчас остроумный, совершенно лишенный «предрассудков»... Гордость этих господ состоит в том, что они могут «разделать» кого угодно и за что угодно. Здесь не спрашивают ни убеждений, ни совести, ни защиты тех или иных интересов...»

Понять неприязненную, хотя и смешанную с известным сочувствием настороженность Короленко, да и не его одного, нетрудно: почуявшая рыночный спрос уличная пресса действительно во множестве плодила развязных и наглых искателей сенсаций, которые отца с матерью не пожалеют ради красного словца (смотри, например, помещенный в однотомнике фельетон «XX век», рисующий как раз обычаи одесской газетной братии). К тому же заметим, в творческой практике молодого Дорошевича бывали-таки случаи, дававшие основание для вывода, что и он того же поля ягода...

К чему мы об этом вспомнили? К тому, чтобы показать: ни несомненная одаренность, ни многописание, ни хлесткость тона, ни даже «обличительство» сами по себе не могли бы выделить Дорошевича из общего ряда «щелкоперов», составить ему громкую славу «газетного писателя». Таким писателем, к мнению которого прислушались бы, нужно было еще стать.

Как? Один путь намечен в цитировавшейся выше дневниковой записи Короленко: можно было плотно связать себя с определенным течением общественной мысли и, следовательно, с определенной влиятельной группировкой, твердо встать «на защиту тех или иных интересов» — словом, как тогда говорили, «служить» обществу.

Дорошевич знал, что общественное служение — одна из святейших традиций отечественной литературы и публицистики, всей русской интеллигенции:

«...У русского человека и живопись должна «служить».

На западе у художника спрашивают прежде всего:

— Где твое «я»?..

Мы в похвалу говорим:

— Он высказал не свою, а общественную, общую мысль!»

Как человек с отчетливо выраженной общественной жилкой, с испытанными временем демократическими установками, Дорошевич готов был служить — но всему обществу в целом, а не той или иной из составляющих это общество группировок, направлений, партий.

---

[1] Под псевдонимом «Сын своей матери» Дорошевич печатал некоторые свои фельетоны в московской «трактирной» прессе.

Он попытался стать независимым, уже в 1884 году на страницах «несерьезной» «Волны» так сказав о серьезности собственных намерений: «Заявлять о своих убеждениях я не буду, потому что у меня их нет. Я объявляю себя стоящим вне всяких партий, не принадлежащим ни к одной литературной корпорации и потому с большой свободой, основываясь только на здравом смысле, присущем всякому русскому человеку, буду судить о событиях общественной жизни, с калейдоскопической быстротой проходящих перед нами».

Автору этого «манифеста» было всего двадцать лет. Став зрелее, опытнее, он уже не будет хвастаться отсутствием «убеждений» [1], но верность избранному принципу будет отстаивать в течение всей своей жизни. И тогда, когда на основаниях «здравого смысла», безусловно не совместимого с идиотической политикой царской бюрократии, базировалась казавшаяся монолитной общедемократическая оппозиция самодержавию. И тогда, когда в годы первой русской революции писатель очутился вдруг в положении потерявшего ориентиры и общественный престиж Петра Петровича Кудрявцева из повести «Вихрь», в этом смысле до известной степени автобиографической. И тогда, когда в условиях нового революционного подъема, чреватого Октябрем, Дорошевич уже окончательно отстал от продвижения грозового политического фронта и остался «при особом мнении» (так назывался сборник его статей, выпущенный в 1917 году в Кишиневе), мало, впрочем, в столь горячую пору интересовавшем и большевиков, бравших власть в свои руки, и наголову разгромленных кадетов, вкупе с октябристами, эсерами, трудовиками, монархистами и прочими и прочими.

Перечитывая спустя десятилетия очерки и фельетоны Дорошевича, лишь малой, но, как мы надеемся, представительной долей вошедшие в однотомник, воочию видишь путь русского интеллигента, не всегда умевшего отличить иллюзии от реальности, но неизменно стремившегося быть предельно честным и с самим собою, и с временем, в которое ему выпало жить и работать.

---

[1] Да и в юности, надо сказать, этот отказ от «убеждений» был своего рода полемическим выпадом против закоснелых в своей «прогрессивности» либералов и народников, разменявших на пятаки наследие революционной демократии шестидесятых годов. Сравни в этом смысле слова Дорошевича с высказыванием А. П. Чехова, принадлежавшего к тому же литературному поколению: «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденцию и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист... и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским... Фирму и ярлык я считаю предрассудком».

Но — и это, наверное, еще важнее — видишь и время, то застойное, подернутое обывательской ряской, влекущее к «малым делам» и либеральному прожектерству, то мгновенно вздыбливающееся, мгновенно упраздняющее — за ненадобностью и несбыточностью — и «малые дела», и филантропическое прожектерство, и надежду сохранить независимость между молотом революции и наковальней реакции.

Дорошевичу казалось иной раз, что он описывает прихотливые узоры и случайные комбинации цветов и линий внутри социального калейдоскопа. На самом же деле, как это ясно теперь, он писал поступательный ход истории, по-писательски, а не по-журналистски отражая и исследуя реальность (в том числе и реальность интеллигентских иллюзий) в ее сущностных, типических чертах и формах.

Из газетного поденщика в газетного писателя он выработался как раз в силу этого редчайшего и среди беллетристов дара типизировать характеры и ситуации, выделять в случайном вроде бы эпизоде его неслучайный смысл, как бы «гранулируя» в художественно-публицистических образах, зачастую достигающих афористической емкости и ударности, самую суть, квинтэссенцию дела.

Он всегда точен, конкретен и живописен в деталях — знает, что иным способом не завоевать читательское доверие. Но он знает и о том, что детали, подробности, «картинки с натуры» и даже сам контур авторской мысли быстро улетучатся из читательской памяти, если в точно выбранный, отлично подготовленный момент не закрепить их отчеканенной и, по возможности, остроумной, парадоксально звучащей формулой — ну вот, например:

«Если бы меня спросили, что за страна Россия,— я смолчал бы, но подумал:

«Это страна, где все друг друга презирают».

Эффектно? Да, но и эффективно, ибо читательское внимание тут же переводится из плоскости конкретного разговора о донельзя конкретных вещах в гораздо более широкий план размышлений о социально-психологическом климате предреволюционной России, где власть действительно ни в грош не ставила своих подданных и подданные отвечали ей тем же, где принято было не уважать своего противника и споры «на идейном уровне» приобретали зачастую характер кухонной перебранки.

«В старой Москве все было дешево: говядина, театр и человек»,— как бы мимоходом роняет Дорошевич, и читатель, восхищаясь парадоксалистским острословием фельетониста, поначалу даже не замечает, что к этой броской фразе, словно к магниту, притягиваются и его, читателя, личные впечатления и наблюдения над бытом и жизненным укладом «первопрестольного» города.

Остроты, которыми так славился Дорошевич, в лучших его работах никогда не были самоцельными. Приманивая публику, вовлекая ее в непринужденный, полный взаимного доверия диалог, порою казавшийся и не диалогом даже, а ни к чему не обязывающей болтовней, эти остроты всегда укрупняли содержание фельетона, «невзначай» наталкивая читателя на серьезные выводы и обобщения.

О чем речь? О пустяках вроде бы, о том, например, что интеллигентные люди взапуски рассказывают друг другу неприличные анекдоты, что еще совсем недавно считалось безусловно дурным тоном. Дорошевич отнюдь не морализирует, но так ведет разговор, что эта пустяшная примета интеллигентского быта начинает восприниматься читателем как верный знак социального гниения, постигающего общество в эпохи безвременья, а финальный вывод фельетона:

«И сама наша жизнь превратилась в один сплошной анекдот.

Нельзя сказать даже, чтоб очень приличный.

Муза истории густо покраснеет, рассказывая его нашим потомкам»,— заставил, надо думать, пристыженно поежиться не одного из свежеиспеченных поклонников площадного юмора.

Или вот еще скромная по объему, да, казалось бы, и по поводу пародия на обывательские воспоминания о Чехове, во множестве расплодившиеся после смерти великого писателя. Автор надежно вроде бы упрятан за потоком речи своего персонажа, но речь эта выстроена так, что на страницах фельетона — задолго до Зощенко и как бы предваряя облик его знаменитого героя — в полном великолепии вырисовывается такое «мурло мещанина», что впору уже не смеяться, а плакать.

Газетчик становится газетным писателем тогда, когда его начинают читать не из интереса к теме статьи или фельетона, а из интереса к личности самого автора, к его позиции, к его мнению и даже к стилю.

Теперь это аксиома. Но восемьдесят — сто лет назад, когда специфически газетные жанры и способы воздействия на публику еще только выкристаллизовывались, проходили первую рабочую обкатку, эту истину надо было доказывать.

И Дорошевич привел столько доказательств, как никто другой, быть может, в нашей дореволюционной печати.

Он точно определил, что в газетном фельетоне нет места ни натужному серьезничанию, ни натужному острячеству:

«Острословие» вовсе не необходимая составная часть фельетона. Это только приправа... Непременное условие фельетона:

— Остроумие мысли.

Самой мысли, а не слова.

Очень ловкая, яркая, выпуклая ее постановка».

Он запустил в повсеместное обращение знаменитую «короткую строку», что не только резко ускорило темп повествовательной речи в газете, но и позволило чисто графическими средствами выделять в каждом материале наиболее существенное, заслуживающее запоминания.

Он понял колоссальные возможности цикличности, когда самые разнородные по теме публикации связываются единством приема и авторского взгляда на действительность, и читатель исподволь приучается следить не только за движением событий, но и за «длинной мыслью» их истолкователя и комментатора.

Он, воспользовавшись опытом больших русских писателей, сотрудничавших в периодике XIX века, насытил свои фельетоны и очерки массой историко-культурных реминисценций, литературных цитат, отсылок к прецедентам, что незаметно для полуобразованной публики пополняло ее читательский багаж, а более подготовленным подписчикам давало возможность оценить логику и красоту газетного выступления в соотнесении с широким контекстом общекультурных ассоциаций. Ту же цель преследовало и перенятое прежде всего у М. Е. Салтыкова-Щедрина, которого Дорошевич не случайно называл «великим и недосягаемым учителем русского журналиста», обыгрывание хрестоматийно известных мотивов, форм и образов отечественной классики: в наследии «короля фельетонистов» есть и «Письма Хлестакова», и поэма «Кому в Одессе жить хорошо», и цикл «О чем говорят в фамусовской гостиной», и «Письма к бабиньке», остроумно стилизованные под щедринские «Письма к тетеньке»...

Продолжать ли перечень того, что с легкой руки Дорошевича обогатило арсенал средств и приемов отечественной журналистики, нашло свое преломление и выражение в газетной прозе М. Кольцова, в непринужденно эссеистском литературоведении В. Шкловского и К. Чуковского, в очерках, фельетонах, статьях Л. Лиходеева, С. Нариньяни, А. Рубинова, А. Аграновского, А. Ваксберга, Ю. Роста, И. Шатуновского, Г. Бочарова, неожиданно аукнулось в литературно- и театрально-критических заметках З. Паперного, Н. Ильиной, Л. Аннинского, некоторых других наших современников?

Суть в конечном итоге не в полноте реестра открытий и нововведений Власа Дорошевича. И все-таки даже под занавес нельзя не упомянуть о том, что сегодняшние читатели не переиздававшейся около восьмидесяти лет повести «Вихрь» наверняка поразятся сходству ее структуры, поэтики и даже стилистики с теми

явлениями, которые в нашей литературе последнего времени принято числить по разряду «политической прозы». Различие лишь в том, что эта повесть, во-первых, обращена к внутрироссийской проблематике, а во-вторых, не содержит в себе четкого пропагандистского потенциала, определенного ответа на вопросы, недвусмысленно выдвинутые историей.

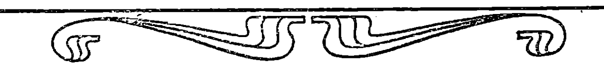
Сталкивая в непримиримом поединке позиции разных слоев русского общества в оценке движущих сил и задач революции 1905 года, автор и сам, похоже, не знает, к чему примкнуть и с кем солидаризироваться. Несомненна авторская симпатия к Петру Петровичу Кудрявцеву, исповедующему тот же в принципе, что и Дорошевич, символ веры общедемократической, внеклассовой оппозиции царизму. Но — и тут уместно воздать должное писательской честности Дорошевича, его гражданскому мужеству — повесть, начатая вроде бы во здравие отечественного либерализма, объективно перерастает в обвинительный акт, предъявленный профессиональным гуманистам-златоустам, которые в испуге перед разбушевавшейся народной стихией отшатнулись и от Родины, и от своих убеждений.

Внимательно вслушиваясь в речи и Кудрявцева, и тех, кто по неумолимой логике развития русского освободительного движения пришел к нему на смену, с безусловным сочувствием, хотя и не без известной растерянности рисуя сцены, где на первый план выдвигается пробуждающийся пролетариат, Дорошевич не ставит финальной точки в своих размышлениях. Он ставит диагноз, и этот диагноз полностью подтвердился в дни Октября, когда перед русской интеллигенцией вновь и с еще большей неумолимостью возник вопрос: «Куда идти, в каком сражаться стане...»

Повесть «Вихрь», повесть-диспут, повесть-предостережение, выдержала испытание временем. Выдержали его и лучшие страницы газетной прозы Дорошевича. Перечитывая ныне его злободневные фельетоны и очерки нравов, уморительно смешные рассказы и овеянные ностальгической грустью воспоминания о славных деятелях московской театрально-концертной сцены, видишь, что художественно-публицистическое слово, продиктованное умом, совестью и талантом, так же не тускнеет, так же не покрывается ржавчиной, как и слово собственно художественное.

В этом главный, быть может, урок и завет замечательного газетного писателя Власа Дорошевича.

Сергей ЧУПРИНИН



РЕПОРТЕР

Я никогда в жизни не видал такой визитной карточки.

— «Икс Игрек Дзет. Репортер газеты такой-то».

Всегда:

«Корреспондент газеты такой-то».

«Хроникер газеты такой-то».

Иногда даже:

«Интервьюер».

В крайнем случае, просто:

«Сотрудник».

И никогда:

— Репортер.

Я даже не знаю, существует ли в русском разговорном языке слово «репортер». Есть слово «репортеришка».

Чаще всего с прибавлением слова «всякий».

— Всякий репортеришка,— и туда же смеет писать!

Это слово ругательное, и рассерженный обыватель, если хочет выругать обидевшего его журналиста, делает презрительную гримасу и говорит:

— Репортеришка!

Немудрено, что и сами гг. репортеры стараются избегать своего звания:

— Вы уж напишите, пожалуйста, в редакционном удостоверении «корреспондент», а не «репортер».

— Почему же?

— «Репортер» — это очень плохо звучит.

Если вы видите в афише новой пьесы в числе действующих лиц репортера,— заранее можете быть уверены, что

это непременно шантажист, мошенник, человек, готовый за грош «на все».

Какой драматический «лев» не лягнул своим копытом «репортера»?

Если вы встречаете репортера в повести, романе, рассказе,— можете быть спокойны, что это лицо в лучшем случае только комическое, в худшем — самое презренное.

Он залезает под стол, чтоб подслушать чужие разговоры, и берет пять рублей, чтоб не разглашать семейных тайн.

Какой из «орлов», державших в своем копыте когда-либо перо беллетриста, не «живописал» так беднягу репортера?

«Репортер», это — слово, мало отличающееся, по общему мнению, от слова «клеветник».

И всякий по этому случаю считает возможным и удобным клеветать на репортера.

Раз человек клеветник, отчего же на него не клеветать?

Откуда, однако, взялась эта клевета, ставшая «общим мнением»?

Несомненно, это «общее мнение» имеет свою историческую подкладку.

Старые газетные работники помнят еще именно таких «репортеров», каких до сих пор выводят гг. драматурги и описывают гг. беллетристы.

Грязных, нечесаных, немытых, которых даже в редакциях не пускали дальше передней.

Они подслушивали разговоры, сидя под столом, потому что их никуда не пускали, и их никуда нельзя было пустить.

Это был безграмотный народ, писавший «еще» с четырьмя ошибками и которых мазали за их «художества» горчицей.

Хорошенькие времена! Одинаково хороши были все: и те, кто доводил себя до мазанья горчицей, да и те, кто находил в этом удовольствие и «нравственное удовлетворение».

Но кто и теперь не говорит при виде идущего репортера:

— Вон репортеришка бежит!

И кому какое дело, что он бежит, в сущности, по общественному делу!

Процессом «Владимира» интересовалась вся Россия.

Изо всех рефератов, печатавшихся в одесских газетах, лучшим был реферат покойного В. О. Клепацкого.

Этот реферат почти дословно перепечатывался чуть не всеми русскими газетами.

По крайней мере, большинством.

Когда драматург пишет пьесу,— он получает гонорар со всякого театра, где она ставится.

Если бы у нас относились с большим уважением к собственности и перепечатки чужих произведений оплачивались бы точно так же, как оплачивается постановка драматических произведений на сцене,— В. О. Клепацкий получил бы за свой труд, прекрасный, добросовестный, обративший на себя внимание всей русской печати,— тысячи.

А он работал на всю русскую печать, получая только свой обычный, скромный гонорар из редакции своей газеты.

Ежедневно сведения, добываемые репортерами, перепечатываются десятками, иногда сотнями газет.

Если бы репортеры получили вознаграждение от всех газет, которые пользуются их трудом,— вид «бегающего репортеришки» прошел бы в область преданий.

Пусть это вознаграждение со стороны каждой газеты было бы очень мало,— пропорционально достаткам каждой газеты,— в общем это составило бы солидную сумму и подняло бы благосостояние этих бедняг, получающих гроши за сведения, интересующие всю Россию.

Если хотите составить себе понятие об отношении, которое составляет интерес, возбуждаемый часто репортерскими заметками и гонораром, который получают авторы за эти сообщения,— я сообщу вам факт из собственной практики.

Лет 15 тому назад, когда я был репортером, мне удалось добыть одно сведение, очень сенсационное, которое я, со свойственной репортерам краткостью, изложил в 7 строках.

Эти семь строк обошли решительно все русские газеты.

Так как сведение, сообщенное в них, имело большой общественный интерес, то оно вызвало ряд фельетонов, передовых статей во всех больших столичных газетах.

Возникла даже полемика.

А я мог внимать всему поднятому мною шуму, пересчитывая 21 (двадцать одну) копейку, полученную мною за мои 7 строк!

В особенности, стоя близко к газетному делу, становится обидно и больно: как мало и материального и нравственного вознаграждения получают эти люди за свой честный, за свой добросовестный, часто талантливый, всегда нелегкий труд.

Эти люди, составляющие фундамент газетного дела.

Рассуждения, обобщения фельетонистов и передовиков, это — все соус, в котором подаются факты.

Но самое ценное, самое существенное — факты, это ведь принадлежит репортерам.

И что же за это?

Что — этим безвестным, безыменным труженикам?

Когда умирают люди, подписывающие свои статьи,— публика хоть несколько дней поскучает, не видя в газетах привычной подписи.

Когда умирает репортер, это проходит незаметно.

Его строк больше нет, но вместо них есть другие строки, такие же безыменные.

И эти серые строки смыкаются над его памятью, как смыкаются волны над головой утонувшего человека.

И неизвестно,— был ли здесь когда-нибудь человек!

Но пусть так!

Газета, живущая всего один день, очень плохой путь к бессмертию.

Об этом труженике очень мало думают.

Пусть и это будет так!

Ведь, покупая в ювелирном магазине брошь, вы не думаете о тех, кто добывает это золото.

А не будь их, не было бы и великолепной броши.

Репортеры получают такие гроши сравнительно с интересом, который часто возбуждают их заметки, и той пользой, которую эти скромные заметки приносят.

Но пусть и это будет так!

Справедливость — очень редкая птица.

Но за что же это обидное, это незаслуженное отношение к самой профессии, не менее честной, чем все другие профессии, и более полезной, чем многие другие.

Почему репортеру неловко сказать:

— Я репортер!

И ловко сказать доктору, что он доктор, адвокату, что он адвокат, директору банка, что он директор банка.

«Во всякой реке есть всякая рыба: и дурная и хорошая».

За что же это обидное обобщение распространяется именно на репортеров?

Почему им приходится быть тем колодцем, из которого все пьют и в который чаще всего плюют.

Репортеры, которые были когда-то и о которых я говорил, умерли как люди и вымерли как тип.

Представлять себе теперешних репортеров в виде тех «типов», которые по трафарету рисуют гг. драматурги и беллетристы, это — все равно, что представлять себе артистов Малого театра или театра г. Соловцова в виде Аркашек, которых перевозят из города в город, завернувши в ковер.

Все изменилось.

Среди репортеров нет более людей, пишущих «еще» с четырьмя ошибками.

Им не нужно залезать под столы, чтоб подслушивать, что происходит в заседаниях,— они желанные гости во всяком учреждении, не боящемся света.

К ним лично относятся, как относились, например, к покойному В. О. Клепацкому,— с таким же точно почтением, как и ко всякому честному человеку, занимающемуся полезным общественным делом.

И только одно,— они все еще не решаются, не могут решиться сказать громко и открыто, с гордостью и достоинством:

— Я репортер!

«Пустяк!» — скажете вы.

Посмотрел бы я, что сказали бы вы, если б вам неловко было назвать ту профессию честную, которою вы занимаетесь!

Вчера хоронили моего дорогого товарища В. О. Клепацкого, и это горькое чувство обиды шевелилось в моей душе; его не могли сгладить даже всеобщие сожаления, которые окружали безвременную могилу этого честного уважаемого газетного труженика.

Мне думалось:

— Да! Ты служил великому делу — гласности. Ты был «только репортер», но ты помогал суду быть «гласным» судом, передавая отчеты об его заседаниях в газете. Ты помогал дать нравственное удовлетворение правым и обиженным, доводя до всеобщего сведения судебные приговоры. Да! Ты пользовался заслуженным уважением как человек. Но почему-то ты, честный слуга честного дела, не мог с гордостью назвать своей профессии: «Я репортер»!

Как скоро умирают люди, и как долго живут предрассудки...

— Господина редактора!!!

— Пожалуйте в кабинет!

Господин с разъяренным лицом влетает в кабинет.

— Вы г. редактор?

Сидящий за столом мужчина молча наклоняет голову.

— В вашей газете напечатана про меня гадость, клевета, гнусность. Вы смеете утверждать, будто я совершил мошенничество, когда я сделал только подлог!

Сидящий за столом молча наклоняет голову.

— Ага! Вам нечего сказать! Вы молчите. Но я не позволю, милсдар, позорить мое доброе имя! Я никогда мошенником не был. Я честный человек, милсдар: меня даже по суду шесть раз оправдали по обвинению в краже!

Сидящий за столом молча наклоняет голову.

— Нечего кивать головой. Вы потрудитесь напечатать в завтрашнем номере вашей газеты извинение передо мной. Вы публично покаетесь, что смели назвать меня мошенником, когда я совершил только подлог. Иначе...

В то время, как сердитый господин так разговаривает с посаженным за столом манекеном г. редактора, сам г. редактор спрашивает у управляющего:

— Ну, как мой новый автомат, сделанный г. Молинари?

— Похож изумительно. Отлично кланяется. Все принимают его за вас. Еще и сейчас с ним объясняется какой-то господин.

— Старый, работы Эдварса, был великолепен. Но этот каналья Симонов влепил ему в голову шестнадцать пуль. Надеюсь, что новый манекен представителен?

— О, как нельзя более. Очень солидная фигура. Внутри часовой механизм,— он чрезвычайно важно наклоняет голову каждые две минуты. В общем, он возбуждает величайшее почтение в гг. посетителях.

— Великолепно. Когда подумаешь, что в XIX веке гг. редакторы объяснялись со всей этой шушерой лично! Ха-ха-ха! Кто сегодня дежурный боксер!

— Иван.

— А сколько явилось молодых поэтов со своими стихами?

— Шестнадцать.

— Пусть даст им всем боксом, а рукописи с поэмами, по обыкновению, отправить на нашу писчебумажную фаб-

рику для превращения в бумажную массу. Слава богу, благодаря изобилию молодых поэтов, мы избавлены от расхода на покупку тряпок для нашей писчебумажной фабрики.

Г. редактор переходит в «спиритическую комнату» редакции.

— Как дела?

— Только что вызывал дух Цицерона. Ничего не отвечает. Должно быть, занят с другой редакцией.

— Мне нет никакого дела, врете вы или на самом деле там что-нибудь существует. Это меня не касается. Но назавтра в номере непременно должно быть новое стихотворение Пушкина, продолжение поэмы Лермонтова, легкий фельетон Гоголя и несколько острот Вольтера. Можете написать все это сами или при помощи ваших молодых поэтов. Но эти имена должны быть у нас в газете. Мы обещали их сотрудничество.

— А не поинтервьюировать ли Наполеона: что он чувствует, когда на сцене нашего театра играют «Madame Sans-Gêne».

— Это идея. Но я надеюсь, что ваш Наполеон будет так любезен, что хорошенько отделает актрису, играющую королеву. Она была недостаточно любезна со мной.

Г. редактор переходит в редакцию.

— Что новенького, г. заведующий иностранной политикой?

— Пока ничего: ни по телеграфу, ни по телефону, ни с голубиной почтой. Мы ждем прилета аэростата. Быть может, он принесет какие-нибудь новости.

— Когда нет новостей, их надо выдумывать. Самые интересные политические новости, это всегда те, которые выдумываются. Вы помните этот огромный успех, который имело наше известие о бешенстве Гладстона-внука.

— Да, но потом пришлось опровергнуть.

— Ничего не значит. Публике это доставило только удовольствие. Все сказали: «И слава богу, что этого не случилось». Все очень любят этого государственного человека. А что сегодня у наших конкурентов?

— Описание революции в Испании, которой не было.

— Ничего не значит. Публика с интересом будет читать подробности. Однако, эта скверная газетка начинает идти в гору. Попросите ко мне г. заведующего полемикой.

— Здравствуйте, г. редактор.

— Что вы сделали в смысле полемики с нашим конкурентом?

— О, великолепная штука, г. редактор. Останутся довольны. Я нашел в Крыжополе однофамильца их редактора, известного вора. Тоже Иван Иванович Иванов. Сегодня он приезжает в Одессу и завтра совершает первую кражу. Публика будет читать напечатанные крупным шрифтом заметки о кражах, которые совершает Иван Иванович Иванов, и будет думать на редактора враждебной нам газеты.

— Я вас понял. Это отличный полемический прием. Но зачем же откладывать первую кражу на завтра? Никогда не должно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Пусть украдет что-нибудь сегодня же. Даже в нашей редакции. Это будет эффектнее. А вы пока составьте хорошенькую заметку: «До чего дошел наш почтенный Иван Иванович Иванов!» Поставьте двадцать восклицательных знаков. Это пикантно. Публика любит восклицательные знаки, как спаржу.

— Слушаю, г. редактор.

— Но этого мало. Их фельетонист «Хамелеон» имеет успех. Позвать ко мне нашего г. Бреттера!

— Я к вашим услугам, г. редактор!

— Вы должны принять меры против г. Хамелеона.

— Я уж подумал об этом, г. редактор. Сегодня в театре я наступлю ему на ногу, сам сделаю скандал, вызову на дуэль. Пистолеты. Двадцать шагов. Но, говорят, он сам попадает в бубнового туза. Вдруг...

— Это не должно вас особенно пугать. В случае неблагоприятного для вас исхода редакция имеет уже три предложения на ваше место от молодых людей, одинаково владеющих пистолетом и шпагой. Жалованье, платье от лучшего портного, расходы на первые рестораны и ничего не делать. Что может быть лучше для человека, от которого ничего не требуют, кроме эффектной внешности и уменья стрелять. Но попросите ко мне г. корректора.

— Г. редактор...

— Я вами недоволен, г. корректор. Сегодня в номере ни одной опечатки. Вы могли бы вставить перед фамилией гласного Х. слово «дурак». Это произвело бы сенсацию, а назавтра мы объяснили бы все опечаткой и недосмотром корректора. Пожалуйста, чтоб в номере всегда были ошибки.

— Будут, г. редактор!

— Где г. хроникер?

— Здесь, г. редактор.

— Я вами тоже недоволен. В описаниях дамских туалетов на скачках вы позабыли упомянуть, что г-жа У. была уж в третий раз в одном и том же платье. Вы могли бы добавить: «Как не стыдно», и выразить сомнение, уж идут ли достаточно хорошо торговые дела хлебной конторы ее мужа. Коммерческий мир это любит.

— Да, но мужья и так собираются, г. редактор, переломать мне ребра за описания дамских туалетов. Дамы нашего города прямо посходили с ума и тратят последние деньги на туалеты, лишь бы попасть в газету.

— Тем лучше. А вы... Вы можете носить под пиджаком кольчугу. Кстати, с кем вы теперь наиболее близки?

— С закройщицей от m-me Аннет.

— Бросьте и начните ухаживать за мастерицей от m-me Жозефин. Там теперь получены новые парижские модели. Надо описать, потому что держится в секрете. А, наш модный романист! Чем вы готовитесь нас подарить?

— У меня теперь четыре романа с дамами из общества. Я опишу их со всеми подробностями... Вы понимаете?

— Отлично. Ваш роман с артисткой Z не заинтересовал публику. Ее и так все знают. Подробности никому не были новы. А роман-хроника, который вы даете ежедневно?

— Подвигается вперед. Мой красивый молодой человек каждый день имеет успех и потому мне рассказывает все. Сегодня он отправился объясняться в любви к г-же W.

— Только еще объясняться в любви!!! За ней ухаживает Троглотитор из конкурирующей с нами газеты! Он будет иметь успех раньше,— и мы будем иметь удовольствие прочитать о ней все подробности у конкурентов...

— Но что же делать?

— Пустяки! Вы говорите о добродетели, как будто мы все еще живем в XIX веке! Просто ваш молодой человек никуда не годится, он слишком медлит.

— Это скоро кончится, он, кажется, не на шутку увлекся г-жой М., а так как мне для романа нужно отправить ее в Кишинев, то он, вероятно, застрелится.

— Посоветуйте ему. Это будет эффектным финалом для романа. Ничто так не читается, как романы из дейст-

вительной жизни. Все, что можно было выдумать в этой области, уже выдумано. Где г. заведующий морским отделом?

— Что прикажете, г. редактор?

— Давно не было никаких катастроф, г. заведующий. Вы заставляете публику скучать.

— Я принял соответствующие меры, г. редактор. Вчера перепоил всех помощников капитана парохода, ушедшего в Севастополь. И с собой им дал мастики. Мне кажется, что столкновение неизбежно случится. С минуты на минуту жду телеграммы из Тарханкута.

— Отлично. Публика это любит. Ну, а вы, г. репортер,— вы приготовили нам на завтра что-нибудь интересное?

— Двоих уговорил покончить самоубийством, одного убедил, что понятие о собственности есть предрассудок, и он, наверное, сегодня украдет. Познакомил бухгалтера банка с шансонетной певицей. Наверное, растратит.

— Это все мелочи. Неужели вы не могли приготовить что-нибудь покрупнее? Это в XIX веке репортеры сообщали о том, что уже произошло. В двадцатом — интересные происшествия надо создавать.

— У меня есть на примете убийство жены из ревности.

— А, вот это я понимаю. Ревность в двадцатом веке — очень редкое чувство.

— Будущий преступник уже здесь. Я не спускаю его с глаз, чтобы не передумал. Теперь он доведен до белого каления и читает в соседней комнате «Отелло».

— Пожалуйста, не давайте ему читать эту глупую комедию до конца. Ему станет жаль Дездемоны...

— Разве я не понимаю, г. редактор. У меня конец этой, как вы изволили выразиться, комедии вырван и напечатан другой. Я сам написал: Дездемона оказывается действительно виновной. На ревнивых мужей это производит впечатление каленого железа. Да вам не угодно ли видеть его самого, г. редактор?

В редакцию входит господин с бледным, как полотно, лицом, безумными глазами и волосами, прилипшими к мокрому лбу.

— Г. Петров. Несчастный муж, которого недостойно обманывает его жена! — рекомендует г. репортер.

— Мы слышали о вашем несчастии! — с сочувствием говорит г. редактор,— наши репортеры собрали самые до-

стоверные сведения. Ваша жена вас действительно обманывает!

— О, не говорите мне об этом чудовище. Я ее убью...

— Это хорошо. Прочтите «Le bête humaine» Золя,— еще в прошлом веке было известно, что вид крови успокаивает человека.

— О, я ее задушу, как собаку!

— Это, конечно, недурно. Похоже на «Отелло». Но теперь этой пьесы не понимают. Почему бы вам ее не застрелить. Несколько пуль в голову, а потом, если хотите, можете застрелиться и сами. Это еще лучше! Хотя, конечно, не обязательно. Можете быть спокойны, редакция позаботится о вашей защите. При редакции имеется опытный адвокат. Кроме того, все время, пока вы будете содержаться в тюрьме, вы будете ежедневно получать обед из «Северной» гостиницы за счет редакции и нашу газету, из которой вы узнаете всю вашу биографию. Уговор один: не опровергать, если прочтете в нашей газете, что вы родом португалец и уже зарезали двадцать человек. Это только придаст вам интереса.

— Хорошо! Я застрелю эту негодницу. Идем!

— Выдать г. Петрову из арсенала редакции шестиствольный револьвер и зарядить его на все заряды. Желаем вам успеха, г. Петров. Вы благородный человек и настоящее исключение среди мужей двадцатого века. Еще раз — полнейшего успеха. Цельте немножко ниже, потому что револьвер всегда при выстреле отдает слегка вверх. До свидания, г. Петров. Г. репортер, следуйте за г. Петровым.

— Это заинтересует завтра читателей,— замечает г. редактор,— а теперь займемся театром и отделом справочных сведений. Где г. музыкальный рецензент?

— Что угодно, г. редактор?

— Вы заняты?

— Да, я слушаю по телефону оперу, которую поют теперь в Нью-Йорке. Великолепный состав.

— Обругайте по этому случаю нашу оперу, с указанием, как идут оперы в Нью-Йорке. А г. драматический рецензент?

— Я здесь, г. редактор.

— Вами я решительно недоволен. Вы разбираете игру в то время, как надо разбирать сложение артисток. Вот что интересует публику! Можете выразить несколько предположений относительно темперамента каждой. А про

Русский театр напишите, что там кирпичи с потолка падают. Они смеют печатать афиши в типографии наших конкурентов.

— Я хотел просто обругать опереточную труппу.

— Это ничему не поможет. Кто в двадцатом веке верит газетным рецензиям? Тогда как еще вопрос,— кто пойдет, зная, что с потолка, того и гляди, рухнет на голову кирпич.

— Отлично, г. редактор.

— Кафешантанным рецензентом я вполне доволен. Это очень умно, что он выдумал писать в рецензиях, какое вино пьет каждая из шансонетных певиц и какие блюда она предпочитает. Это облегчает публику. Теперь справочный отдел...

— Я, кажется, г. редактор, всегда сообщаю самые верные сведения.

— Это-то и глупо! Верные цены коммерческий мир знает и без вас. А вы напишите назавтра, что в Одессу привезено 2 миллиона пудов пшеницы, и цена упадет до 6 копеек за пуд. Это произведет сенсацию. Газету будут брать нарасхват! Все. Завтра у нас будет, кажется, интересный номер.

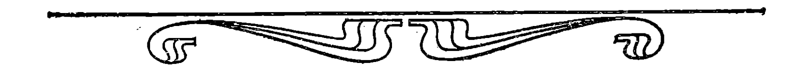
Г. редактор переходит в контору.

— Сколько разошлось?

— 472 529 экземпляров.

— Послать сломать ночью машину у конкурентов и объявить, что с послезавтра газета будет, ввиду летнего времени, для удобства гг. подписчиков печататься на бумаге «смерть мухам». Не надо забывать, что мы живем в двадцатом веке, черт возьми!

АНЕКДОТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ



МАЛЕНЬКИЕ ЧИНОВНИКИ

Я берусь за перо для того, чтобы защищать теперешнюю среднюю школу. Не троньте этих кругов! Этих восьми кругов маленького гимназического ада!

— Я больше не знаком с Карлом. Карл негодяй: «он не знал родительного падежа от слова «domus».

Так рассуждали два маленьких школьника, когда Гейне выезжал из Дюссельдорфа.

У нас Гейне этого бы не услыхал!

— Скворцов Евдоким — зубрила! Он знает даже, как склоняется слово «domus».

Бьют зубрил, и истинные герои сидят на последней скамейке.

Поколениями школьников выработалась традиция, что истинный негодяй это тот, кто всегда учит уроки. К нему относятся так, как в департаменте относились бы к чиновнику, который стал бы моментально предупреждать всякое желание начальства, который таскал бы работу к себе на дом, не пил бы, не ел, не спал, чтоб только выполнить приказания начальства.

— Выслужиться хочет, каналья!

Первый ученик — изменник класса. Гнуснейший из изменников. Он для того и зубрит исключения, чтоб подвести своих товарищей.

— Вы не успели приготовить урока? А почему же Скворцов Евдоким успел?!

Первый ученик — первый не только по отметкам, но и по количеству получаемых щелчков.

Зато ученик, который списывает все extemporalia, уроки просматривает во время перемен, отвечает не иначе, как с подсказкой, и даже книг домой не носит, а оставляет их в парте,— предмет удивления, благоговения, зависти всего класса.

У нас нет средней школы, у нас есть канцелярия, в которой маленькие чиновники отбывают восемь лет тяжелой, утомительной, скучной службы. И никто не ходит учиться. Ходит отбывать ужасную повинность!

— Потому что это необходимо.

Прослужишь восемь лет в гимназистах, дослужишься до студента. Точно так же, как папа, пробыв десять лет в коллежских секретарях, дослужился до надворного советника.

Тихо туманное утро столицы... По улице медленно ползет маленький клоп-гимназист. Ранец за плечами, много дум в голове:

«География нынче не вызовет: в прошлый раз вызывала. Арифметику подзубрю во время большой перемены. Латынь... Семенову щелчков надаю, чтоб дал extemporalia списать! Немец не велик черт, да и Шустер Карлушка, немчура, подскажет. Всё!»

А в это время отец этого клопа, кутаясь в ватное, поношенное пальто, идет на службу и рассуждает:

«С докладом сегодня не ходить, доклады по четвергам. Значит, эти бумаги можно пока и в сторону. Резолюцию по делу № 000 надо заготовить. Ну, это можно на Иванова 32-го прикрикнуть: «Что вы баклуши бьете? Сядьте-ка вот да заготовьте резолюцию. Лучше будет». Дело за № 00... можно будет при отношении в другое ведомство послать, оно и с рук долой. Надо только отношение позаковыристее написать. Ну, это можно Иванову 35-му дать. Человек старательный, ему выдвинуться хочется. Кажется, и все?»

Скажите, велика ли разница между сыном и папашей? Между департаментом и гимназией? Между отношением к науке и отбыванием канцелярской повинности?

Да и откуда этому клопу набраться другого отношения к науке?

Зачем непременно нужно знать, что глагол «кераннюми» употреблялся древними греками за 1000 лет до рождества Христова для обозначения «смешивать» вино с водой! Когда древние греки смешивали муку с песком, они прибегали для этого к другому глаголу. Зачем знать

это, когда и греки эти уж давным-давно померли, да и вина этого нет, и смешивать теперешнее вино нечего: оно уж смешано. Зачем? Никто в целом мире не даст на это ответа пытливому уму маленького мальчика.

Мама...

Я беру среднюю семью. Милую среднюю семью, где при детях говорят правду. Есть высшие семьи, где при детях ведут педагогические разговоры, то есть лгут. Так с детства детская душа отравляется ложью в педагогических целях. В этой высшей семье, если мальчик спрашивает за вечерним чаем отца:

— Папа, для чего мне нужно знать, что глагол «кераннюми» древние греки употребляли только тогда, когда делали крюшон... то есть, я хотел сказать, когда смешивали вино?

Отец делает очень серьезное и наставительное лицо:

— А как же, это весьма важно... Это необходимо знать, во-первых, для того... Гм... для того... вообще шел бы ты в детскую! Девять часов!

И у мальчика, если он не безнадежно глуп, невольно мелькает в голове совершенно логический вывод:

«Какой, однако, папа болван! Говорит, что очень важно, а почему — не знает!»

И когда мать, по выходе сына, замечает:

— Зачем ты его выгнал? Отчего было не объяснить ребенку?

Отец только разводит руками.

— Да господь его знает, зачем необходимо знать этот гнусный греческий глагол. Решительно, кажется, незачем! Но ведь нельзя же говорить этого детям! Семья должна поддерживать, а не разрушать авторитет школы!

Так делается в высших семьях, живущих по принципам, а в средней семье, где живут только на жалованье, это происходит иначе.

Мама, милая, но немного наивная, нередко говорит, глядя на бледное, измученное лицо ребенка:

— Ну, латынь, это я еще понимаю. По-латински пишут рецепты. Но зачем их заставляют зубрить по-гречески?

Ей, наслушавшейся, как зубрит сын, часто снятся страшные сны.

Снится, что она идет за 1000 лет до рождества Христова по римскому форуму, а кругом гуляют неправильные глаголы и сплетничают про последние исключения из третьего склонения:

— Слышали, panis-то оказывается мужеского рода!

— Ах, и не говорите! Такое бесстыдство. Быть мужеского рода и носить женское окончание!

— Изнеженность и испорченность нравов!

— Piscis тоже мужеского рода и даже cucumis!

— Да, много есть имен на is masculini generis! Ничего не поделаешь!

В это время раздаются междометия, и на форум въезжает Цезарь. Кай Юлий Caesar, мужеского рода и третьего склонения. Бедная мать кидается к его колеснице:

— Сжальтесь! Моему сыну, Иванову Григорию, может быть, знаете! Такой маленький мальчик, он переводит теперь ваши «комментарии»! Ему поставили единицу за то, что он не знал супина от глагола «do».

Но Юлий Цезарь, мужеского рода, только машет рукой.

— Меня самого, сударыня, съели герундии и супины! Берегись!

И на ее глазах переезжает ее сына триумфальной колесницей.

Бедная мать в ужасе вскрикивает и просыпается, а за чаем рассказывает страшный сон:

— К чему бы это? Непременно Гришеньке по-латыни единицу поставят, и он не перейдет. Ах, кто это только эту латынь выдумал!

Отец...

Но отец и сам-то решительно не знает, зачем он с такой ясностью всю жизнь свою помнит:

— Дарейю Кай Парюсатидос гигнонтай пайдес дюо, пресбютерос мэн Артаксерксес, неотерос дэ Кюрос.

Много очень важного, очень нужного, очень интересного в жизни забыл, а вот «Дарейю» с «Парюсатидос» помнит, и будет помнить до гробовой доски. Он когда-то пустил их в свою голову, и эти Дарий с Парюсатидос — жильцы, которые ничего не платят, но иногда производят шум по ночам. Зачем он их держит в голове? Раз только он их вспомнил. Это было ночью, когда он только что заснул, утомленный и измученный. Как вдруг ему приснились Дарий и Парюсатида, которые тут же при нем родили двух сыновей и почему-то сказали, что это «по-гречески», в виде исключения. Он вскрикнул от изумления, проснулся и долго потом не мог заснуть, нажив головную боль.

Что хорошего, полезного в жизни произошло от того,

что его заставили зазубрить про этих двух персидских родителей?

Зачем он помнит это, зачем его учили этому?

Что скажет он, если сын спросит его, когда и сыну очередь дойдет до «Дария и Парюсатиды»:

— Зачем это?

Что скажет он, кроме:

— Начальство так велит!

И не будем осуждать отца, который еще не изолгался до того, чтобы давать родному сыну педагогические ответы.

Что бы ответили мы по чистой совести, если бы нас спросили:

— Зачем мы учили и зачем мы помним всю жизнь, что «много есть имен на is masculini generis»?

Я знаю только один случай, когда исключения из третьего склонения принесли пользу.

Это было 4 декабря, в маленьком городке, населенном, кажется, исключительно Варварами. По крайней мере, собравшись на именины к одной из Варвар, мы никак не могли в целом городе найти ни одного музыканта. Хоть бы дворника с гармоникой! Все были разобраны по именинницам. Тогда решили танцевать под какие-нибудь общеизвестные стихи, которые все будут петь на какой-нибудь общеизвестный мотив.

Оказалось, что все гости — классики по образованию и что все мы помним лучше всего исключения из третьего склонения.

И мы танцевали кадриль, напевая на мотив «Пропадай моя телега»:

Ammis, orbis, glis, annalis,
Fascis, ensis, cucumis.

И при слове «cucumis» какой-то семинарист, я помню, выкидывал даже какое-то особое антраша, которое называл «чисто парижским», но которого я потом в Париже не видал.

Так принесли пользу обществу исключения на is.

Но ведь нельзя же для такого случая восемь лет подряд зубрить латинскую грамматику!

И вот семья, правдивая семья, никак не может поддержать в сыне авторитета школы. А семья, где детям лгут из педагогических целей... та тоже не может поддержать ав-

торитета школы. Чистым, ясным детским умом и сердцем ребенок угадывает, что ему лгут, когда говорят:

— О, это чрезвычайно важно в жизни,— знать супин от глагола «do».

И не верит.

— Что ж, брат, делать! Нужно так! Учи латынь. Потерпи — после хорошо будет!

Словно восемь лет подряд человеку рвут зубы и говорят:

— Что ж делать! Потерпи!

Каждое утро, отправляя его в школу, каждый вечер, усаживая зубрить уроки, ребенку говорят с тоскливым видом:

— Что же делать! Нужно! Это как служба.

Он ходит в школу, как папа — в канцелярию, и одна только мысль повергает его в изумление:

«Папа, этакая дылда, занимается по 4 часа в день, да и то орет, что он устал. А меня, маленького, заставляют сидеть по 5 часов, да еще на дом дают работы. Что завопил бы папа, если бы ему прибавили еще вечерние занятия?!»

И ребенок инстинктивно требует даже жалованья за свою службу:

— Мама, дай мне двадцать копеек!

— Это еще что за новости!

— А я на этой неделе ни одной двойки не получил!

Он хорошо служил,— заплатите ему жалованье, не считая наград к рождеству и пасхе, когда он приносит четвертные отметки.

Может ли школа внушить ему другое отношение к «науке»?

На эту тему даже скучно писать.

Не будем говорить уж о латыни и греческом.

Раз в жизни я солгал так бессовестно, что затем двадцать пять лет краснею.

Это было в гимназии. Нас посетил товарищ министра, погладил меня по голове и, меланхолически глядя на меня своими добрыми глазами, почему-то спросил:

— Какой язык ты больше любишь: латинский или греческий?

— Греческий! — отвечал я, желая показать, что я достоин министерской ласки.

С тех пор прошло двадцать пять лет, а я все еще краснею за эту бессовестную ложь. Никогда я не врал до такой степени.

И бог весть, какую печальную услугу я оказал моей родине.

Ведь товарищи министров совершают поездки для того, чтоб на месте ознакомиться с результатами того или другого мероприятия, реформы, системы.

Кто знает, быть может, вскоре было какое-нибудь заседание, посвященное вопросу о классической системе. Быть может, все уже склонялись к мнению против нее, как встал товарищ министра и заявил:

— Позвольте, господа! Я сам видел гимназистов, которые очень любят классические языки, и следовательно, заниматься этими языками для них сущее наслаждение. Да, да! Я помню, например, Дорошевич Власий ужасно любит греческий язык.

С тех пор прошло двадцать пять лет... Я убедительно прошу пересмотреть все архивы за двадцать пять лет, и, если где-нибудь, в «материалах для реформы средней школы», найдется ссылка на Дорошевича Власия, очень любившего греческий язык, вычеркнуть ее. Я соврал.

Такого гимназиста нет.

Латынь и греческий любить, конечно, нельзя, как нельзя любить ту географию, которая преподается в нашей средней школе.

Посмотрите на этого злосчастного карапуза с покрасневшими глазами, который, закрыв для большей натуги уши, раскачиваясь всем телом, повторяет бесчисленное число раз в половине одиннадцатого вечера:

«На Берберском плоскогорье в изобилии растут хвоя и жимолость...»

Можно ли любить науку, в которой кучами навалены хвоя и жимолость?

Спросите у матерей, и они расскажут вам об их детях, которые, разметавшись в жару, бредят по ночам:

«Мама, мама! Из города А вышел поезд со скоростью семь верст в час. Спрашивается: почем должен купец продавать берковец овса?»

История человечества начинается туманными сказками. История Иловайского начинается цифрами, продолжается цифрами, кончается цифрами.

Она больше похожа на арифметику, переплетенную в разбивку с адрес-календарем. Имена и цифры. Ее учить так же интересно, как заучивать наизусть список телефонных абонентов:

— 91 — Юлий Цезарь.

— 1113 — Владимир Мономах.

Все, что есть в науке интересного, увлекательного, жи-

вописного, способного поразить воображение ребенка и заинтриговать его ум, тщательно вычеркивается.

Вы и хотели бы есть, но вам дают голую кость от телячьей ноги, да еще и говорят при этом, что это именно и есть самая настоящая телятина! Вы никогда после этого не спросите себе телятины. Вы будете бежать от телятины. Вы возненавидите телятину. Вы расхохочетесь, когда вам скажут:

— Я люблю телятину.

— Ха-ха-ха! Человек, который любит глодать кости! Вот идиот!

Здесь, в средней школе, быть может, лежит начало нашего иронического отношения к науке, как к чему-то очень далекому от жизни, ироническое отношение «к тому, что говорят господа ученые», предпочтение старого, накопившегося хлама мнений, понятий, взглядов «тем новшествам», которые выдумывают «ученые умники».

Единственный «предмет», не заниматься которым считают для себя унизительным даже рыцари последней скамейки, это — русский язык. «Всякий развитой гимназист» считает себя обязанным интересоваться этим «предметом». Без этого не получишь среди товарищей звания «развитого гимназиста».

Но и интерес к русскому языку гаснет, как только дело доходит до самой интересной части «предмета» — до русской «словесности». Заставив вас вызубрить наизусть пяток державинских од, вам вскользь говорят:

— Затем был Пушкин!

И ставят кол, если вы не умеете разобрать «Слово о полку Игореве». А «Слово о полку Игореве» Е. В. Барсов вот шестьдесят седьмой год разбирает, четырнадцать томов написал, и все еще, кажется, первое предложение разбирать не окончил.

Так, перед этим победоносным Игоревым полком, при громе державинских од бегут из преподаваемой в средней школе российской словесности Пушкин, Лермонтов, Тургенев... Даже самый интересный предмет засушивается в сухарь.

Средняя школа приучает нас с детства заниматься делом, которое нас не интересует, не захватывает, относиться к своему делу казенно, по-чиновничьи.

В этом и заключается ее великое воспитательное значение, полное соответствие с нашею жизнью.

Что такое Россия?

Собрание людей, из которых каждый недоволен тем делом, которое ему «приходится» делать.

Видали ли вы довольного своей профессией человека?

Возьмем чиновника... Я не говорю о высших, которые, как орлы, парят в сфере высших предначертаний и вьют свои проекты на вершинах высоких соображений. Нет, возьмем обыкновенного, среднего чиновника, делающего обычное, повседневное дело. Может он, будучи выведен в каком-нибудь самом необыкновенном фарсе, воскликнуть:

— Ах, как хорошо быть чиновником!

Весь театр расхохочется, но найдет:

— Совсем уж неправдоподобно!

— Чиновник? Чиновник отличается от обыкновенного смертного только одним. Всякий человек зависит только от собственного несварения желудка, чиновник еще и от чужого. Несварение желудка у начальника — и выговор, замечание, лишение награды! Жалованье — грош. Бьешься как рыба об лед...

— Но зато дело-то, само дело!

— Какое же это дело? Мы куда-то что-то пишем, а оттуда только слышим, что это ни к чему не ведет.

Вот и все.

Найдите мне умного, развитого чиновника, который бы верил в жизненность и плодотворность канцелярщины.

Возьмем лиц «либеральных» профессий. Большой адвокат в отчаянии от своего ремесла.

— Помилуйте, я являюсь тогда, когда все в сущности уж почти кончено. Улики собраны, скомбинированы. Подсудимый на три четверти уж признан виновным,— сидит на скамье подсудимых. В то время, когда идет настоящая-то, решающая судьбу борьба, во время следствия, меня и нет. Я похож на доктора, которого зовут только к умирающим. Много ли тут сделаешь! Какая это профессия! Сколько душевных мук перенесешь!

Маленькие адвокатики, не задающиеся такими «вопросами», тянут себе лямку, получают «за выход».

— Но дело ведь вы делаете?

— Какое это дело? Так, кляузы поддерживаем.

Из писателей один только Щедрин завещал сыну:

— Нет выше и почетнее, как звание русского литератора.

А все, большие и маленькие, по три раза в день вспоминают слова Пушкина:

— Что это за несчастие с умом и талантом родиться у нас!

Актер всегда говорит:

— Мой сын будет доктором... Мой сын будет инженером...

— А актером?

— Избави бог!

Одни есть — доктора. Те всегда в пьесах говорят очень громко о счастье быть врачом, врачевать, помогать и исцелять...

В пьесах-то они очень довольны своей профессией, а вот по статистике-то никто так рано не умирает, как доктора от нервного переутомления.

Скажите любому земскому врачу:

— Врачевать,— как это должно быть отрадно!

— Пичкать какими-то пилюлями, микстурами человека, которому нужны не порошки, а хлеб! Как это необыкновенно «отрадно»! Чувствовать на каждом шагу свое полное бессилие!..

Из десяти русских врачей вряд ли один даже и верит в медицину. Заниматься изо дня в день, всю жизнь делом, к которому не лежит сердце! Какая это должна быть каторга! Я со слезами, например, всегда читаю «Московские ведомости». Бедный г-н Грингмут! Что должен перечувствовать он, садясь к письменному столу. То же, что каторжанин, когда его приковывают к тачке.

Человек хотел бы писать настоящие, голые, неприкрашенные «донесения», а он должен издавать все-таки газету!

И так всю жизнь!

Это каторга с прикованием к письменному столу! Школа спасает нас от многих тяжких ощущений.

Наша средняя школа приучает нас к тому, что нам предстоит испытывать во всю нашу жизнь: заниматься делом, которое не по душе, относиться к нему «по-казенному».

— Сбыл, да и с рук долой!

В этом достоинство нашей средней школы. Ее связь с нашей жизнью. Вот почему теперь, когда ее собираются реформировать и когда на нее со всех сторон сыплются нападки, я считаю своим долгом вступиться за нее и сказать:

— Не трогайте этих кругов. Восьми кругов гимназического... курса.

Они дают настоящую подготовку к предстоящей жизни.

Для Петербурга теперешняя школа важна в особенности потому, что с детства приучает людей быть маленькими чиновниками.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Этой весной в Париже я зашел в одну знакомую семью.

Меня встретил мальчишка, ликующий и радостный:

— А мы с папой сегодня в Салон идем. Папа меня берет.

— Да?

— В награду!

— Что ж ты такого наделал, что тебя награждать нужно?

— А он сегодня принес первое сочинение! С отметкой «очень хорошо»! — похвасталась мамаша.

Всегда надо делать вид, будто страшно интересуешься успехами детей.

— Ну, ну! Покажите ваше сочинение.

Детям в школе было предложено посетить в один из праздничных дней Зоологический парк и затем описать этот зоологический сад в форме письма к товарищу, живущему в провинции.

Мой маленький приятель — живой и умный мальчик. Большой остряк. Он любит приправить свою болтовню шуткой,— и иногда острит очень удачно.

Не удержался он от шутки и в «сочинении».

Немножко лентяй, он, чтоб не писать слишком много, заканчивал свое коротенькое сочинение так:

«Впрочем, для того, чтоб познакомить тебя со всеми чудесами Зоологического парка, мне пришлось бы написать целую книгу. Может быть, когда-нибудь я это и сделаю. Но, принимая во внимание мою лень, я уверен, ты сам до тех пор успеешь побывать в Париже и посмотреть все своими глазами».

«Сочинение» было написано хорошим, правильным французским языком, и под ним была пометка: «Очень хорошо».

— Ну, а это место? — спросил я.

— Ах, учитель ужасно смеялся, когда читал вслух это место. И товарищи тоже!

Мне вспомнилось, как меня однажды дернул черт пошутить в сочинении.

Темой было: «Терпение и труд все перетрут».

Среди академических рассуждений на эту тему нелегкая меня дернула мимоходом вставить фразу:

«Да, конечно, терпение и труд все перетрут, например здоровье».

Настал день «возвращения» тетрадок.

Этого дня мы всегда ждали с особым нетерпением.

Предстоял целый час издевательства над слабейшими товарищами.

Учитель читал вслух худшие «сочинения», острил по поводу них, и мы помирали с хохота над автором. Особенно старались помирать с хохота те, кто сидел на виду у острившего учителя.

Кто-нибудь из товарищей стоял у дверей и выглядывал в коридор.

— С тетрадками идет! С тетрадками! — возвещал он всеобщую радость, опрометью кидаясь на место.

Итак, настал день возвращения тетрадок.

Но, против обыкновения, учитель явился сумрачный. Лицо ничего хорошего не предвещало.

Сел на кафедру, отметил журнал, выдержал длинную, томительную паузу, развернул тетрадку, лежавшую наверху, и вызвал:

— Дорошевич Власий!

Дорошевич Власий поднялся смущенный.

— Дорошевич Власий! Вы позволили себе неуместную и неприличную шутку...

Белокурый немчик, сидевший рядом на парте, поспешил испуганно отодвинуться от меня. Он всегда отодвигался от тех, кто получал единицу или подвергался наказанию. Товарищи глядели на меня, кто с испугом, кто с сожалением, кто со злорадством.

— Вы позволили себе неуместную и неприличную шутку в вашем сочинении...

— Господин учитель...

— Потрудитесь молчать! О вашей неуместной и неприличной шутке будет мною, как классным наставником, доведено до сведения педагогического совета. Теперь же потрудитесь отправиться к г-ну инспектору. Г-ну инспектору уже известно о неуместной и неприличной шутке, которую вы себе позволили. Ступайте! Никаких разговоров! Ступайте!

Толстый инспектор, которого мы звали «турецким барабаном», окинул меня недружелюбным взглядом с головы до ног.

— Что вам? Почему вы не в классе?

— Ученик такого-то класса, такого-то отделения, Дорошевич Власий! — робко отрекомендовался я.

Толстый инспектор покраснел:

— А! Это вы? Где у вас пуговица?

Он кричал и от крика начал синеть:

— Где у вас пуговица? Почему пуговица на мундире не застегнута? Где ваш галстук?

— Сполз...

— Я вам покажу — сполз. Пуговицы не застегнуты, галстук не на месте, позволяете себе неуместные и неприличные шутки. Что вы о себе думаете? Будут вызваны ваши родители! Идите к г-ну директору. Г-н директор знает о том, что вы себе позволили.

К актовому залу, где сидел директор, я подобрался уже совсем на цыпочках, проводя пальцем по пуговицам и щупая, здесь ли галстук.

— Скажите, что Дорошевич Власий!

Мы всегда, когда предстояла гроза, говорили сторожам «вы». В обыкновенное время мы говорили им «ты» и ругали дураками.

С трепетом я вступил в великолепный актовый зал, с мраморными стенами, на которых висели золотые доски с фамилиями кончивших с медалью.

Посреди, за длиннейшим столом, покрытым зеленым сукном, сидел г-н директор, маленький, весь высохший человек, ходивший не во фраке, а в сюртуке с золотыми пуговицами, что придавало ему в наших глазах какое-то особое величие.

Г-н директор посмотрел на меня поверх очков, помолчал минуты две и крикнул:

— Что у вас за волосы?

Я схватился за волосы.

— Что за волосы, я вас спрашиваю? Какие у вас волосы? А?

Я растерялся окончательно.

— Б-б-белокурые!

Директор даже вскочил, словно под него вдруг насыпали угольев.

— Вы позволяете себе неприличные и неуместные шутки еще в разговорах с начальством? Вы позволяете себе

являться с непричесанными волосами да еще имеете смелость так отвечать! Молчать! После классов сядете в карцер! Извольте идти. Слышали?

Черт возьми, сразу было видно, что имеешь дело с классиками! Они громили меня, как Катилину!

И вот после классов я очутился на шесть часов в карцере. Запертый, весь полный скверны, внутри и снаружи: пуговица не застегнута, в сочинениях неуместные и неприличные шутки, волосы не острижены, галстук сполз.

В результате: нуль за сочинение,— нулей у нас вообще не ставили, но на этот раз решено было для примера поставить,— сбавили балл с поведения, накричали, выдержали в карцере, вызвали родителей.

Для большей острастки им объявили еще:

— В следующий раз вынуждены будем предложить вам взять вашего сына из гимназии. Подобные воспитанники не могут быть терпимы.

И все из-за того, что нелегкая меня дернула написать в сочинении то, что я подумал!

Меня заинтересовали «сочинения» во французской школе, и я обратился к моему маленькому другу:

— Нельзя ли достать сочинения твоих товарищей? Мне хотелось бы посмотреть.

— А вот придите к нам в воскресенье завтракать,— у меня будут двое товарищей. Я им скажу, чтобы захватили тетрадки.

Один из этих маленьких писателей оказался человеком ученым. Он посмотрел на свою задачу серьезно, написал длинное сочинение и щеголял ученостью. Он сообщал своему воображаемому другу не только о внешнем виде зверей, но и об их нравах, привычках, образе жизни на воле. Сообщал, что львы, тигры и пантеры принадлежат к «семейству кошек» и т. п.

Другой был большой фантазер. Вид каждого зверя напоминал ему какую-нибудь страницу из прочитанных путешествий. И он описывал больше охоту на этих зверей. Описывал с таким увлечением, словно участвовал во всех этих охотах сам.

«Бить бизона пулей в голову положительно невозможно! — восклицал он.— Пуля сплющится, и охотник должен выждать момент, когда разъяренное животное кинется на него, наклонив голову, и тогда бей пулей в крутую шею!»

Всякий писал по-своему. Всякий жил в «сочинении»

своей жизнью. Каждый писал то, что он действительно думал.

А учитель следил за тем, чтоб мысли были изложены правильным родным языком, и ставил за это изложение «очень хорошо» и серьезному сочинителю, щеголявшему ученостью, и мальчику, несомненно обладавшему творческой фантазией, и ребенку, склад ума которого расположен к шутке.

Разве художественная фантазия или остроумие — недостатки?

Дети, это — цветы. Нельзя же ведь требовать, чтоб все цветы одинаково пахли.

Пусть дети умеют хорошо излагать то, что думают. В этом и состоит обучение родному языку.

Но никто не кладет свинцового штампа на их мысль:

— Думай вот так-то.

А у нас!

Урок русского языка.

— Разбор «Птички божией». Мозгов Николай!

Встает маленький и уже перепуганный Мозгов Николай.

— Мозгов Николай! Разберите мне «Птичку божию». Что хотел сказать поэт «Птичкой божией»?

Мозгов Николай моргает веками.

— Ну! Мозгов Николай! Что хотел сказать поэт?

— У меня мамаша больна! — говорит вдруг Мозгов.

— Что такое?

— У меня мамаша больна. Я не знаю, что хотел сказать поэт. Я не мог приготовить.

— У Мозгова Николая мамаша всегда бывает больна, когда Мозгов Николай не знает урока. У Мозгова Николая очень удобная мамаша.

Весь класс хихикает.

— Я ставлю Мозгову Николаю «нотабене». Голиков Алексей! Что хотел сказать поэт «Птичкой божией»?

— Не знаю!

— Голиков Алексей не знает. В таком случае Голиков Николай.

Голиков Николай молчит.

— Голиков Алексей и Голиков Николай никогда ничего не знают. Постников Иван.

— У меня, Петр Петрович, нога болит!

— При чем же тут поэт?

— Я не могу, Петр Петрович, стоять!

— Отвечайте в таком случае сидя. Постников Иван и сидя не знает, что хотел сказать поэт. В таком случае, Иванов Павел!

— Позвольте выйти!

— Что хотел сказать поэт «Птичкой божией»?

— Позвольте выйти!

— Иванов Павел хочет выйти. Иванов Павел выйдет на целый класс!

И уроки-то русского языка идут на каком-то индейском языке! Словно предводитель команчей разговаривает:

— Бледнолицый брат мой — собака. Язык бледнолицего брата моего лжет. Я сниму скальп с бледнолицего брата моего!

В это время над задней скамейкой поднимается, словно знамя, достаточно выпачканная в чернилах рука.

— Патрикеев Клавдий знает, что хотел сказать поэт. Пусть Патрикеев Клавдий объяснит нам, что хотел сказать поэт!

Патрикеев Клавдий поднимается, но уверенность его моментально покидает:

«А вдруг не угадаю».

— Почему же Патрикеев Клавдий молчит, если он знает?

Все смотрят на Патрикеева и начинают хихикать.

Патрикеев Клавдий думает:

«Не попроситься ли лучше выйти?»

Но стыдится своего малодушия и начинает неуверенным голосом:

— В стихотворении «Птичка божия» поэт, видимо, хотел сказать... хотел сказать... вообще... что птичка...

А класс хихикает все сильнее и сильнее:

«Ишь какой знающий выискался! Знает, что поэт хотел сказать! Этого никто, кроме Петра Петровича, не знает!»

Патрикеев готов заплакать:

— Прикажите им, чтобы они не смеялись... Тут вовсе нечему смеяться... Поэт хотел сказать, что птичка... вообще не работает, ничего не делает... и все-таки сыта бывает...

— Не то! Пусть Патрикеев Клавдий сядет и никогда не вызывается отвечать, когда не знает. Никто не знает, что хотел сказать поэт в «Птичке божией»? Никто? Ну, как же так? Это так просто.

И учитель объясняет:

— Вкладывая песню о птичке божией в уста кочевых

и неоседлых цыган, поэт тем самым хотел изобличить перед нами низкий уровень этих цыган. Ибо только с точки зрения...

— Петр Петрович, будьте добры помедленнее. Я не успеваю записывать! — говорит первый ученик.

— Надо понимать, а не записывать! Ибо, говорю я, только с точки зрения кочующих и беззаботных цыган может служить предметом восхваления такая беззаботность птички. Похвала же птички за ее праздность и ничегонеделание была бы немыслима в устах такого просвещенного человека, каким, бесспорно, является поэт. Все поняли?

— Все поняли! — хором отвечает класс.

— Мозгов Николай, повторите!

— Поэт вкладывает птичке в уста...

— Садитесь. Повторяю еще раз. Вкладывая в уста не птичке, а цыганам, поэт, несомненно, думал этим... Ну, да все равно! Запишите.

И все зубрят к следующему уроку это обязательное «толкование птички».

И так со всем, что только читается и обсуждается в классе.

И чем больше школьники читают и обсуждают, тем больше они отучаются думать, разбирать, понимать.

Похоронным звоном над самостоятельной критической мыслью звучит каждое учительское:

— Поэт хотел этим сказать...

Своя мысль заменяется штампованной мыслью обязательного и узаконенного образца.

Никто уж и не пытается думать. Все равно не попадешь и ошибешься. Учитель скажет, как это надо понимать на пятерку!

Нет ничего более притупляющего, как гимназические «сочинения по русскому языку».

В провинции у меня был добрый знакомый, видный общественный деятель и необыкновенно чадолюбивый родитель.

Когда его дети держали экзамен, экзамен держал весь город. Одни знакомые,— мой приятель был большой хлебосол, у него всегда бывал весь город,— одни знакомые летели хлопотать у попечителя, другие у директора, третьи разлетались по учителям.

Если кому-нибудь из детей задавали трудную задачу по алгебре, в решении ее принимали участие профессора

математики местного университета. В дни «сочинений на дом» приглашались на помощь адвокаты и литераторы.

И вот старшему сыну задали задачу на тему:

— О пользе труда.

Была созвана консультация.

Отец ходил, разводя руками:

— Черт знает, какие темы задают детям. Поистине не понимаю, какая такая польза труда! Труд, это — проклятие. Бог, изгоняя из рая, проклял людей трудом!

Мы наперерыв старались изложить перед юношей все полезные стороны труда.

Рисовали самые соблазнительные перспективы.

— Вот что можно на эту тему написать!

— Вот что еще можно прибавить!

— Вот еще что!

Но юноша качал головой:

— Нет, это не то! Это все не годится. Придется, папа, пригласить Семена Пуприкова!

Семен Пуприков был ученик другой гимназии, но «человек знающий».

— Он на сочинениях собаку съел.

Пуприкова пригласили обедать на другой день, и родственница, заведовавшая хозяйством, спросила даже:

— А что этот твой Семен Пуприков любит? Не сделать ли по этому случаю блинчики с творогом? Такие, подрумяненные. Или лучше будет оладьи с вареньем, только пожирнее?

Наше самолюбие было, черт возьми, задето! И на следующий день мы, и присяжные поверенные и литераторы, явились на обед с Семеном Пуприковым.

Пуприков оказался мальчиком небольшого роста и очень головастым.

Так, ничего особенного!

Явился он в дом с полным сознанием важности своей миссии. С таким видом входят в дом нотариусы, приглашенные к умирающему составить духовное завещание, судебные пристава, являющиеся для описи имущества, и немногие им подобные.

Вплоть до обеда Пуприков ничего не говорил, ел хорошо: всего взял вдвое, а оладий с вареньем спросил даже четыре раза.

После обеда тут же, за столом, начали говорить о сочинении.

— Ну-с, как же надо написать «О пользе труда»?

Семен Пуприков обвел всех нас серьезным и даже, как мне показалось, строгим взглядом, сжал губы, подумал с минуту и сказал глухим голосом:

— Тут Демосфен необходим!

Присяжные поверенные даже подпрыгнули:

— Как Демосфен?!

— А так Демосфен! — снова помолчав, продолжал Пуприков и, откинувшись к спинке стула, заговорил голосом, в котором послышалось даже что-то пророческое:

— Так, мы можем убедиться в пользе труда, только изучив историю Демосфена. Теперь период. Будучи от природы косноязычен и обладая физическими недостатками, которые не позволяли ему и думать о выступлении в качестве оратора, из боязни насмешек со стороны сограждан, Демосфен непрестанным трудом не только избавился от этих недостатков, но и сделался знаменитейшим оратором, слава которого далеко перешла пределы его родины и границы его времени! Ну, тут насчет камешков в рот, беганья по горам и всего прочего!

Мы переглянулись почтительно.

— А затем нужно,— продолжал наставительно Пуприков,— сопоставить Демосфена с лаццарони.

— Как с лаццарони? — воскликнули все, глубоко пораженные.— При чем же тут лаццарони?

Пуприков Семен снисходительно улыбнулся:

— А как же?

И снова приняв вид вещей пифии, он продекламировал, полузакрыв глаза:

— Лаццарони в Неаполе, довольствуясь ракушками, которые выбрасывает море, избегают труда,— и что же мы видим? Они валяются целый день на солнце, мало чем отличаясь от лежащих тут же собак, и справедливо вызывают к себе негодование путешественников. Это доказательство от противного или обратный пример. А посему, убедившись на примере Демосфена в крайней пользе труда и сопоставив это с пагубными последствиями праздности, в коих убеждает нас пример итальянских лаццарони в Неаполе, будем же подражать Демосфену и избегать примера презренных лаццарони... Тут уж часть патетическая! Это всегда так пишется!..— уверенно закончил Пуприков Семен.

— Черт знает что! Словно бумага в присутственное место! «Всегда так пишется!» — буркнул хозяин дома.

После обеда я почтительно предложил Семену Пупри-

кову папиросу, а один присяжный поверенный до того растерялся, что предложил ему даже сигару:

— Вы крепкие сигары курите или средние?

А Семен Пуприков, медленно прихлебывая ликер, раскрасневшись, долго объяснял нам, как надо писать сочинения на какие темы.

И в каждой гимназии, в каждом классе есть такие специалисты, которые «знают, как эти бумаги надо писать».

Словно ходатаи при консисториях!

Ко всякому пишущему человеку часто обращаются чадолюбивые папеньки и маменьки с просьбой:

— Напишите ребенку сочинение. Что вам стоит!

Но куда уж тут соваться!

Когда Тургенев за сочинение, написанное для гимназиста, с трудом получил тройку с минусом. А Щедрину за сочинение, написанное для дочери, и вовсе поставили два:

— Не знаете русского языка!

Старик, говорят, даже объясняться поехал.

— Ну, уж этого-то вы, положим, говорить не смеете. Незнание русского языка! Да сочинение-то писал я!

И это, наверное, никого не смутило:

— Да, но не так написано!

Не штампованные мысли и не штампованные слова.

После таких примеров, если к вам обращаются с просьбой «напишите сочинение», конечно, не беритесь. Найдите какого-нибудь «ходока по этой части» из гимназистов, у которого все мысли и слова уже раз навсегда заштампованы:

— Вот, голубчик, напишите для одного моего маленького приятеля сочинение: «Описание деревни». А я вас за это на Марсово поле отвезу, на велосипеде кататься.

— За велосипед мерси. А насчет сочинения, это мне пустое дело. «Описание деревни» — велика важность! Сейчас нужно ниву описать, направо роща, река.

— Ну, а если реки в деревне нету?

— Гм... Как же так реки нету? Река непременно должна быть. Это требуется.

Так еще со школьной скамьи штампуется наша мысль, отучают нас мыслить самостоятельно, по-своему, приучают думать по шаблону, думать, «как принято думать».

Наше общество — самое неоригинальное общество в мире.

Перефразируя знаменитую фразу Агамемнона, можно воскликнуть:

— У нас есть люди умные, есть люди глупые, но оригинальных людей у нас нет!

Быть «оригинальным» — даже недостаток.

Что вы слышите в обществе, кроме шаблоннейших мыслей, шаблоннейших слов?

Все думают по шаблонам. Один по-ретроградному, другой по-консервативному, третий по-либеральному, четвертый по-радикальному. Но все по шаблону.

По шаблону же ретроградному, консервативному, либеральному, радикальному, теми же самыми стереотипными, штампованными фразами все и говорят и пишут.

Я не говорю, конечно, о наших гениях, об исключительных талантах.

Гений, исключительный талант, это — розы, выросшие среди бурьяна. Бог весть каким ветром занесло их семена именно сюда!

Но обыкновенные, средние писатели.

Часто ли вы встретите в нашей текущей литературе оригинальную мысль, даже оригинальное сравнение?

Возьмите самого захудалого француза. И тот стремится что-нибудь новое, свое, не сказанное еще сказать.

А у нас только и думают, как бы написать, сказать «как все», повторить «что-нибудь хорошее», двадцать раз сказанное.

Такая мыслебоязнь!

Только этой шаблонностью, которая разлита кругом и давит как свинец, и объясняется, например, успех у нас декадентства.

Это естественный протест против преснятины в мысли, литературе, искусстве.

Цинга у общества от этой пресной пищи!

И бросаются люди на декадентство, как бросаются цинготные на лук, на чеснок, на лимон. Десны от преснятины чешутся.

Жалуются, что в наше время уж очень увлекаются. Кто национализмом, кто радикализмом, кто другим каким «измом». Что увлекаются,— беда бы не велика. Увлечение есть,— значит, жизнь есть, не засохла, не завяла. Беда в том, что увлекаются-то уж очень легко, сдаются на все без боя: встретил теорию — и сдался ей на капитуляцию без

борьбы. Думал по одному шаблону, а потом задумал по другому.

Да как же и иначе быть может, когда со школьной скамьи самостоятельная мысль забивалась, забивалась, забивалась, думать «по-своему» всячески воспрещалось и рекомендовалось думать не иначе, как по шаблону.

И как это странно! Главным орудием к этому служило преподавание самого живого, казалось бы, предмета! Родного языка!

А между тем нет ничего легче, как сделать из этого именно «предмета» самый живой, интересный, увлекательный предмет, самое могучее орудие развития.

Любовь и уважение к этому именно «предмету» развиты среди юношества. Можно не заниматься чем угодно, но «русским языком» заниматься считается необходимым и почетным.

Всякий «развитой гимназист» считает необходимым заниматься русским языком.

Что же дают этим юношам, которые, говоря громко, с такой жадностью стремятся к этому источнику знания?

Половину курса они посвящают главнейшим образом на то, чтоб изучить, где надо ставить и где не надо ставить букву, которая совсем не произносится.

Вторая половина курса посвящена изучению «древних памятников» и того периода литературы, который никого уж не интересует.

Все, что есть живого, привлекательного и интересного в «предмете», исключено.

Мертвые сочинения, вместо того чтоб развивать, приучать мыслить, приучат к «недуманию».

И в результате...

Три четверти образованной России не в состоянии маломальски литературно писать по-русски. Привычка к шаблону в области мысли. И спросите у кого-нибудь, что такое русский язык.

— Скучный предмет!

А ведь язык народа, это половина «отчизноведения», это «душа народа».

Позвольте этим шаблоном закончить сочинение о преподавании русского языка.

УЧИТЕЛЬ

Артемий Филатович Эразмов, высокий сгорбленный человек, лет пятидесяти пяти — по внешнему виду, сорока пяти — на самом деле.

Рыжеватые, с сильной проседью волосы.

Одно из тех жестких, сухих, озлобленных лиц, по которому вы сразу узнаете или старого департаментского чиновника или педагога.

Недаром же опытные защитники стараются по возможности вычеркивать педагогов из списка присяжных заседателей.

Сиденье в классе, сиденье вечером за ученическими тетрадками, сиденье в педагогическом совете, беготня по урокам, бесконечное повторенье одного и того же из года в год, изо дня в день, тоскливое, однообразное — все это выедало душу, вытравляло из нее все живое.

Выцветала душа,— выцветало лицо.

Глаза утратили всякий блеск, стали какими-то оловянными, лицо приняло угрюмо-озлобленное, тоскливое выражение, волосы рано поседели.

Он тянул свою лямку — лямку человека, который должен работать, как загнанная почтовая кляча, за 100 рублей в месяц.

Для людей этой породы природа создает каких-то особенных жен.

Женщины, которые «пышно расцветают», чтобы увлечь какого-нибудь молодого учителя, и затем вянут, блекнут и в два года превращаются в каких-то мегер.

Глаза вваливаются, волосы редеют, щеки спадают, губы и десны бледнеют, и они начинают страдать малокровием, худосочием и «нервами».

Зубы желтеют и покрываются зеленоватым налетом.

И в довершение несчастья, и в это-то именно время этим бедным дамам и начинает казаться, что они неотразимо хороши.

Что стоит только сделать платье «к лицу»...

А так как на 100 рублей жалованья платьев особенно не нашьешься, то и начинаются дома сцены, ссоры, свары, истерики.

Кроме совсем особенных жен, имеющих способность удивительно быстро дурнеть и считать себя красавицами, природа создает для этих людей еще и совсем особую породу кухарок.

Настоящих ведьм, которым какое-то удовольствие доставляет бить хозяйскую посуду, причинять всяческий ущерб и без того еле-еле держащемуся хозяйству, говорить дерзости господам, отравлять им кровь, которой у тех и без того мало, которая и без того вся перепорчена.

Скверный обед, тесная, неудобная квартира, грошовые кредиторы, с ножом у горла требующие уплаты, истерики жены, лишения, необходимость отказывать себе во всем, кончая четверкой мало-мальски порядочного табаку.

Когда Артемию Филатовичу предлагали порядочную папироску,— даже она приводила его в раздражение.

Черт возьми! Ведь курят же люди хоть табак порядочный. А тут и в этом себе отказывай!

Со стороны можно подумать, что в жизни Артемия Филатовича нет ничего, кроме однообразного, как стук маятника, добросовестного исполнения своих обязанностей и скудного питания своего тела.

Присмотревшись поближе, вы увидели бы, что все его существо отравлено желчью.

Вся жизнь наполнена бессильной злобой, скрытой ненавистью.

Ненавистью ко всему. К жене, этой отвратительной костлявой женщине, с редкими волосами, которая корчится в истерическом припадке на продранном диване и визжит:

— Вы загубили мою жизнь... мою молодость... вы, нищий, нищий, нищий...

К кухарке, которая с особым, как ему кажется, злорадством говорит, подавая ему сапоги:

— А левый сапог-то опять каши просит!

Которой он не рискует даже заметить, что суп плох, потому что, того и гляди, нарвешься на дерзость:

— Чай, не по десяти копеек за мясо платим, из восьмикопеечного-то разносолов не наваришь!

Он ненавидел, глубоко в душе ненавидел своих товарищей, таких же каторжных бедняков, как он, вечно завистливых, злобных, готовых на каверзу, на сплетню, на что угодно из-за лишней улыбки директора, пресмыкавшихся перед сильными, дрожавших за себя и боровшихся за жалкое существование интригой, наушничеством.

За жалкое существование, которое эти бедняги покупали такой дорогой ценой.

Артемий Филатович и презирал и ненавидел их.

Ученики боялись его, как «старого учителя», не принимавшего никаких отговорок.

Но он знал, что только страхом держит в узде эту армию маленьких негодяев, готовых поднять его на смех, сделать ему какую-нибудь мелкую каверзу.

Он ждал этой гадости каждую секунду.

Знал, что его за глаза зовут Жирафом, и, входя в класс, видел, что на черной доске нарисован уродливый жираф.

Он должен был делать вид, что не замечает этого.

— Опять доска не вычищена? Дежурный, вытрите!

И слышал, как в классе фыркали то там, то здесь, пока дежурный нарочно медленно вытирал жирафа с длинной, безобразной шеей.

Он макал перо в чернильницу, чтоб поставить отметку, и вдруг ставит в журнале кляксу. Чернильница была наполнена мухами.

В классе фыркали. Он стучал по столу и, делая вид, будто не замечает, что это сделано нарочно, вызывает дежурного:

— Что это?

— Мухи-с!

И в глазах дежурного сквозил еле сдерживаемый смех.

— Вы не смотрите за чернильницей!

— Я смотрел... Они... сами-с... налетели-с...

Дежурный еле сдерживался, чтоб не прыснуть со смеху.

Он еле сдерживался, чтоб не отодрать дежурного за уши.

В классе снова сдержанно фыркали.

Над ним глумились, потешались, и он смотрел на них со злобой, с ненавистью, выбирая, кого бы вызвать, кому бы «влепить единицу», кого бы заставить страдать.

— Если бы со мною случилось несчастье, они радовались бы!

И он всей душой ненавидел этих мальчишек, которым была отдана вся его жизнь.

Этих лентяев, в которых он должен был силою вдалбливать изо дня в день одни и те же правила.

И этот-то без времени состарившийся, полуседой, измученный человек вступил в борьбу, в единоборство с Подгурским Алексеем, учеником четвертого класса.

Началось из-за пустяков.

Артемий Филатович только что выдержал дома одну из обычных безобразных сцен.

Жена валялась по дивану и вопила в истерическом припадке:

— Зачем вы женились, когда вы нищий? Зачем загубили чужую молодую жизнь?

Лавочник требовал уплаты и грозил подать к мировому.

— Мне надоело свои деньги получать по мелочам. Я и до дилехтора дойду! Я в своем полном праве!

Кухарка орала в кухне нарочно, чтобы слышно было в комнатах, что она «у нищих жить больше не согласна».

И Артемий Филатович убежал из этого ада.

Он шел по улице, ничего не замечая, ничего не видя перед собою, кляня день, час, минуту своего рождения.

Как вдруг на перекрестке какой-то улицы его обдало грязью с головы до ног.

Брызги грязи, вылетавшие из-под резиновых шин, залепили одно стекло у очков.

Обстоятельство довольно обыкновенное во всяком городе, где есть грязь, бедняки, которые ходят пешком, и богачи, которые летают на резине.

Но Артемию Филатовичу, именно в эту минуту, показалось, что ему нанесли страшное оскорбление, ударили по лицу.

Ему, нищему, кинули грязью в лицо, ему, труженику, ему, отдавшему всю свою жизнь на воспитание...

Он поднял голову.

С пролетавшей мимо коляски на резине кланялся ученик четвертого класса, Подгурский Алексей, в узенькой «прусской» фуражке, в ловко сшитой «в талию» шинели.

Кланялся насмешливо, иронически, как показалось Артемию Филатовичу.

Да мог ли он иначе кланяться? Он резиновыми шинами обдал с ног до головы грязью бедняка-учителя, которого глубоко презирал за его бедность.

— Мальчишка... дрянь... негодяй...

У Артемия Филатовича слезы подступили к горлу.

Он стоял на месте с сжатыми кулаками.

— Ну, погоди же!

На следующий день, едва Артемий Филатович вошел в коридор классов, как к нему подлетел Подгурский.

Чистенький, изящный, немножко франтоватый, как всегда, с тщательно расчесанным, приглаженным пробором, с «гривкой», кокетливо спускавшейся на лоб, в новенькой, ловко и красиво сидевшей курточке, с белыми манжетами,

выглядывавшими из-под рукавов золотыми запонками, с черной широкой лентой с золотой монограммой, свесившейся в виде цепочки из бокового кармана, тип, образчик, идеал школьного франтовства.

— Извините, Артемий Филатович... Я, кажется, вас вчера обрызгал... Но, право, это не нарочно... Кучер не сдержал: лошадь молодая, несет... Я хотел тогда же извиниться, но лошадь...

Он еще смеет говорить ему в лицо про лошадей, про кучеров, хвастаясь, рисуясь...

— Пошел прочь... мальчишка!..

— Жираф идет... злющий! — объявил дежурный.

Класс затих.

Артемий Филатович, действительно, вошел в класс мрачнее тучи.

Молча раскрыл журнал, не глядя на класс, выдержал паузу, и среди мертвой тишины, такой тишины, что слышно было, как муха прожужжит, раздался его голос, звучащий на этот раз каким-то резким металлическим оттенком:

— Подгурский Алексей.

Тот вышел к доске.

— Отвечайте сегодняшний урок.

Подгурский начал.

— Не так!

Подгурский начал снова.

— Не так!

Ученик остановился, он то бледнел, то краснел, на глазах выступили слезы. Он замолчал.

— Ну-с, г-н Подгурский?

— Я... я не знаю... я не выучил урока.

— Единица.

Артемий Филатович с чувством, с толком, с расстановкой поставил огромную единицу, во всю клетку журнала.

— На место!.. Надо уроки учить, а не на лихачах кататься, в юнкерских фуражках... Прусский юнкер какой!

Самое страшное уже случилось: единица была поставлена.

Подгурский был обижен, обозлен, стал дерзок и немножко нахален:

— Ни на каких лихачах не ездил. Нам незачем на лихачах ездить. У папы, слава богу, свои лошади есть! И фуражку ношу такую, какую папа позволяет. И никакого отношения к ученью моя фуражка не имеет. Вот что.

Артемий Филатович побагровел.

— Молчать! На место!.. Смеешь еще разговаривать!..

Он никогда не говорил с учениками на «ты», всегда держался сухого и официального «вы» с этими «бестиями». Но теперь он не владел собой.

— Мальчишка... дрянь... негодяй...

— На место я пойду, а ругаться вы не имеете никакого права! — ворчал Подгурский, идя на место.

— Вон из класса!

Артемий Филатович кричал так, что слышно было в соседних классах.

Подгурский круто повернулся на каблуках и дерзко, вызывающе, большими шагами вышел из класса.

Артемий Филатович не помнил, что делал: рвал, метал, то ставил единицу, то сам начинал подсказывать ответы и ставил пятерки слабым ученикам «назло», «в пику», чтоб «доказать свое беспристрастие».

Едва пробил звонок, возвещающий конец класса, как он бросился в учительскую и заявил, что ему надо говорить с г-ном директором.

— Подгурский Алексей...

— Вы так кричали,— поморщившись, перебил его директор,— что это? На кого это?

— Подгурский Алексей мне нагрубил... Я прошу строго взыскать...

— Подгурский... Подгурский... который это? Ах, помню... Это сын Подгурского... Он, кажется, недурно учился?

— Да... но он... Он груб... Он позволяет себе...

— Хорошо... Хорошо... Но кричать... Кричать не следует... Подгурский будет наказан... Но кричать не следовало... Это некрасиво... Мешает занятиям в других классах... Это не педагогично... Я вас попрошу, чтоб не повторялось...

Инспектору было поручено прочитать Подгурскому нотацию перед всем классом.

Подгурского посадили на три часа в карцер.

Подгурский теперь хвастался перед товарищами:

— Это все за то он мне мстит, что я его, Жирафа, вчера с ног до головы окатил грязью... Ну, да будет он у меня помнить!

Война между этим стариком и мальчиком была объявлена. Война не на живот, а на смерть.

Подгурского вызывали к доске только для того, чтобы постараться поставить единицу, двойку.

Его ловили, сбивали, за самые хорошие ответы не ставили больше тройки.

— Жираф мстит,— говорил класс, с интересом следя за этой войной между учеником и учителем.

— Вы списали,— злобным тоном говорил Артемий Филатович, возвращая Подгурскому тетрадку с хорошо исполненным уроком.

— Я не списывал! — холодно отвечал Подгурский, глядя смело и дерзко ему в глаза.

— На место! — кричал Артемий Филатович, возмущенный этим дерзким взглядом и чувствуя, что Подгурский прав.

Его самого выводила из себя эта глупая война.

Но назад идти было трудно.

— Что подумает этот мальчишка? Скажет, что я сдался. Что будет говорить класс?

Войну замечали все.

— Эразмов хочет, кажется, добиться, чтоб его пригласили на приватный урок у Подгурского! — шушукались коллеги Артемия Филатовича.

Он догадывался об этих толках и, чтоб показать свое беспристрастие, после единиц вдруг начал ставить Подгурскому пятерки.

Он терял голову, задыхался в борьбе.

А борьба шла, не переставая ни на секунду.

Артемий Филатович не мог подойти к доске.

Он чувствовал, что на спину его старого, побелевшего по швам фрака устремлен насмешливый, дерзкий взгляд Подгурского, что тот следит за каждым его движением, подмечает и осмеивает каждый неуклюжий жест Жирафа.

И, оборачиваясь, он встречался глазами с действительно устремленным на него дерзким, смелым, вызывающим взглядом.

Мальчишка бравировал.

В один из «пятерышных периодов», когда, по выражению класса, «Жираф великодушничал», класс посетило приезжее «лицо».

— Приехал,— пронеслось по коридору.

Учеников не выпускали из классов даже во время перемены.

Надзиратели осмотрели, все ли по форме одеты.

Сторожа курили уксусом.

Во всем здании царила мертвая тишина.

Уже по этому можно было судить, что это было важное посещение.

«Лицо» зашло в класс Артемия Филатовича, подало ему руку, ласково поздоровалось с учениками, посмотрело журнал и заметило:

— А вот, должно быть, способный ученик. Две пятерки подряд. Подгурский Алексей.

Подгурский вышел к доске, не бросив даже взгляда на Артемия Филатовича.

— Ответьте мне вчерашний урок.

Артемий Филатович побледнел: Подгурский нес какую-то чушь.

«Лицо» с удивлением посмотрело на ученика, на учителя.

— Позвольте... Да ведь вы вчера за это получили пять?

— Вчера он...— начал было Артемий Филатович, но замолк.

Подгурский исподлобья бросил на него насмешливый, торжествующий взгляд.

Присутствовавший тут же директор то краснел, то бледнел.

— Странно! — поморщилось «лицо».— Они, видимо, у вас плохо усваивают. Механически заучивают... Плохо усваивают. Вчера знал, а сегодня не знает... Садитесь, г-н Подгурский! Постарайтесь лучше усваивать, что учите!

«Лицо», не желая ставить единиц, поставило ему «нотабене».

— Очень странно! Плохо, плохо усваивают. Надо заботиться, чтоб усваивали.

И «лицо», сухо попрощавшись с учениками и учителем, вышло из класса, повторяя на ходу директору:

— На это надо обратить внимание: плохо усваивают.

— Подгурский! — почти крикнул Артемий Филатович.

— Что прикажете?

— Отчего вы не отвечали, как следует? Ведь вы...

— Я знаю этот урок. Только при них сконфузился.

Он глядел дерзко, вызывающе, насмешливо торжествуя победу. В его взгляде так и читалось:

«Что? Отплатил?»

У Артемия Филатовича сжимало горло.

— Ну... дождитесь экзамена.

К экзамену Подгурский, видимо, подзубрил: ему было нельзя провалиться,— в этом классе он не мог сидеть два года.

Когда он вышел отвечать, в его взгляде, дерзком, холодном, насмешливом, как всегда, было ясно написано:

«Не собьешь, брат. Хочешь — не хочешь, а поставишь «удовлетворительно». Подучил, знаю».

Он спокойно взял билет, развернул, небрежно положил обратно на стол и хотел отвечать.

Но Артемий Филатович спросил не по билету.

Что-то такое, что происходило года два тому назад.

Подгурский смешался.

Артемий Филатович задал еще более трудный вопрос.

У Подгурского на глазах выступили слезы.

— Я... я... этого... не помню...

Теперь уж Артемий Филатович взглянул на него с насмешливой, язвительной, торжествующей улыбкой.

— Как же так-с? В пятый класс держите, а того, что во втором проходят, не знаете... Единица!

И он медленно поставил единицу.

У Подгурского перекосилось лицо, слезы быстро закапали из глаз, горло перехватило.

— Артемий Филатович... как же это?.. Простите...

— Садитесь...

— Артемий...

— Садитесь...

И Артемий Филатович улыбнулся в первый раз за все время, пока он разговаривал с Подгурским.

— Следующий.

Подгурский, пошатываясь, пошел на свое место...

Когда Артемий Филатович на следующий день появился во дворе школы, ученики, толпившиеся около подъезда до начала экзаменов, расступились перед ним в каком-то страхе. Многие даже позабыли ему поклониться, глядя испуганными, широко раскрытыми глазами на Жирафа.

А на лестнице его встретил директор, бледный, перепуганный, взволнованный.

— Подгурский застрелился.

— Как?

— Застрелился вчера вечером. Сегодня нашли тело...

У Артемия Филатовича подкосились ноги, он прислонился к перилам, чтобы не упасть.

Бледный, как полотно, он смотрел глазами, полными ужаса, на директора:

— Как застрелился?

— Говорю вам, что застрелился... Как! Как! Как люди стреляются!

Артемий Филатович провел рукой по лбу, словно стараясь прийти в себя:

— Я... экзаменовать не могу... у меня... голова...

Он прошел, ничего не видя, через толпу учеников, которая широко расступилась перед ним, с ужасом глядя на страшного Жирафа.

Он шел, сам не зная куда, зачем.

— Подгурский Алексей, ученик четвертого класса, застрелился.

Около свежей могилки, заваленной венками: «От товарищей», «От убитого горем отца», «От сестрички», «Внучку Алеше от бабушки», стоял на коленях, даже не стоял на коленях, а сидел на корточках,— вот, как сидят дети, надолго поставленные на колени,— Артемий Филатович и плакал, закрывши руками лицо.

Он плакал тихо, беззвучно, старческими слезами, только спина и плечи вздрагивали от тихих рыданий.

О чем плакал этот бедный, преждевременно состарившийся человек?

О чужой ли загубленной молодости?

О собственной ли загубленной, изломанной, исковерканной жизни, которая довела его до озлобления на ребенка?

О том ли и о другом ли вместе?

О многом плачет человек, если он заплачет в сорок пять лет от роду.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

...Предлагаю тост за русскую интеллигенцию!

Речь П. Д. Боборыкина

Сын сапожника, кончивший университет,— вот что такое русская интеллигенция.

У сапожника Якова было три сына. Двое пошли по своей части и вышли в сапожники, а третий, Ванька, задался ученьем.

Бегал в городское училище, а потом его как-то определили в гимназию.

И отцу сказали:

— Ты, Яков, уж не противься. Мальчонку-то жаль: уж больно умный.

— Пущай балуется! — согласился Яков.

И пошел Ванька учиться.

То отец кое-как горбом сколотит, за право ученья заплатит, то добрые люди внесут, то сам грошовыми уроками соберет.

Обшарпанный, обтрепанный, бегая в затасканном сюртучишке, с рукавами по локоть, зимой в холодном пальтишке, занимая у товарищей книги, кое-как кончил Иван гимназию и уехал в столицу в университет.

Жил голодно, существовал проблематично: то за круглые пятерки стипендию дадут, то концерт устроят и внесут. Два раза в год ждал, что за невзнос выгонят. Не каждый день ел. Писал сочинения на золотую медаль,— и золотые медали продавал. Учил оболтусов по 6 рублей в месяц. Расставлял по ночам литераторам букву «ять». Летом ездил то на кондиции, то на холеру.

И так кое-как кончил университет.

— Ну, теперь пора и родителей проведать! Как мои старики?

Отец — человек простой,— чтоб больше простого человека порадовать, диплом ему показал:

— Смотри, как батька!

— Фитанец получил! — одобрил отец.

— Фитанец получил! — рассмеялся Иван Яковлевич.

— Молодчага!

Ну, теперь надо думать, как жить.

— Вот что, батюшка! Того, что вы для меня делали, я никогда не забуду. Никогда не забуду, как вы горбом сколачивали, чтоб за меня в гимназию заплатить. Теперь пора и мне на вас поработать. Вы человек старый, вам и отдохнуть время. Переедем мы ко мне и заживем вместе,— на покое вы будете! Да и братьям надо что-нибудь получше устроить.

Яков нахмурился и сказал:

— Это не подходит! Мы сапожники природные, и нам своего дела рушить не приходится. И дед твой был сапожник, и я сапожник, и братья твои сапожники. Так и идет. Спокон века мастерская стоит. Нам дела своего кидать не резон.

Подумал Иван Яковлевич, видит:

— Прав отец. Жизнь сложилась,— ломать ее трудно.

А под сердцем что-то сосет:

— Господи, боже мой! Неужели я буду заниматься «чистым делом», а они так вот всю жизнь свою в вонючей мастерской, сгорбившись за дратвой, сидеть должны?

Лежит так Иван Яковлевич и думает, а через перегородку слышно, как в мастерскую заказчик зашел. Голос такой веселый, барственный.

— Здравствуйте, ребята! А! Яков? Жив, старый пес?

— Что нам делается, батюшка Петр Петрович! Что нам делается? — отвечает голос отца.— Живу, пока бог грехам терпит!

— Живи, живи! — разрешил барственный голос.— Я ведь тебя, старого пса, сколько лет знаю!

— Давненько, батюшка! — согласился льстивый голос отца.— Сапожки заказать изволите?

— Сделай, сделай, старый пес, сапожки. Сам мерку снимать будешь?

— Ужли ж кому поручу?!

Иван Яковлевич слышал, как отец стал на колени.

— У вас тут мозолечка, кажется, была?

— Хе-хе! Все мои мозоли помнит! Ах, старый пес, старый пес!

Понравилось человеку слово!

— Так на той неделе чтоб было готово, старый пес! Так не обмани, старый пес! Чтобы не жало, смотри, старый пес!

Вышел Иван Яковлевич из-за перегородки:

— А позвольте вас спросить, милостивый государь, на каком вы основании человека «псить» себе позволяете? Что, у человека имени своего нет? А?

У отца по лицу пошло неудовольствие. У барина на лице явилось крайнее изумление.

— Это кто же такой?

— Сынок мой. Ниверситет кончил! — заискивающе извиняясь, сказал отец.

Заказчик смутился.

— Виноват... Я не знал... Мы с вашим отцом... мы десятки лет... До свидания, Яков... А сапоги... А сапоги... Сапог мне не делайте... Не надо...

И, не зная просто, куда глядеть, вышел.

— Заказчика отбил? — спросил отец.— 20 лет заказчиком был, а теперь от ворот поворот!

И все сидели и вздыхали.

— Ты вот что. Ты, ученье кончив, для утешенья приехал, а не горе родителям причинять. Так ты жить живи, а порядков не рушь! Порядков не рушь! А уж ежели тебе, ученому человеку, так зазорно отца иметь, которого псом зовут, тогда уж...

Старик развел руками.

— Тогда уж не прогневайся!

Яков отвернулся, и на глазах у него были слезы!

— Только то бы помнить следовало, что отец твой, этого самого «пса» выслушивая, за тебя же в имназию платил. На того же Петра Петровича работаючи, тебя выпоил, выкормил.

Старик смолк, и все снова тяжко-тяжко вздохнули.

Отчаяние взяло Ивана Яковлевича.

— А, ну их! Какое я, действительно, право имею эти порядки ломать? Что я могу сделать? Не буду ни во что вмешиваться. Погощу, буду их «утешать», как они выражаются. Да и все!

Лежит в прескверном настроении и слышит: мать,— думает, что он спит,— потихоньку плачет и соседке жалуется:

— Мы его поили, мы его кормили, мы горбом сколачивали, мы за него в имназию платили. А что вышло? Лежит, как чужак, в доме. Другие дети,— ну, он поругается, ну, он и согрубит,— да видать, что он о доме думает. А этот как камень. Получит письмо с почты от знакомых. И читать торопится,— из-за обеда вскочит, руки дрожат, покеда конверт разорвет. И читает. Раз прочтет, другой прочтет. И ходит! И ходит! И писать сядет. А не так — разорвет. И волнуется. От чужих ведь! Из-за чужих волнуется! А свои — хоть бы ему что! Что в доме ни делайся,— слова не скажет!

Вскочил Иван Яковлевич:

«Не годится так! Верно это! Свои они мне! Должен я их жизнью жить! Их жизнью волноваться. Верно это мать!»

Видит как-то,— мать плачет.

— О чем, маменька?

— Как же мне, Ванюшка, не плакать? Петр-то, легко ли, гармонь купил! Самое последнее дело, уж ежели гармонь! Завелась у человека гармонь,— какой же он работник? Ему не работа на ум, а гармонь. Как бы на гармони поиграть!

Иван Яковлевич ее утешил:

— Ну, что вы, маменька? Ну, что за беда, что Петя гармонью купил?.. Вы, как бы вам это сказать... Ну, словом, вы напрасно плачете. Ей-богу, ничего дурного в этом нет.

— Учи, учи мать-то еще! Дура у тебя мать-то!..

Старуха пуще залилась слезами.

— Он бы, чем мать-то пожалеть, ее же и дурит!

Пошел Иван Яковлевич к брату Петру.

— Ты вот что, Петр. Ты бы свою гармонью бросил. Мать это расстраивает.

Брат Петр посмотрел на него во все глаза.

— Гармонь-тальянка, первый сорт, об 16 клапанах, а я ее «брось»?!

Петр даже с места вскочил и руками себя по бокам хлопнул:

— Хорош братец, нечего сказать! Взаместо того, чтобы брату радость сделать, из столицы ему гармонью в презент привезти,— он на поди! И последнего утешенья лишает? Выкуси, брат! Я эту гармонь-то, может, не один год в уме содержал! По воскресеньям согнувшись сидел. Другой мастеровой народ гуляет, а я заплаты кладу. Все на гармонь сбирал. И теперь мое такое намерение, чтобы портрет с себя снять. Сапоги с калошами, и на коленях чтобы беспременно гармония. А он: выброси!

Петр зверел все больше и больше.

— Нас в имназиях не воспитывали, мы в ниверситетах не баловались. За нас денег не платили, из-за нас горба не наживали. Нас шпандырем лупили, когда вы там по имназиям-то гуляли. Нам какое утешенье! А вы нас, братец, и последнего утешенья лишить хотите? Тоже называется «братец»! Хорош братец, можно чести приписать!

Иван Яковлевич за голову схватился.

— И он прав! И все они правы! А больше всех мать была права, когда говорила, что чужие люди мне ближе, чем они. Да, да! Все, все мне близки, только не они!

Отчаяние охватывало его.

— Да неужели, неужели самые близкие мне люди: отец, который радуется, что его псом зовут, значит, заказами не забывают,— мать, которая ревет, потому что в «гармони» погибель мира видит,— брат в калошах и беспременно с гармонью на коленках! Неужели они, они могут мне быть близки?!

И ужас охватывал его.

— Подлец ты, мерзавец ты, негодяй ты! Да ведь эти самые люди тебя своим горбом выходили! Ведь с голоду бы ты без них подох, вот без этого «пса», без этих людей «с гармонью». В гимназию-то кто за тебя платил? Сами голодали, тебя, негодяя, на плечах держали. А ты смеешь так о них...

До такого отчаяния человек дошел, что однажды даже отцу объявил:

— Знаешь что, батюшка? Я думаю всю эту ученость-то по боку! Все это лишнее! Я сын сапожника, родился сапожником, сапожником и должен быть. Сяду-ка я вот к вам в мастерскую да начну...

Но отец только посмотрел на него искоса и сказал одно слово:

— Сдурел!

А мать закачала головой и заговорила с горечью, с болью, с язвительностью:

— Значит, все наши хлопоты-то, траты, труды,— хинью-прахом должны пойти? Сапожником он будет! А? Недоедали, недосыпали, а он на все: тьфу! В сапожники!

Прямо потерялся Иван Яковлевич.

— Что ж делать? Что?

Захочет чем помочь:

— Постойте, я пойду дров наколю!

Улыбаются с неудовольствием:

— Пусти уж! Ученое ли это дело.

В рассуждение ли вдастся, чтоб стариков порадовать,— выслушают, вздохнув:

— Ты, известно, ученый!

И насупятся с неудовольствием.

Захочет разговор поддержать, отцу что возразить мягко, мягко.

— Перечь старику, перечь! — скажет отец.

А мать заплачет.

Совет подать,— и не дай бог.

— Вы бы форточку отворяли, воздух чище будет.

Братья хмурятся, злобно сплевывают в сторону:

— Тебе все нехорошо у нас. И воняет у нас. И все!

— Ученый! — с горьким вздохом замечает отец.

И начала в семью прокрадываться ненависть какая-то.

Отец велит «сыночка» к обеду звать, непременно зло скажет:

— Зовите... образованного-то!

Иван Яковлевич к обеду идет, себе говорит:

— Ну-с, послушаем, чего сегодня старый сапожник нафилософствует!

Мать, когда каши поедят, непременно прибавит:

— Ну, никаких разносолов больше не будет. Можно и богу молиться!

А ему хочется вскочить и крикнуть:

— Да никаких мне разносолов и не нужно! Да и вообще убирайтесь вы от меня к черту! Ничего у меня общего с вами нету. Никто вы мне! Вот что! Не вы мне близкие, не вы, а те, чужие. Там и я всех понимаю, и меня все понимают. А вы? Презираю я вас, презираю! Слышите?

«Эге! — думает Иван Яковлевич.— Плохо дело. Удирать надо!»

Объявил Иван Яковлевич отцу:

— А мне, батя... того... ехать пора...

И когда говорил это, от слез голос дрожал.

И старик отвернулся:

— Надоть... держать не можем... поезжай!..

И у старика от слез голос дрожал.

Расцеловались, прослезились.

Он им сказал:

— Пишите!

Они ему сказали:

— Не забывай!

И уехал Иван Яковлевич.

А приехавши в столицу, написал им самое нежное, самое любовное письмо. Все эти мелочи и вздорные столкновения, как пар, улетучились,— остались только в памяти и в душе милые старики.

А через две недели от них и ответ пришел. На четырех страницах, кругом исписанных,— что именно хотели люди сказать, понять было мудрено. Было понятно только,— что «письмо твое получили» и «что не такого утешенья от сынка на старости лет ждали».

Иван Яковлевич сейчас же послал им денег.

На денежное письмо получился ответ уже не на четырех страницах, а на одной.

Писали, что очень благодарны, потому что деньги всегда нужны... А дальше добавляли что-то о «псах» и о родителях.

Наконец, недоразумение разъяснил двоюродный брат Никифор, который приехал в столицу искать места.

— В неблированные комнаты лакеем, куда барышень водят. Очинно, говорят, выгодно.

Он пришел к Ивану Яковлевичу с просьбой похлопотать насчет такого места и кстати пояснил:

— Тятенька с маменькой очинно вашими письмами, Иван Яковлевич, обиждаются. Никому поклонов не шлете, ни тетеньке Прасковье Феодоровне, ни дяденьке Илье Николаевичу. Вся родня в обиде. «На родню,— говорят,— как на псов смотрит. На-те, мол, вам, подавитесь! Денег швырнет, ровно подачку. Слова приветливого не скажет».

Улыбнулся Иван Яковлевич, обругал себя в душе, улыбаясь, «свиньей», сел и написал:

«В первых строках сего моего письма посылаю вам, мой дражайший тятенька и моя дражайшая маменька, с любовью низкий поклон и прошу вашего родительского благословения, навеки нерушимого. А еще низко кланяюсь любезной тетеньке нашей Прасковье Федоровне. А любезному дяденьке нашему Илье Николаевичу шлю с любовью низкий поклон. А любезной двоюродной сестрице нашей Нениле Васильевне с любовью низкий поклон и родственное почтение...»

Четыре страницы поклонами исписал и послал.

— Никого, кажется, не забыл. Слава богу!

Через неделю пришел ответ.

Уведомляли, что письмо получили, но что не «чаяли до того времени дожить, чтоб родной сын стал над родителями надсмехаться». Потому что приходил заказчик, и, когда ему показали письмо от «образованного сыночка», он очень хохотал, читая, и сказал:

— Это он над вами штуки строит и над вашей деревенской дурью надсмехается. И все это прописал не иначе, как в надсмешку.

Дальше говорилось что-то о боге, который за все платит.

Иван Яковлевич чуть не волосы на себе рвал:

— Что ж я могу для них сделать? Что?

Как вдруг телеграмма:

— Был пожар. Все сгорело. Остались нищие. Голодаем.

Схватился Иван Яковлевич, продал, заложил все, что у него было, вперед набрал, под векселя надоставал:

— Вот когда я папеньке с маменькой за все, что они для меня сделали, отплачу. Пришел случай.

И с ужасом себя на этой мысли поймал:

— Да что я? Радуюсь, кажется, что с ними несчастье случилось?

И ответил себе, потому что он был с собой человек честный и правдивый:

— Радоваться — не радуюсь, а облегчение чувствую. Потому что случай вышел долг заплатить.

Когда они будут голодать,— он будет им денег высылать.

Вот и все, чем он может им помочь. Вот и все, что может быть между ними общего.

В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Ах, господи боже мой! Ты мне уголовный фрак подаешь! Дай тот, который по гражданским делам... постарее. Ну, вот! Слава тебе господи... До свидания, цыпленочек! Обедать? Нет, обедать буду в Эрмитаже. Да разве же ты забыла? Татьянин день сегодня... Да мне и самому, признаться, не хотелось, да неловко... традиция, знаешь... Нет, нет, нет! Духов не надо. Праздник демократический! Молодежь, понимаешь, горячая... Ну, и выпившая. Слово им скажу. Может, качать будут. Услышат, что от меня духами,— могут бросить... Да нет, душечка, не беспокойся. Теперь какая Татьяна? Теперь, строго говоря, и никакой Татьяны-то нет. Так! Традиция!.. Ах, прежде? Это действительно! На пальму лазал, это — верно. И в бассейне купался! Все помнишь?.. Нет, теперь нет! Теперь не то!.. Да ей-богу же, ни в одном глазу!.. Рано! Рано!.. Ну, какие там певицы!

Онисим, в Эрмитаж. Да не в театр, дура. В ресторан... Можешь ехать домой. Меня не дожидайся.

Здравствуй, Герасим!.. И тебе также!.. Тьфу, то бишь, спасибо, спасибо голубчик. А много празднующих-то? Ого! И Иван Иванович уж здесь? И Петр Петрович? А Семен Семеныч? И Семен Семеныч?! Черт, вечно опоздаю. Отдельно положи! Отдельно! Смотри, не перепутай! Соболья. То-то!

Иван Иванычу! А, Семен Семеныч! С праздником, коллега! С Татьяной-с, Петр Петрович, с Татьяной-с. Да, как вам сказать?! Года два еще, пожалуй, протянется! Конкурсное дело оно... Кто это, Козьма Прутков, кажется, еще

сказал: «Две вещи трудно окончить, раз начав делать: вкушать приятную пищу и чесать, когда чешется». А конкурсное дело, оно всегда чешется. Хе-хе! Шутник, Никифор Федорович. За ваше-с!

Мне бы, собственно, не следовало. У меня, знаете ли, Остроумов нашел... За ваше-с!.. Я вишн пью.

Сеня! Голубчик! Лет-то, зим-то сколько! Постарел-то как! Ай-ай-ай! Да неужели учительствуешь? Ах, бедняга, бедняга! А юриспруденцию по боку? Не повезло? Географию преподаешь? А! Жизнь-то как! Как разметала? А! С удовольствием, брат, выпью! Со старым-то закадыкой?! Вот рекомендую, брат, салат Оливье. Это из дичи. Да ты это не отбрасывай! Это, брат, трюфель! Да ты съешь, съешь. Хорошо? То-то и оно-то! Чеаэк! Рейнской у вас лососины нет? Ах, география, география! Вот рекомендую! Каждый, братец ты мой, слой своим жирком переложен. Так сказать, не рыба, а бутерброды, самой природой приготовленные! Рекомендую. Поесть? Поесть люблю. А прежде? Челыши помнишь? А Петька? Кирсанов Петька! Веселый был малый, горячая голова! Где теперь Петька? Ах, жизнь, жизнь, всех пораскидала! Выпьем за молодость, за Петьку! Да неужто он? Этот? Лысый? Петь... Петя! Господи! Господи!

Ах, вы в газетах пишете? Ну, и как это... то есть, я хотел сказать... в смысле заработка... ничего?.. Пардон, мне вот с председателем надо...

Как изволите видеть... Покорнейше благодарю, и жена!.. Ваше превосходительство, выпьем!.. Татьянин день!.. Ну, что такое рябиновая? Ваше превосходительство, казенной? Все мы казенные, и водка казенная! In vino veritas! И правда казенная! А это, ваше превосходительство, Сеня. Закадыка мой, ваше превосходительство! Сеня! Географию учит! А? Ваше превосходительство! Россия-то? Силы на что тратятся? А? Силы,— и географии учат! Ваше превосходительство, еще рюмочку! Одну! За силы, за гибнущие силы! А?

Ушел,— и черт с ним. Бюрократия. А я свободной профессии! Свободной и наливай водки! Свободной, мне ни к кому подлизываться не надо! Нет, брат, шалишь, меня не перервешь! Свободной! Сеня! Г-н Кирсанов!.. Петр... Петр... Как его по отчеству?.. Вы хоть и враждебного лагеря, но выпьем! За старое! За молодость! За альма-матер! Дай бог, чтоб ее традиции вы высоко несли и в журналистике! Чтоб и на этом пути вы не забывали!.. Да вы не обижайтесь!

Печать — это святое дело! К ней нужно дотрагиваться чистыми руками! Чистыми-с! Чистыми-с! Вам говорит старый студент! Старый студент Московского университета!.. И буду себя бить в грудь! И никакого скандала... И выпьем. И вот я тебя поцеловал, и его поцелую. И закушу колбасой.

Колбаска! Господи! Помнишь, брат? Петька! Помнишь? Бронная, колбаса, идеалы! Меня! Давай колбасу поцелуем. Плачу, брат, плачу! Святые слезы! Святые, да! И колбаса святая! И молодость святая!

Куда, куда вы удалились...

Ну, не буду петь! Не нужно — и не нужно! А колбасу я уважаю! Символ! Верили, пока колбасу ели! А теперь, брат, устрицы нас съели! Устрицы! И омар съел! Где омар? Дать мне сюда из него салат! Я его съем!

Омара я презираю,— потому омар подлец, а колбасу уважаю, потому что она честная! Омар — подлец, а колбаса — честная! И дать мне сюда колбасы! Ах, копченая! Я и копченую уважаю! И копченую на Бронной ел!.. На Бронной! Великое слово: на Бронной... Вы, молодой человек, какого курса? Ах, второго! А мы, молодой человек, верили! Мы верили, юноша! Верили! Мы в свое время юноша... Выпьем с тобой на брудершафт!.. Мы в ваши годы на Бронной жили! На Бронной! Ко мне Глашенька ходила. Белошвейка Глашенька. В веснушках она была. В веснушках нос у нее! Не встречали? А вообще девица доброкачественная. И выхожу я против Глашеньки подлец! Подлец я! Понимаете, подлец! Налей подлецу водки!

Желаете, я на Глашеньке женюсь? Да! И женюсь! Разведусь с женой. Она у меня умная, она поймет, передовая женщина! Жена у меня ангел! А я с ней разведусь. Непременно разведусь! А Глашенька теперь небось в богадельне. А я,— мне все равно! Я должен! Я и в богадельню приду, в ноги ей поклонюсь. Как Нехлюдов в «Воскресении» у Толстого! Да! Послать Толстому телеграмму: «Разволсусь с женой, женюсь на Глашеньке. Уррра!»

Я и не ору. И Михайловскому телеграмму! Всем телеграммы. Я, молодой человек... Позвольте, как же вы можете быть на втором курсе, когда у вас седая борода? И почему вы не в форме, а в белом? Ах, это официант! Все равно! Дайте и официанту водки! Пусть пьет! Я, брат, Михайловского вот как помню! Я только названия забыл, а я помню! Стой! Как? «Дарвин и Оффенбах». Видишь, как пом-

ню? Я, брат, на «Дарвине и Оффенбахе» воспитан! Я всосал! Дать ему водки! Пусть и он! Что ж из того, что он человек! Человек! Это звучит гордо! Это не ты, не я, не он! Это ты, я, он, Наполеон... еще кто? Гладстон! Чемберлен! Человек! Человек!.. Ничего мне не нужно! Что вы сбежались? Я просто как Горький! Послать Горькому телеграмму! Пусть приезжает! Желаю с Горьким обедать! Нет, не желаю идти за стол. С Горьким желаю! На каком основании «Мещане»? Почему «Мещане»? Отчего он ругается? Нет, у нас с Горьким большой разговор будет! Посадите меня рядом с Горьким! Ах, нет Горького? Нету Горького? В таком случае, я в суп окурок. Это что? Потаж а ля крем? А я в него окурок! И в рыбу окурок положу! И во все окурок положу! Я протестую! Протестую! В Пензенской губернии неурожай кормовых трав, а вы в это время суп-потаж есть можете? Чеаэк! Дай сюда мне тарелку супа! Я в него плюну! Пусти меня на стол, я им все это со стола скажу! Нет, ты меня за фалды не держи! Что фалда? Фалда лакейское! Хочешь, я сам себе фалду оторву? Не желаю с сегодняшнего дня ничего лакейского! И не желаю! На стол желаю! А фалда вот тебе! На! Подавись! На стол, и на стол! А ты стул из-под меня не выдер...

Позвольте, почему везде ноги? Ни одного лица и одни ноги! Все вверх ногами стали? Почему ноги? И почему здесь темно? Ах, под столом?! Понимаю! Понимаю! Протестующую личность под стол спрятали? Неудобно вам?! Неудобно?! Подлецы! Подлецы! Ну, да я и под столом ходить буду. Желаете, я со всех сапоги снимать буду? Всех босяками сделаю? Всех? «На дне», значит я! Отлично! Вот нога! Сейчас сниму сапог. Раз!

Ах, и вы под стол? Вы какого выпуска? Ах, 83-го?! А я 87-го. Очень приятно познакомиться! Желаете со мной на брудершафт пить! «На дне»! Ха-ха-ха! «На дне»! Хотите, мы отсюда Горькому телеграмму пошлем? Бумаги нет? Все равно! На полу пишите! Сюда пусть телеграфист придет и отстукает. Пишите! Пишите на полу! Желаете, я сейчас с четверенек встану и стол опрокину? Пусть, подлецы, не пьют, когда ближний, когда брат во тьме на четвереньках ходит. Подлецы!

На каком основании меня за ногу? Ах, вытащили?! Покорнейше вас благодарю! Не желаю домой! Мой дом — вселенная. Пусти, я вот этого поцелую, который говорит! Браво! Браво! Браво! Хочу кричать — и кричу! И жена, мне это все равно, что она там скажет! Жена — буржуаз-

ка! Обстановка, лошади,— презираю! Моя жена — человечество! Мой ребенок — будущее! А! Ты думал, что я конкурса веду! Нет, брат, я не одни конкурса! Что такое жена? Самопроизвольный аппарат для продолжения рода! Не желаю я с самопроизвольным аппаратом жить! Не желаю! Дарвин что по этому поводу говорит? Нет ты мне скажи, что Дарвин говорит, а не по лестнице меня веди. По лестнице всякий дурак может!.. Вот и скатился, и раньше тебя.

Вы тоже Максим Горький? Ах, вы не Максим, вы Онисим. Вы, значит, подмаксимок... как он?.. Позвольте, почему же в поддевке, ежели вы не писатель? Ах, вы швейцар!

Не хочу калоши! К черту калоши! Я босяк! Ах, для тебя? Для тебя все что угодно! Хочешь, я сейчас тебе свою шубу подарю? Хочешь? Вот! Не желаю шубы надевать. Желаю студенческое пальто надеть. Студент я, старый студент! Да!

Ах, в Прагу? В Прагу, так в Прагу. Я рад за границу! Мне душно здесь, душно! Понимаешь? Мне простору нет в России! Я здесь конкурса веду, а там я министром бы был. Все министры за границей из адвокатов. В Прагу я хочу! Прага! Симпатично! Младочехи! Я люблю младочехов. Знаешь, брат, заедем на телеграф, дадим младочехам телеграмму: «Старые студенты, справляя Татьянин день, желают вам полной свободы языка!» Ей-богу, заедем! Младочехи рады будут! Очень рады! Пошлем! 15 копеек слово! Черт с ними, с 15 копейками. Вот три рубля. Пошлем.

Ах, это уж Прага? Скажите, какая улучшенность путей сообщения. Прага! Пошлем в Петербург телеграмму: «Благодарю за ускорение путей сообщения...» Ей-богу, пошлем! Вот сядем за стол и напишем! Чеаэк! Телеграфных бланков и шампанского! Как нет телеграфных бланков? В Татьянин день и нет телеграфных бланков? Почему такой беспорядок по почтово-телеграфному ведомству? Дать телеграмму в Петербург... Это что за младочех?

Лицо знакомое, а где вас помнил, не увижу! Ах, вы мой помощник! Очень приятно! Я вас знаю! Вы по делу о взыскании с купчихи Ергуновой 32 рубля 75 копеек на одни копии и гербовые марки 17 рублей 95 копеек израсходовали? Я вас отлично знаю! Ах, вы позабыли? А я помню-с! Я все помню-с! Вы мне ремингтоновую барышню рекомендовали, а она взяла аванс в 22 рубля 40 копеек и не явилась? Я вам это в счет запишу! Нда-с! Нет, ты постой! Я хочу показать, как я к помощникам отношусь!

Я как отец! Да! Хотите, я вам все свои конкурсные дела передам? Желаете? Все, все берите! Мне ничего не надо! Мне только 22 рубля 40 копеек подайте! Чеаэк! Шампанского! Речь им! Я им речь сейчас скажу! Младочехи! Какое вы имеете право с советом спорить? Вам говорит старый студент! Мы выходили судебные учреждения, и на наших руках они возросли! Да! Вот на этих руках! Видите эти руки?! Вот они! И мы преемственно передаем судебные учреждения на положении наследства в ваши руки, господа! Берите же их чистыми руками! Чистыми! Чистыми, господа! Вам говорит старый студент! Давайте все мыть руки в шампанском! Чеаэк, шампанского!

Что ж что народ! И пускай народ слушает, как я пою!

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не видал!..

Народ любить надо! Мы на его шее выросли! Хочешь, я сейчас народу в ноги кланяться буду? Видишь, барыня, возьму и поклонюсь! И дворнику дам в ухо! Ты не смотри, что я конкурса веду, у меня, брат, убеждения! Да, убеждения!

Но интересно бы знать, почему так холодно! И по какому случаю на лошадях везут? Ах, понимаю! В Сибирь везут! В Сибирь, так в Сибирь! Позвольте вас спросить, г-н ямщик, вы не из якутов будете? Ах, вы от Ечкина! Скажите, с каким комфортом! От Ечкина! Прекрасно понимаю. Для скорости! Очень приятно!

Позвольте! Позвольте! Позвольте! Почему в Сибири и вдруг пальмы?! Ах, понимаю! На Сахалин через Цейлон! «Стрельна»? Скажите, пожалуйста, «Стрельна»! Вот приятная неожиданность! Я им речь! Только не прижимайте меня, господа, к пальме, потому что это вовсе не древо познания и зла. Это кто плавает? Стерляди. Дай мне стерлядь в руку! Со стерлядью желаю речь сказать! Чеаэк! Стерлядь дай! А то в морду! Вот так! Ничего, что скользкая. Господа! Коллеги! Татьянины дети! Вы видите перед собой разительный контраст: рыба и адвокат! Господа! Перед вами с вещественным доказательством преступления в руках стоит обвиняемый... и потерпевший! По не зависящим от него обстоятельствам, он свершил великое преступление пред собою и пред обществом... Ты, брат, не беспокойся! Ты не дергай! Я до «Стрельни» прочухался. Я ничего такого не скажу!.. Как Акоста, «он в истины обетованный край шел», он пошел с высокими думами, с пре-

красными задачами, но, дойдя до конкурса, остановился и далее не пошел!.. Да не ори ты «ура»! «Увы» кричать надобно... Он возжег пылающий факел от алтаря святейшей и непорочнейшей из весталок — Татьяны и принес в мир этот факел погасшим, распространяя только вонь и чад. Он ли погасил факел, непогоды ли погасили священный огонь, но чад и смрад принес он туда, где воздух и без того душен и сперт. Общечеловеческую совесть, за неудобством, он заменил профессиональной этикой, карманной, складной, портативной!.. Не дергай! В Татьянин день все говорить можно!.. Вот в чем обвиняется он, но он же и потерпевший! Он пришел в мир, окрашенный золотистым сиянием солнца правды, света, добра. И что ж ослепило его? Золотистый блеск стерляжьего жира! Вот я выкусываю у живой стерляди из спины кусок! Вот он, этот золотистый жир, который его ослепил. Ему захотелось есть стерлядей,— и стерляди съели его! Много мы жрем стерлядей, но сколько стерляди съели нашего брата! «Пойми ты, пойми ты! — скажу я, как Макс Холмин в «Блуждающих огнях»,— живую душу стерляди съели!» Вот в чем трагедия защитника вдов и сирот, доказывающего, что битье человека по голому телу ремнем до тех пор, пока «субъект» не упадет мертвым, «не есть истязание!..». Татьянин день — это не только праздник радости для русской интеллигенции. Это день итогов. Это наш «судный день». И сквозь золотистый блеск шампанского, сквозь звон бокалов, крики и песни — трагический вопль сердца услышит чуткое сердце. Как блудные сыновья, приходим мы в этот день к нашей святой Татьяне, и она смотрит на нас мученическими, полными скорби глазами. «Что сделали вы, рабы лукавые и ленивые, из своих талантов?» Альма-матер! Альма-матер! Не мы одни виноваты, что светильники наши погасли! В непогоду несли мы их, когда ветер тушил пламя! Кругом раздавалися крики: «Не заботьтесь ни о чем другом! Пусть всякий заботится и думает только о себе!» Воздух дрожал, словно в страхе дрожал от этих криков, и колебал и гасил наши светильники, возженные от твоего неугасимого огня, альма-матер. Мы пьем в этот день, и в этом пьянстве, как во всяком русском пьянстве, есть много трагедии. И вот она, муза трагедии русской общественной жизни,— вот она перед вами! Не в классической тоге, величавая, со строгим прекрасным лицом,— а во фраке с оборванной фалдой, со стерлядью в руках, пьяная, жалкая. Господа присяжные заседатели, обвиняемый виновен, но по обстоятельствам

дела он заслуживает снисхождения. А потому дозвольте ему выпить, чтоб вином залить глотку кричащей совести, которая в этот день привыкла вопить: «Что ты был и что стал и что есть у тебя?» Господа, выпьем! Чеаэк! Шампанского! Еще шампанского! Еще!..

И лежу и буду лежать трупом, а надо мной пусть мавзолей воздвигнут. «Здесь покоится прах человека, который спал, а в Татьянин день проснулся. И проснувшись,— немедленно помер!» Пусть так и напишут! Так и напишут! А все пусть читают и плачут! А я буду лежать мертвый,— и всё! И в гроб меня будете класть — пальцы мне в фигу сложите! И все будут плакать, а я лежать и фигу показывать! И всё! Желаю умереть! Нет, ты меня к «Яру» не зови, я на тот свет хочу! Хочешь со мной на тот свет? Чеаэк! Яду! И бенедиктину не хочу, а дай мне яду! Ах, это ваша рюмка? Виноват! Это я ваш крем-де-ваниль выпил? В таком случае! Чеаэк! Не надо стрихнину, крем-деванилю давай полдюжины. И к «Яру» я поеду. Потому что вы хороший человек, и я с хорошим человеком куда угодно могу! Дай я тебя, дурашка, поцелую. Выпьем на брудершафт! Ура, и кончено! А на сюртук плюнь! Ты этот сюртук сохрани. Его кто закапал? Садись в сани! Садись в сани,— говорят тебе, а я буду сзади на полозьях стоять и за твои волосы держаться. Тебе сюртук человек шестидесятых годов закапал! Я ведь, собственно, человек шестидесятых годов. Я только родился поздно, но я шестидесятник! Больно? Ну, и черт с тобой, если ты такая баба, что тебя нельзя даже за волосы взять. Это на ухабах так дергается. Ну, да ладно, сяду с тобой рядом. А у «Яра» я скажу, я им скажу! Пусть чтут! Я, брат, пьян, пьян, а знаю, где что сказать! Нда! Вот он, «Яр». Я скажу!

Господа! Старик у вас просит внимания? Человек... Не тебя, дура!.. Человек шестидесятых годов просит внимания? Можно помолчать? Господа, вы не смотрите, что я моложав. Я хорошо сохранился. А я шестидесятник. Господа, я одной ногой стою в могиле... Позвольте, как так? Почему «обеими у «Яра», хоть и не особенно твердо»? Над стариком смеяться? Над сединами? Молодежь, над сединами! Сеня! Над сединами посмеялись! Дожил! Казнь! Над человеком шестидесятых годов! Сеня! Сеня! Осрамленные! Униженные! Согласен шубу надеть! И калоши давай! И калоши надену! Я все надену, я все сделаю, что скажут! Я стар, я из ума выжил! Сеня! Смеются! Посмеялись! Едем! Посмеялись. Над шестидесятыми-то годами...

Позвольте, по какому случаю дома? Сударыня... Ах, вы моя жена? Очень приятно!.. Желаете со мной на брудершафт выпить? Высшие женские курсы и все такое прочее...

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. П. ЧЕХОВЕ

Я не был лично знаком с А. П. Чеховым. Тем не менее это не мешало мне быть поклонником его действительно выдающегося таланта.

Я видел Чехова три раза в жизни, и эти «три встречи» оставили во мне неизгладимый след.

Первая встреча произошла в Ялте.

Это было в 1900 году, не помню уж которого именно числа, но отлично помню, что была теплая, прекрасная погода.

Мы возвращались с водопада Учан-Су: я, моя жена и две свояченицы,— в четырехместной коляске.

Я с младшей свояченицей сидел впереди.

Проезжая Ауткой, кучер сказал, показывая пальцем:

— Вот дача г. Чехова. А вон и они сами.

Мы приказали остановиться и подошли к ограде дороги.

Сад дачи писателя расположен несколько ниже дороги, так что терраса и дорога находятся на одном уровне, и притом на расстоянии всего несколько саженей.

А. П. Чехов сидел на террасе, вероятно, со знакомыми.

— Который из них Чехов? — спросил я у кучера.

Он указал пальцем на человека с небольшой бородкой.

— Но он вовсе не так худ! — воскликнула моя жена.

— Ну, нет, знаешь! — возразил я.— Он выглядит очень плохо!

И, к сожалению, я оказался прав.

Чехов немедленно же поднялся с места и сказал своим знакомым:

— Пойдемте лучше в комнаты.

Было, как я уже говорил, очень тепло.

Но, очевидно, даже и теплая ялтинская погода была свежа для писателя, силы которого были уже надломлены!

В другой раз я видел Антона Павловича в Москве, в Художественном театре.

Не помню уж, что в тот вечер шло,— но я увидел Антона Павловича в чайном буфете.

Он сидел за столиком один и, как показалось мне, меланхолически мешал в стакане ложечкой.

Я остановился около стола и стал смотреть на дорогого писателя.

Антон Павлович посидел с минуту, потом негромко сказал:

— Человек!

Заплатил 20 копеек и ушел, так и не выпив чая.

Помню, я тогда еще подумал:

«Очевидно, и слабый чай ему вредно пить на ночь!»

Наконец, последняя наша встреча была вскоре после знаменательного представления «Вишневого сада»,— в «Славянском Базаре», за завтраком.

Чехов меня не узнал!

И когда он со своими знакомыми остановился вблизи моего стола, выбирая столик для себя, я громко сказал сидевшему со мной приятелю:

— А вот Чехов!

Антон Павлович спросил у метрдотеля:

— Нет ли столика, знаете, в другом конце зала?

Но в другом конце зала свободного стола не оказалось.

Счастье мне благоприятствовало,— Антон Павлович сел за столик рядом с нашим.

Как сейчас помню, он спросил себе наваги.

Я нарочно громко сказал приятелю:

— А видел ты «Вишневый сад»? Какое чудное произведение! Я не был, потому что билет трудно достать. Но непременно собираюсь, и даже с женой!

Антон Павлович не стал есть наваги.

Даже такой нежной рыбы и то не мог есть.

Так он плох был в это время.

Это написано наскоро, потому что перо падает из рук. Но на всякий случай сообщаю вам эти сведения,— может быть, они пригодятся для характеристики незабвенного писателя.

* * *

К воспоминаниям приложена визитная карточка:

— Иван Иванович Иванов. Граммофонист.

УБИЙСТВО

Это было в тропиках, где и без того кровь вспыхивает, как спирт. А тут еще эта парочка. Более невероятной пары нельзя себе даже и вообразить.

Он, от которого веет могилой. И она, с наружностью вакханки, полная жизни, страсти, греха.

Они были всегда вместе, всегда неразлучны. Это было какое-то безумье любви.

Поздно вечером, когда небо казалось убранным кружевом из крупных брильянтов и словно от страсти вспыхивала и загоралась голубыми огнями вода, их можно было видеть на променад-деке, в отдаленном углу, как двух влюбленных.

Они лежали рядом в лонгшезах,— он, закрытый пледом, из-под которого выдавались острые очертания его тела, словно покрытый труп. И она, прильнувшая к нему, нашептывающая ему что-то, на что он отвечал мучительным кашлем чахоточного в последнем градусе болезни.

По утрам он являлся в смокинг-рум, разбитый, с землистым цветом лица, с провалившимися глазами. С видом вконец измученного человека падал в кресло и смотрел измученным взглядом, полным страданья.

А через пять минут являлся бой:

— Леди просит вас в сосиалль-холл.

Или на спардек.

Он таял на наших глазах, таял, как свечка, которую поставили около жарко растопленного камина.

— Вряд ли мы довезем его до Гонолулу,— говорил наш пароходный доктор: — это невозможно!

И улыбался, говоря эти грустные слова.

— Это невозможно!

Как-то раз — это было в чудное тропическое утро, теплое, мягкое и нежное — я подметил странный взгляд, брошенный им на красавицу жену.

Мы сидели вместе на променад-деке, когда появилась она, светлая, как утро, прекрасная, как весна, еще более очаровательная в своем утреннем туалете.

— А, вот вы где? Спрятались здесь? А я ищу вас по всему пароходу, посылала в смокинг-рум...

И она подходила к нему улыбаясь, с нежным взглядом.

А он смотрел на нее с ненавистью, с ужасом, словно к нему приближалось чудовище.

Мы вместе оставались две недели на Сандвичевых островах, и, право, среди этой опьяняющей обстановки знойных дней, душных ночей, воздуха, напоенного запахом пальм и цветов, среди пенья птиц и звона гитар по вечерам,— нельзя было не завидовать этому полутрупу, в который почему-то так безумно была влюблена такая женщина.

Однажды я поймал их вместе на морских купаньях, в беседке из роз,— ее, только что вышедшую из воды, в купальном костюме, прилипшем к ее телу, как трико, и его, даже здесь кутавшегося в драповое пальто.

— Вы убиваете меня! — говорил он, и в голосе его слышалось столько страданья.

А она села к нему на колена и что-то зашептала, от чего вспыхнули ее щеки, обняв его своею полною, влажною от морской воды рукой, близко наклонившись к его уху.

Жизнь и смерть... Другого имени не было этому контрасту.

Мы шли на одном пароходе и от Гонолулу до Сан-Франциско.

— Там мы проведем весну! — сказала она мне как-то за обедом.— Мой муж не совсем здоров, у него бронхит. И доктор ему велел жить среди вечной весны. Вот мы и ездим в погоне за весной.

И она рассмеялась, бросая на мужа взгляд, полный любви.

Он посмотрел на нее с таким ужасом, с таким страданьем.

— Да, да! Не спорь, ты должен жить среди вечной весны. Так сказал доктор... Вообразите, мой муж не любит весны. Не забавно?

И она снова расхохоталась, но на этот раз в ее смехе мне послышалось что-то злое, насмешливое.

Однажды мы встретились с ним на спардеке. Мы были вдвоем. Он оглянулся кругом, торопливо вынул из кармана сверток каких-то бумаг и дрожащею рукой подал его мне.

— Вы ведь литератор?

— Да.

— Вот, вот. Возьмите это. Вам пригодится. Вы узнаете, какие преступления творятся на свете. Возьмите! Только не читайте теперь. Потом... потом... Когда мы расстанемся в Калифорнии. А теперь прячьте, прячьте... Она...

На трапе раздавался ее веселый голос.

— Вы вот где, мой друг!..

Он посмотрел на меня своим страдальческим взглядом, словно умоляя сохранить тайну.

— Я... да, я здесь...

В Сан-Франциско мы расстались, она увезла его в Лос-Анжелос, где в то время весна была в полном разгаре, а я по дороге из Сан-Франциско в Огдэн взялся за бумаги, узнать, что за тайна связывает эту женщину с полутрупом.

Это были листки, вырванные, вероятно, из дневника. В них было зачеркнуто все, что касалось мелочей, и оставлены только самые интимные строки.

«Старик Джемсон — самый честный и умный доктор на свете. Он прямо сказал, что у меня не бронхит, не эмфизема, а чахотка. Чахотка! У меня все поплыло перед глазами, когда я от него вышел. Чахотка! В тридцать лет выслушать такой приговор. Я провел несколько дней человека, присужденного к смертной казни. Я плакал, и мне хотелось застрелиться...»

«Это чувство горя, отчаяния теперь заменилось тихою, бесконечною грустью. Я освоился с мыслью о смерти. При мысли о ней я не чувствую ни ужаса, ни отчаяния. Если бы ее призрак пришел ко мне, я не бросился бы бежать. Мое сердце только сжимается, и я чувствую страшную тоску. Природа, люди — все дышит на меня грустью. Скоро я не увижу всего этого. Все это будет, все останется... только исчезну я. И мне жаль расстаться со всем этим. Так, вероятно, чувствует себя приговоренный к казни, когда здесь он освоится с мыслью, что скоро всему конец...»

«Мне жаль расставаться с жизнью,— а что я взял от нее? О боже! Как мне хотелось бы не любить,— нет,— а быть любимым. Ведь я ухожу с пира, не отведав самого лучшего вина. Быть любимым, какое счастье для всех, а для умирающего... Пока мы здоровы, мы любим, когда мы больны, нам необходимо, чтобы нас любили...»

«Мисс Лаура Хилль прелестная девушка. Какая красота! Какое здоровье! Завидно смотреть на нее. И вместе с тем мне так хотелось быть ближе к ней. Мне кажется, что от одного ее поцелуя я поздоровею. Когда я, прощаясь, задержал ее руку в своей, я чувствовал, как от этой горячей руки становится теплее моя холодная рука. Как много в ней жизни, здоровья!»

«Ее мать обнищала, кажется, была авантюристкой... О боже, не все ли мне-то равно, с какой родней явлюсь я *туда*... Туда... Туда... А здесь, здесь,— какие радости здесь,

и я ухожу, не зная лучших. Право, мне становится даже смешно: словно ухожу навсегда из Дрезденской галереи, не увидев Мадонны Рафаэля! Жизнь! Жизнь! Я хочу радости жизни. Ведь я не злоупотреблю счастьем: каких-нибудь два-три года».

«Мать согласилась сейчас же. Дочь вышла, как будто расстроенная, она словно плакала. Мать говорит, что это так, ничего, что плачут все девушки... Может быть. Буду верить».

«Сегодня я, как обещал, подписал духовное завещание, все в пользу моей будущей жены. С этого я и начал свое предложение. Мать протестовала тогда, но не особенно... О боже, как все это тяжело! Когда я подписывал завещание, мне почему-то казалось, будто я подписываю свой смертный приговор. Я каждую минуту думаю о смерти. Я хочу любви, как пьянства, чтобы забыться и не думать...»

«Давно я не брался за свой дневник, где копаюсь в своих душевных ранах. Потому что был счастлив, и мне было не до анализа, не до дневника. Нет! Где ж это опьянение? Я начал чувствовать себя уж не приговоренным к смерти, а трупом. Когда она меня целует, а я держу ее за талию,— я чувствую, как она вздрагивает всем телом, словно поцеловала покойника. Долг, отвращение и ужас,— все в этом поцелуе. Когда я ее ласкаю,— она дрожит. Быть может, от гадливости...»

«О боже! Какая это мука! Как счастливы прокаженные, что их удаляют от здоровых. Видеть отвращение к себе,— отвращение, которое хотят скрыть и не могут. О, ужас!..»

«А все же я не один. Когда мы больны, когда мы несчастны,— нам страшнее всего одиночество. Нужен хоть кто-нибудь около. Говорят, что приговоренные к смертной казни часто со слезами прощаются со своим тюремщиком. Чувствуя себя одиноким, можно полюбить даже своего тюремщика. Я все-таки не один. И, право, это отлично на меня действует, я становлюсь даже здоровее».

«Положительно, я становлюсь здоровее, особенно с тех пор, как мы переехали в Каир. Быть может, старик Джемсон ошибся, и это не чахотка? Какая же это чахотка, когда кашель почти исчез, лихорадка самая незначительная, я много хожу, даже ездил верхом!..»

«Как приятно, когда утром на тебя взглянет свежее лицо. Старый дурак врал! Какое счастье сознавать себя здоровым...»

«Кажется, я умру не от чахотки, а от счастья. Лаура... Да что это? Сон?»

«Честное слово, я боюсь проснуться. Быть обреченным на смерть, жениться с отчаяния, оказаться живым, здоровым, любить и быть любимым,— так любимым. Я пошлю Джемсону 500 фунтов. Этот старый факельщик сделал меня счастливым... Как это произошло? Я сидел и читал. Она, в первый раз, сама подошла ко мне и поцеловала. Я не мог опомниться от удивления. А она стояла передо мной, словно провинившаяся школьница: «Что же? Разве я не могу вас и поцеловать?» Как растерянно она сказала это. Я кинулся к ней и думал, что задушу в объятиях. Как она отвечала на мои поцелуи. В ней проснулась женщина. Женщина, которая дремала в этой девушке. О, как мало мы знаем женщин, а девушек так и не знаем совсем. Мне казалось, что все это сон, что вот-вот я проснусь... Я спрашиваю ее,— да что же это? «Все, девушки боятся,— я, быть может, больше, чем другие. Вот и все. Я боялась этих поцелуев. Не знаю почему, но я дрожала. Но вот уже несколько времени, как я чувствую все сильнее и сильнее волнение, думая о вас. Как часто мне хотелось кинуться к вам на шею. Но я не решалась. И вот сегодня... О, мне кажется, что передо мной открылся новый мир...»

«О боже! Какое опьянение! Какое безумие любви! Мы бежали из Каира на восток. Нам не к чему возвращаться домой. Мы хотим быть вдвоем. Этого для нас достаточно. Моя голова горит, я сам опьянел, глядя на эту опьяневшую от страсти женщину. Мы стали другими людьми».

«Бомбей мне вреден. Мой бронхит возобновился. Я снова кашляю кровью, чувствую прежнюю слабость, меня бьет лихорадка. Мы переехали в Сингапур. Лаура мне сказала: «Я хочу видеть вас здоровым, а счастливым вы будете, делая счастливою меня. Поймите, что я жить не могу без ваших ласк. Вы виноваты сами, зачем ввели меня в этот рай?»

«О небо! Если Джемсон не ошибался? Мою грудь словно разрывают на части. Когда у меня идет горлом кровь, мне кажется, что я истекаю кровью и вот-вот упаду мертвый. А она смеется: «Не надо только выходить вечером на воздух, мы будем проводить вечера дома, вдвоем. Пустой бронхит! Нельзя быть таким трусишкой!» Кто прав? Она или Джемсон?»

«Я чувствую, что умираю... А она, она обезумела от любви. Она клянется, что не может жить без моих ласк.

О боже! Что со мной! Когда она целует меня, мне почему-то представляется индус, лежащий в траве, умирающий, из которого вампир высасывает кровь. Мы бежим с места на место, ища вечной весны. Я чувствую, что сгораю в этом кислороде весны. А она говорит: «Доктор, доктор так велел!» И душит меня поцелуями. Она убьет меня ими. Я чувствую, как с ними уходит моя жизнь. Опять, опять,— этот индус перед глазами...»

«Какое подозрение... Нет, нет, не может быть...»

«Да, да! Это так... Это так... Это так. Несомненно. Она убивает меня. Наскучив ждать моей смерти, испугавшись, что я могу выздороветь. Она убивает меня быстро, верно...»

«Да, да! Это верно! Вчера я сказал ей о моем индусе. Она поднялась, бледная как полотно, глядя на меня широко раскрытыми глазами, словно пойманная на месте преступления. Мне казалось, что она готова была задушить меня от ужаса. Она повторяла: «Ты так думаешь? Ты так думаешь?» И вдруг кинулась ко мне: «Это бред! Это бред! Я заставлю забыть о нем!» И снова началось это безумие. Я безумно любил и ненавидел ее, боялся и готов был убить. То забывал все, то вдруг видел моего индуса,— он лежал около, па ковре... Я видел, как бледнеет его лицо, а гаснущий, полный ужаса, взгляд смотрит мне прямо в лицо... «Уйди! Уйди!» — шептал я, а она безумела от страсти. «Я заставлю тебя забыть об этом страшном бреде».

«Я гибну, гибну,— и она делает все, чтобы ускорить мою гибель. Каждое утро она пытливо вглядывается в мое лицо, словно хочет спросить: «Долго ли еще тебе остается жить?» И потом, словно испугавшись, что долго, спешит меня прикончить своими поцелуями. За этим взглядом любви и страсти, в глубине этих глаз я читаю ненависть и нетерпение: «Умри!» Теперь она выдумала поездку в Калифорнию. Вероятно, это меня убьет».

«О боже! Я чувствую, что задыхаюсь в соленом воздухе океана, в этом зное тропической весны. Я вижу недоумевающие лица пассажиров, когда они смотрят на меня и мою жену. Я ясно читаю в их взглядах: «Какой контраст! Что это?» Это убийство. И убийца около меня. Убивает меня на глазах у всех. И убийство останется нераскрытым».

«О, если б я мог бежать куда-нибудь с этих Сандвичевых островов,— от этого зноя, воздуха, ласк. Но у меня нет сил. Я чувствую на своем лице веяние могилы, даже среди жары. Мне трудно даже просыпаться. Могила тянет меня к себе. Смерть неохотно дает пробуждаться, не хочет дать

еще хоть один день. Я бессилен бороться со сном,— где же мне бороться со смертью? А она, она помогает смерти».

«Кажется, русский журналист, который едет с нами от Иокогамы, видел давеча эту сцену в беседке из роз. Думал ли он, что перед ним совершается убийство?

Убивают наверняка, зная, что это убийство останется неразгаданным, неоткрытым... А что, если раскрыть это убийство?»

Это было через год, в Ментоне.

Она увидела меня из садика, где сидела, обложенная подушками, укрытая пледами, кутаясь в теплую накидку.

— Я вас узнала сразу. А вы меня не узнали? Нет?

Я смотрел на эту бледную женщину, словно с восковым лицом, и старался припомнить, где я видел эти глаза, похожее на это лицо.

— Меня трудно узнать. Помните путешествие из Иокогамы в Гонолулу? Две недели на Сандвичевых островах? Меня и моего покойного мужа?

— Вы?!

— Да, я.

Она закашлялась долгим, мучительным кашлем, на платке появилось алое пятно.

— Вот! То же, что у моего мужа...

— Он...

— Умер. И оставил мне в наследство деньги и чахотку...

Ее глаза загорелись злым, бешеным огнем:

— Он заразил меня своими поцелуями. Он тянет теперь меня за собой в могилу... Это его болезнь,— его призрак... Он не отстает от меня, не отстанет, пока не задушит... «А, ты мечтала о свободе, о богатстве...»

Она говорила, как в бреду.

— «Так мучайся теперь». Кто мучается больше?.. Одно, одно есть у меня... Я все-таки отомщена... Он догадывался, что значили эти поцелуи, он мучился перед смертью... Он мучился... мучился...

И глаза ее горели тем злым взглядом, который бывает только у чахоточных и у женщин.

— Мучился... мучился...

У нее хлынула горлом кровь. Она захрипела.

ПИСАТЕЛЬНИЦА

(Из воспоминаний редактора)

— Вас желает видеть г-жа Маурина.

Ах, черт возьми! Маурина...

— Попросите подождать... Я одну секунду... одну секунду...

Я переменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и вышел...

Вернее — вылетел.

— Ради самого бога, простите, что я вас заставил...

Передо мной стояла пожилая женщина, низенькая, толстая, бедно одетая. Все на ней висело, щеки висели, платье висело.

Я смешался. Она тоже.

— Маурина.

— Виноват, вы, вероятно, матушка Анны Николаевны?

Она улыбнулась грустной улыбкой.

— Нет, я сама и есть Анна Николаевна Маурина. Автор помещенных у вас рассказов...

— Но позвольте! Как же так? Я знаю Анну Николаевну...

— Та? Брюнетка? Она никогда не была Анной Николаевной... Это... это... это обман. Не сердитесь на меня. Выслушайте...

Она была растеряна. На глазах стояли слезы.

— Вы позволите мне сесть?

— Ах, конечно... Прошу... прошу... Простите, что я раньше...

— Нет, ничего! Ради бога, не беспокойтесь... Позвольте мне вам рассказать... Не сердитесь... Рассказы писала я... Вот, видите ли, мне хотелось печататься... Не только для гонорара,— нет. Мне казалось, что у меня есть, что сказать. Я много пережила, перечувствовала, много думала. Мне хотелось писать. Я написала три рассказа и отнесла в три редакции. Может быть, это были недурные рассказы, может быть, плохие. Я не знаю... Они... они не были прочитаны. Один из рассказов был и у вас. Я приходила несколько раз, мне говорили, что вы заняты, «через неделю»! Наконец, ваш секретарь передал мне рассказ с пометкой «нет». Простите меня, но вы его не читали!

— Сударыня, этого не может...

— Этот рассказ был потом напечатан у вас же! — от-

ветила она тихо и печально.— Тогда мне в голову пришла мысль... быть может, очень нехорошая... быть может, очень-очень дурная... Я... В тех же меблированных комнатах жила молодая девушка, гувернантка без места, очень красивая... Та самая, которая приходила к вам под именем Анны Николаевны Мауриной и... простите меня... талантом которой вы так заинтересовались. Она также сидела без средств, и я предложила ей комбинацию. Я буду писать, а она — носить мои рассказы от своего имени... Вы знаете, портрет автора при сочинениях всегда интересует... Особенно, когда такой портрет! Я посмотрела на нее: роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, от которых пышет молодостью и жизнью. В ней есть все, чтобы заинтересовались ее психологией. Не сердитесь на меня, я ничего не хочу сказать дурного ни про вас, ни про ваших коллег! Ничего! Никем не было сделано ни одного слишком скверного намека! Ни одного слишком вольного слова! Но когда она отнесла рассказы по редакциям, ей ответ дали через три дня. Только и всего! И все рассказы были приняты. Боже мой! Это так естественно! Молодая, очень красивая женщина пишет. Интересно знать, что думает такая красивая головка! Сначала в особенности — рассказы бывали не совсем удачны, и некоторые господа редакторы были так добры, что сами их переделывали. И с какой любовью! Вычеркивали, но как осторожно, с каким сожаленьем: «Мне самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое». Она мне, обыкновенно, рассказывала все подробности своих визитов. Удивлялись: «Как вы, такая молоденькая,— и откуда вы все это знаете?» Простите меня, ради бога! Это ваши слова. Но и другие говорили то же самое. Изумлялись ее талантливости: «Откуда у вас такие мысли?» Всякая мысль получает особую прелесть, если она родилась в хорошенькой головке! Жизнь не выучила меня быть оптимисткой. И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма! Это придавало ей только интерес. Ей и «ее» рассказам! Она всегда мне рассказывала все, что ей говорили. И мы,— простите меня,— много смеялись. Она очень весело, я не так... Но все-таки, смейтесь надо мной,— от похвал у меня кружилась голова. Как замечали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово! Наши дела шли великолепно. Мы зарабатывали рублей двести в месяц. Сто я отдавала ей, сто брала себе. И все шло отлично. Как вдруг... На прошлой неделе та Анна Николаевна поступила в кафешантан.

— В кафешан...

— В кафешантан. Там ей показалось веселее, и предложили больше денег. Я умоляла ее не бросать литературы. Ведь мы были накануне славы. Еще полгода — мы стали бы зарабатывать 500—600 рублей в месяц. У меня почти готов роман. У нее бы его приняли. Я умоляла ее не губить моей литературной карьеры. Она ушла: «Там веселее!..» Что мне оставалось делать! Взять на ее место другую? Но это было бы невозможно: сегодня одна Маурина, завтра другая... Да и к тому же... не сердитесь на меня... я думала, я надеялась, что мои труды, одобренные, печатавшиеся, дают уж мне право выступить с открытым забралом... С некрасивым лицом... Не гневайтесь же на меня за маленькое разочарование.

— Я... я, право, не знаю... все это так странно. Такая нелитературность приема...

Она сделала такой жест, словно я собираюсь ее бить.

— Не говорите мне! Не говорите! Я уж слышала это! В одной уж редакции меня почти выгнали. «Нелитературный прием! Расчет на какие-то посторонние соображения! Это не принято в литературе!» И вот я пришла к вам. Вы всегда так хорошо относились к... моим рассказам. Вы так хвалили. Не откажите прочитать вот эту вещицу. Это в том роде, который вам у нее особенно нравился. Ей вы читали в три дня. Мне можно зайти через неделю?

— Помилуйте... зачем же через неделю... уверяю вас... вы ошибаетесь...

— Не сердитесь!

— Я прошу вас зайти через три дня. Через три дня рассказ будет прочитан!

— Может быть, лучше через...

— Сударыня, повторяю вам: че-рез три дня рас-сказ будет про-чи-тан. Имею честь кланяться!

Через три дня я получил через секретаря записку:

«Я говорила, что лучше через неделю. Не сердитесь на меня, я зайду еще через неделю. Уважающая вас Маурина».

Такая досада, черт возьми! Непременно надо было прочитать,— и забыл!

Затем... Я уж не помню, что именно случилось. Но что-то было. Осложнения на Дальнем Востоке, затем недород во внутренних губерниях — вообще события, на которые публицисту нельзя не откликнуться. Словом, был страшным образом занят. Масса обязанностей. Положительное

отсутствие времени. При спешной, лихорадочной газетной работе... Потом рассказ, вероятно, куда-то затерялся. Я не мог его найти...

Недавно я встретил в одном новом журнале под рассказом подпись Мауриной.

Вечером я встретился с редактором.

— Кстати, а у вас Маурина пишет?

— А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок?

— Да?

— И премило пишет, премило. Конечно, немножечко по-дамски. Длинноты там, отступления. Приходится переделывать, перерабатывать. Но для такого талантливого ребенка прямо не жаль. У нас в редакции ее все любят. Прямо,— войдет, словно луч солнца заиграет. Прелестная такая. Детское личико. Чудная блондинка.

— Ах, она блондинка?

— Блондинка. А что?

— Так... Ничего...

ПОЭТЕССА

(Рассказ одного критика)

— К вам г-н Пулеметов.

Пулеметов! Пулеметов! Где я слышал эту фамилию?

— Просят принять их на одну минутку. Говорят, что по очень важному делу.

— Хорошо. Проси.

Влетел господин. В нем было что-то виляющее. На лице было написано:

— Не убий!

Он схватил меня обеими руками за руку.

— Ради бога, простите, что отнимаю у вас время... Не задержу, не задержу!.. Очень, очень рад познакомиться. Давно хотелось. Всегда с таким удовольствием... Мы ваши ужасные поклонники. В особенности, жена! Прямо влюблена. Утром, знаете, как только проснется, еще в постели, первым долгом: «Где он?»... Это про вас, а не про что-нибудь другое.

— Очень, очень благодарен. Очень лестно...

Г-н Пулеметов захихикал.

— Вы знаете, я уж даже ее ревную к вам. Ей-богу!

— Очень вам благодарен. Чем могу?

Г-н Пулеметов посмотрел мне в глаза с любовью.

— Простите за нескромный вопрос! Вы женаты?

— Н-нет.

— А дети у вас... Ах, виноват! Что я!.. Впрочем, я надеюсь, что вы с вашей фантазией! Вы сумеете войти в положение беременной женщины!

— Постараюсь. В чем дело?

Г-н Пулеметов посмотрел на меня с мольбой:

— Вы получили сегодня стихотворения моей жены?

— Ах, да, да, да! Как же, как же! Получил книжку, получил! Вот, вот! Очень благодарен!

Г-н Пулеметов посмотрел на меня с тревожной мольбой:

— Вы не успели их еще прочитать?

— Всего два часа тому назад!

— Прочтите!

Мне показалось, что у него на глазах выступили слезы.

— Вы мне позволите сказать все, откровенно, как на духу! Я вас не задержу! Я вам скажу, как родному отцу! Моя жена беременна и выпустила стихи!

Г-н Пулеметов схватился за голову:

— Вы понимаете, это будет наш первенец! Бог даст мальчика, бог даст девочку. Но это будет первенец. Мы восемь лет женаты — и у нас не было детей! Первенец! Первенец! Дайте мне воды! Я напьюсь! Вы извините меня, что я так волнуюсь!

— Сделайте одолжение! Сделайте одолжение!

Я дал воды. Г-н Пулеметов выпил, стуча зубами о стакан.

— Благодарю вас. Она такая слабая. Доктор говорит: «Малейшее волнение...» А она выпустила стихи. Первый неблагоприятный отзыв,— и она сбросит!

— Как сбросит?

— Младенца сбросит! Не донесет и сбросит! Ради бога! Когда будете писать, имейте это в виду. Она сбросит!

— Д-да... Дело, знаете, серьезное.

— Ужасное дело!

— Знаете... Я лучше... Я лучше остерегусь... Я лучше совсем ничего писать не буду!

Г-н Пулеметов вскочил, как будто под него подложили горячий уголь.

— Ради самого бога!!! Да вы ее убьете! Она только вашего отзыва и ждет! Она говорит: «Мне решительно все

равно, что другие напишут! Мне важно только, что он!» Это про вас! Сегодня нет отзыва, завтра нет отзыва, послезавтра нет отзыва,— она умрет! Скажет: «Значит, я дрянь! Мои стихи дрянь! Обо мне даже слова сказать нельзя!» Она умрет! Доктор говорит: «Малейшее, малейшее волнение...» Ради бога! Не ради себя прошу, даже не ради нее! Ради ребенка! Не погубите ребенка!

— Извольте... извольте... Хорошо... хорошо... Постараюсь... Такой случай...

— Благодарю вас! От всего сердца благодарю вас. Когда?

— Н-не знаю... как-нибудь на днях...

— Не откладывайте! Ради ребенка! Не откладывайте! Сегодня еще ничего, а завтра уж она начнет волноваться: «Ах, он обо мне ничего не сказал! Он обо мне ничего не сказал! И не скажет! Книжка не понравилась!» А доктор говорит: «Малейшее волнение...» Она от ожидания сбросит! Нельзя ли на завтра?

— Право, не знаю...

— Ведь жизнь человеческая! Дорогой! Жизнь человеческая! Если бы вы ее видели, она такая слабая. Последние, последние дни! Вы понимаете, в это время...

— Хорошо, напишу! На завтра!

— Дорогой! Благодарю вас! Позвольте вас поцеловать! Вы меня извините, что я плачу! Когда будете писать, помните о ребенке! Помните о ребенке! Больше ни о чем не прошу, помните о ребенке!

Он вымочил мне лицо слезами, поколол бородой и ушел.

Впрочем, он еще раз вернулся, сложил молитвенно руки, сказал мне с порога:

— О ребенке! Только о ребенке!

Всхлипнул — и исчез.

Собственно говоря... черт знает, что такое...

Гнусно, однако, заниматься чем бы то ни было, когда в руках держишь человеческую жизнь!

— Иван! Завтракать я сегодня не буду. Можешь сам все съесть. У меня дело! Не принимать никого. Черта, дьявола,— никого! Понял? Отец родной придет из гроба,— и того не принимать! Занят очень важным делом. В доме не стучать и не кашлять.

Я взял книжку г-жи Пулеметовой.

В ней было 762 стихотворения.

Через четыре стиха я сидел за письменным столом.

— «Родная литература»...

Ловко ли — «родная».

«Родная»... «роды»... Дама в этаком положении. Пожалуй, увидит намек.

Скажет:

— Откуда знает?

Догадается, что муж приходил просить, рассказал. И сбросит.

Зачем «родная»? Просто «русская».

— «Русская литература обогатилась новым вкладом». Зачем вкладом? Не надо вкладом! Просто книгой.

— «...новой хорошей книгой».

Хорошей? А не повредит это младенцу: просто «хорошей».

Слабо! обидится и сбросит!

— «...новой замечательной книгой».

«Замечательной». Гм... слово-то такое! Его теперь иронически стали употреблять. И выдумали, черт их возьми, эту иронию. Все слова перепортили!

Как ребенок примет это слово?

— Просто, вместо «замечательной», поставлю «превосходной». «Превосходной» — младенцу не повредит.

— «...новой превосходной книгой...»

«Новой»? Значит, и до нее были превосходные книги? Значит, превосходных книг много?

Не надо «новой». Просто:

— «Обогатилась превосходной книгой нашей талантливой поэтессы...»

Нашей «высокоталантливой поэтессы».

Замаслить, замаслить младенца.

Младенцу это хорошо.

— «Местами отсутствие рифмы...»

Мне показалось, что в углу запищал мертвый ребенок.

— «Всюду блестящая рифма...»

Младенец перестал пищать.

— «Изумительная по красоте форма, глубокое содержание...»

Это для родительницы хорошо.

У меня начинались галлюцинации. Мне казалось, что я не пишу, а делаю труднейшую операцию. Я боялся дотрагиваться до бумаги. Вдруг сейчас из бумаги побежит младенческая кровь.

Что-то застонало сзади меня.

По комнате прошел Никита из «Власти тьмы» и проговорил:

— Захрустели косточки-то... захрустели...

Потом появился на кресле Ирод, засмеялся и исчез.

Вокруг меня лежали младенцы.

Я боялся пошевелиться. Пошевелюсь — и всех передавлю.

— «Со времен Пушкина, Лермонтова мы не встречали таких стихов».

Сбрасывает! Сбрасывает!

— «Со времен Алексея Толстого, Некрасова».

А не обидится она, что я Некрасова с ней сравниваю? Женщина в таком положении.

Вон Некрасова!

«Байрона, Альфреда Мюссе...»

— «Событие в русской литературе...»

— «Чудный дар...»

— «Приветствуем...»

— «Дай бог, чтоб и впредь!..»

Эту ночь я не спал. Я лежал в холодном поту. Зубы у меня стучали.

Возьмет корректор да вместо «чудный» и поставит «нудный».

И сбросит!

Я молился, когда мне подали газету, и сказал:

— Иван! Разверни мне газету,— я не могу!

Во всех газетах, до одной, без исключения, были огромные статьи о сборнике стихотворений г-жи Пулеметовой.

Все писали восторженные статьи!

Один сравнивал ее сонеты с сонетами Петрарки. Другой писал, что небо глядится в ее стихи и всю природу заставляет в них глядеться. Третий восклицал:

— «Не верится, чтоб это была женщина! Вот была бы жена для Пушкина!»

Вчера я встретил г-на Пулеметова в театре.

Он летел сияющий. Полосатенькие брючки на нем весело играли. Сюртук сверкал шелковыми отворотами.

Он меня заметил:

— А! Почтеннейший! Очень рад вас видеть! Все не удосужился как-то зайти вас поблагодарить! Очень, очень мило написано.

Он ласково кивал мне головой.

— Ну, а дома у вас? — заикнулся я.

У г-на Пулеметова сделалось удивленное лицо.

— Что дома? Как дома? Дома ничего!

— Супруга ваша, кажется, была...

— Ах, это!

Г-н Пулеметов махнул рукой.

— Прошло. Совсем прошло!

— То есть... виноват... как собственно...

— Вообразите, оказалось, что все на нервной почве! Нервная беременность. Это бывает. Теперь, знаете, эпидемия какая-то. Все дамы нервно беременны! Оказалось пустяками! Фальшивая тревога, фальшивая тревога! — успокаивал он меня.

— Я рад, однако, что критика нашла в жене такой талант. Вы читали? Во всех газетах! Восторженнейшие отзывы! И, главное, на другой же день! Сегодня книга вышла, а назавтра же все газеты приветствовали! Что-то небывалое! Словно сговорились! Идет книга! Удивительно! На днях второе издание. Это жену очень поддержало, придало ей сил. Эти пожелания, эти настояния критики продолжать, продолжать. Жена теперь пишет пьесу. Вот посмотрите! В этот сезон не успеет, конечно. Но месяцев через девять так, через десять...

Пари, что к первому представлению г-жа Пулеметова опять забеременеет.

ДЕКАДЕНТ

Поезд летел по Швейцарии.

Две русские дамы в купе познакомились и говорили:

О судьбе.

— Вы из каких же Марковых? — спросила блондинка, полная.— Из бумагопрядильных?

— Бумагопрядильные нам сватья. Я за ситценабивным замужем! — ответила брюнетка.

— Фамилия хорошая. Давно?

— Два года будет.

— Счастливы?

Помолчали.

— Вы мне так с первого же разу симпатичны, что готова вам всю свою судьбу выложить.

— Вы мне тоже. И я перед вами.

— «Поищемся», как у нас бабы в деревне говорят, когда в гости друг к другу приходят.

Словно чем-то далеким, родным на них пахнуло.

Обе рассмеялись.

— Поищемся!

— Какое же счастье? Я женщина с темпераментом, гимназии Бракенгейма два класса кончила, а он что? Ножницы! Купоны стрижет да революцию ругает. Ругает революцию, а сам крестится: «Теперича, как Лодзи из-за революции матушки капут,— наше, московское дело в шляпе!» Ругается, да копейку на аршин прибавляет! Только и занятий. «Проклятущие стачки! Да из-за их вся заваль, слава богу, хорошею ценой пройдет!» Клянет да опять полкопейки набавляет. Клямши, полмиллиона в карман положил! Кругом тоже все: клянут, да наживают. А ни для души, ни для тела — ничего. Говорю — ножницы! Ему аршины резать да купоны стричь. Поцелуй даже купоном зовет. Не тьфу? «Дозвольте, говорит, Агнеса, с ваших губ купон в счет любви сорвать?» Это он меня так, «Агнесой», зовет, я настояла. Чтобы не Аннушкой. Какое житье? Известно, сказано: «буржуазное». Какой вкус может быть? Вырвалась теперь за границу. Еду. Пущай там один аршины меряет! А вы?

— Мы Вывертовы.

— Из подсудных Вывертовых?

— Н-нет... Мой муж...

Полная блондинка замялась.

— Родом я тоже по купечеству. Но мой муж — поэт! Из писателей.

Брюнетка даже подскочила.

— Тот самый Вывертов?

— Тот самый.

— Декадент?

— Декадент.

— Самый известный?

Блондинка, начавшая было конфузиться, ожила.

— Он, он.

— Еще его, кажется, Макс Волошин описывал. В «Ликах творчества»? Как они еще в древней Александрии на каком-то празднике, заголимшись, при всех бегали?

— Этот самый.

— Ах, душечка, я в вашего мужа,— не бойтесь! — влюблена. Какой необыкновенный мужчина. Ему две тысячи лет. Он сириец?

— Говорит, сириец.

— Как же! Как же! Я статью Макса Волошина о вашем муже наизусть помню. «У Вывертова на лице золотая, египетской работы, маска, а в волосах еще остался пепел от всесожжения. Ему две тысячи лет. Я помню, мы познакомились с ним в Александрии и, сбросив рубашки, к изумлению жрецов, принялись прыгать через жертвенник на священном празднике в честь бесстыжей богини Кабракормы. Сила сохранилась в омертвевших ногах Вывертова и теперь. Он и сейчас прыгает, бесстыже-прекрасный и оголенный, через жертвенники, к великому ужасу жрецов». Как не знать! Вот, должно быть, интересно. Нынче об этой части... о житейской... только одни декаденты и думают! Другие все про политику да про политику! Только и слов: «партия» да «лидер». Никто о приятном не думает. Одни декаденты. От внутренних страстей не токмо что на женщин, на мужчин внимание обращают. Читаешь,— все женское естество переворачивается.

Брюнетка подвинулась ближе и понизила голос:

— Неземные, я думаю, восторги доставляет. Счастливая вы! За декадентом!

Блондинка отвечала со злобой:

— Из-за этого самого я за него и пошла! Из-за чего же? Читаю его стихи, на стену лезу. Девушка я была рыхлая и двадцати двух лет. Мочи моей нет — стихи его читать. «Ввинчивает», да «вывинчивает». Тьфу! Непонятно, а душу мутит и кровь в голову бросает. Познакомилась. Женихом был,— зубами скрежещет. «Я, говорит, тебя вельзевуловым сладкострастным мукам подвергну. Ты, говорит, Прозерпиной у меня будешь. Ты про Прозерпину когда слыхала? Которую Плутон, бог ада...» Да как скажет: «бог ада»,— глаза растаращит,— смотреть страшно. «Которую Плутон, бог ада, в свое подземное царство увлек. Я, говорит, тебя преступной любовью любить буду. На адском огне сожгу!» Ну, и пошла.

— А родители как?

— Мать три раза проклинать собиралась. «Я, говорит, на него в полицию». У нас, по купечеству, вы знаете, как у детей чувство,— родители всегда первым долгом в полицию. «Нельзя ли предмет неподходящего чувства в 24 часа из города выслать?»

Брюнетка грустно кивнула головой.

— «Голоштанник! — маменька кричит.— Экспроприатор! К купеческому приданому подбирается!» Однако он

их напугал: «Ежели вы, говорит, свое ненужное благословение дать не желаете, я, говорит, и так вашу дочь обесчещу. Обесчестимся и предо всем миром своим позором наслаждаться будем. Верно, говорит, Поликсена?» Он меня Поликсеной звал, по-древнему. А я реву: «Верно! Обесчестимся. Желаю в вечных муках с декадентом жизнь свою кончить! Благословите, маменька!» — «На муки?» — мать плачет. «На муки любострастья!» — он-то говорит. Плюнула мать, благословила. Из опасения, чтоб я, все одно, с ним неистовым тайнам не предалась. «Ваше,— маменька говорит,— сударь, счастье, что покойника в живых нет. У покойника кулак был. У меня кулака нет,— владейте дочерним приданым!»

— Ах, как увлекательно! Поэма!

— Как же! Он же еще кобенился. В церкву не хотел ехать. «Я говорит, желаю венчаться пред лицом сатаны! Чтобы дьяволы радовались! А венчать меня, говорит, должен любострастник и профессиональный отцеубийца!» Такие ужасы говорил. «И чтобы положил он, говорит, на меня свою мерзкую печать! А молебны чтобы пели Каину, святому братоубийце, и Иуде Искариотскому». А я-то от таких слов пуще! Еще бы! Посудите сами. За Вельзевула замуж выйти! Кому не любопытно? Насилу уговорили, чтобы в церкву. «Ну, что вам, говорят, Оскар Уальдович»... Он, по паспорту-то и во святом крещении Петр Семенович, но сам себя Оскар Уальдовичем прозвал. Для безобразия. В честь аглицкого безобразника, может, слышали?

Брюнетка кивнула головой.

— Кто же про Оскара Уайльда нынче не слыхал? Покойник — первый человек!

— Вот, вот! Мои-то родные насилу уломали: «Что вам, Оскар Уальдович, стоит? Для видимости! Сквозь церковь пройти?» — «Как же, говорит, я в церковь пойду, ежели я иконоборец?» Что было! Одначе, как маменька решительно объявила, что без этого ни дочери, ни приданого не выдаст, согласился. Захохотал страшно: «Извольте, говорит, племя трусливых червей! Свершу сей кощунственный акт. Но только знайте, говорит, что я кощунствую». Что было! Маменька, по старой привычке, обыкновенно бал и вечерний стол устроила. Он музыкантам «danse macabre» — покойницкий танец — велел играть. В простыне плясал. Будто бы саван! Таково страшно пальцами щелкал,— кровь холодела! За здоровье Вельзевула за ужином пил. И «вечную память» и нам, и маменьке, и всем гостям провозглашал. Ду-

хами я всегда душилась хорошими. Настоящими французскими. Не желает. «Хорошенький запах, кричит, тьфу! Я этих нежненьких ароматиков не выношу! Буржуазией, говорит, воняет, земное! Адских зловоний мне!» Ну, откуда я ему адских зловоний возьму? В парадной спальне... Маменька по-старому. Парадную спальню устроили... В парадной спальне серой велел накурить. Ночью бегали, аптекаря будили, серы в порошке покупали. «Это, говорит, мне ад напоминает. Жгите». Чуть не задохлась.

— Ну? Ну?

Брюнетка «горела».

— Ничего не «ну». Утром встал, сельтерской воды выпил. «Принеси, говорит, мне твои бумаги!» Принесла, что в приданое выдали. «Это, говорит, у тебя, Аксинья...» А раньше Поликсеной звал! «Это у тебя, говорит, в каких бумагах приданое лежит?» — «В харьковских, говорю, земельных!» — «Это, говорит, Аксинья, не лафа. В харьковском земельном все ялтинские дачи заложены. А в Ялте,— знаешь? — стала революция, дачи до основания жгут. Надоть, говорит, все на облигации Петербургского кредитного общества перевести. В Петербурге домов жечь не будут!» Так мне, скажу я вам, тогда под сердце подступило. Бумаги-то несла,— дрожала. «Что он, декадент, с ними делать будет?..» А он... Лучше бы он тогда их драть или жрать зачал. Все одно, отняла бы. Ну, съел бы одну, две акции. Не разорил бы. Но, по крайности, хоть было бы необыкновенно! А то муж как муж. Взял ножницы, и которые мамаша,— в своем волнении,— вышедшие купоны остричь позабыла, пообстриг. Вы говорите, ваш муж — ножницы! Вы, извините меня, моя милая, ножниц не видали! Оскар — вот это ножницы. В книжку,— книжки у него были, говорит, из человечьей кожи, на переплете Вельзевул изображен во всем его безобразии,— в эту самую книжечку все бумаги переписал и номера проставил. Память какая! Всякому купону свой срок помнит! Придет срок,— сейчас в вельзевуловой книжечке справится, проверит, и купончик так ровнехонько обстрижет. Папенька покойник,— на что купон обожал,— никогда так аккуратно не резал. Маменька теперь в нем души не чает!

Она вздохнула:

— Да нешто маменьке с ним жить?!

— Так и живете? — спросила брюнетка.

— Какая жизнь! Первым долгом себе легавую собаку купил. «Это, говорит, очень тонно, чтоб легавая собака своя

была!» Чисто из участка писарь,— первое удовольствие себе собаку купить. Лакея взял, который бы его брил каждый день чисто-начисто. А прежде ходил Вельзевул Вельзевулом,— таким я его и полюбила. А бритый-то он мне на что? Бритых и без него выбирай было — не хочу. И в довершение граммофон себе завел, «Тонарм». «Чудесное, говорит, изобретение!» Лежит себе целый день на диване, а «Тонарм» ему арию Таманьо во все горло дует. А «буржуазия», говорил! Граммофон — не буржуазия? Поди покури ему теперь серой!

— Скажите! Иметь деньги и жить без удовольствия. С деньгами надо жить с удовольствием. Тяжело вам?

— Прежде, бывало, стихи читать примется, в такое волнение придет, что под руку попадет — вдребезги. Канделябр — канделябр об ковер, надкаминные часы — надкаминные часы об пол. Известно, чужое, не жалко. Маменька ему выговаривать примется: «Нешто можно?» Адски хохочет: «Мещане! Я им сердца жгу, а они: «канделябр!» Да другой канделябр об пол. В доме не было мужчины,— мог себе позволять. «Все, кричит, изничтожу! Голыми будете! Голые, тогда и насладимся!» А теперь... Попробовал один приятель, стихи читаючи, в волнение прийти,— канделябр в картину запустил. «Полицию!» — кричит. Насилу уговорила скандала не поднимать, с полицией не мараться. «Протокол, кричит, составлю! К мировому подам! Сборник стихов на складе у подлеца опишу и продам! Все до копейки взыщу!» Едва умолила. Велел с лестницы вдохновенного спустить. Тем и ограничился.

— А стихи — почитать! — какие пишет!

— Пишет. «Желаю славы я», говорит. И даже теперь в круглом формате сборники издавать собирается: «Надоели, говорит, четырехугольные книги. Мещанство!» А что до жизни касается,— мои ножницы, верьте, матушка, ваших ножниц стоят. Ваши-то еще лучше. К деньгам привыкли. А мои новенькие, стригут чище. Купон увидят,— дрожат с непривычки. Тьфу!

— Но все-таки есть интересные приятели. Можно утешиться... А у нас что? Опаскудел ситценабивной, ну, утешься, пожалуй, с железником. Тот тебе про аршин, а этот про гвозди. То же на то же менять. Охоты даже нет.

— И-и, голубушка! Приятели! Декаденты! По книжкам-то они все декаденты значатся. Вы Задерихина фамилию, чай, слыхали?

— Это который с мужчинами... Даже говорить неудобно... Про себя все печатает?

— Вот, вот! С письмоводителем, говорит, губернского правления жил. Вы только подумайте! Письмоводителя везде как жену представлял. Так везде и был принят. «У меня, говорит, Иван Иванович об одном только жалеет: что детей у нас нет!» Ужасались все: «Верхов разврата человек достиг!» А увидал у меня подругу Пашу Залетаеву,— невеста, фабрика за ней,— сразу от своей веры отрекся. «Вы, говорит, меня другим человеком сделали!» Жениться — и никаких. «А не то, говорит, еще в худших пороках, чем прежде, погрязну. Детей резать стану и кровь, как квас, пить. И все, скажу, через вас. Осрамлю!» Сдурела Паша, пошла. «Обновлю, говорит, этакий тигр!» А тигр-то теперь цельный день в фабричной конторе сидит, на счетах щелкает, не вытащишь его оттуда. Тигр, и на счетах! Ну, посудите! Муж как муж. Я так думаю, что и письмоводитель-то был так, для знаменитости. Ничего и запрещенного промеж них не было. Так, для славы про себя в газетах писали. Художники еще! Смотрит, стонет: «Серенькое тут, сереньких тронуть!» Картины пишет,— ничего не поймешь. Гора не гора, небо не небо. Не то слон, не то море! Людей с четырьмя ногами рисует декадент! А глядишь, с богатой купчихи портрет, устроился, пишет. И декадентства никакого,— полторы тысячи! Да еще во время сеансов предложение руки и сердца делает. «Не то, говорит, я вам лицо масляной краской вымажу,— в жизнь не отойдет!» Ходил тут к рыбнику одному,— большой рыбник, икрой занимается, не одни промыслы имеет,— тоже художник один. Из декадентов. «Ах, говорит, у вас глаза до чего испанские, позвольте зарисовать!» А потом взял да рыбника в виде тореадора на картине и изобразил. Рыбник же картину и купил. Чтоб не выставил. Какая рыбнику охота перед всей публикой супротив быка фигурировать? Звону бы что пошло! Висит теперь тореадор у рыбника в кабинете. На пять тысяч любуется. Пять тысяч за картину дал, и то через полицмейстера.

— Почему через полицмейстера?

— Знаете, у купечества обычай: как трудные обстоятельства — сейчас к полиции. Старая привычка. Полицмейстер вступился: «Все равно, говорит, я вам этой картины выставить не дозволю, найду, что революционная». Красный флаг у тореадора-то. Ну, и взял пять тысяч, согласился, а без этого десять просил. Да не пронялся дека-

дент. Нешто проймется! Новую угрозу рыбнику сделал. «Я вас, говорит, с шестью ногами изображу!» — «Почему с шестью ногами?» — «А потому, говорит, что вы мне так представляетесь. Я вас так вижу!» Ну, тут рыбник прямо пригрозил. «Я, говорит, ведь и до сыскного отделения дойду!» Отвалился.

— Скажите!

Брюнетка сидела, положив руки на колени и с видом растерянным.

— А я так в декадентов верила!

— Всякий поверит,— с жаром воскликнула блондинка,— ежели человек сам про себя пакости рассказывает, как не поверить! А только заметьте,— где декадент на виду, там беспременно в глубине сцены купец прячется. Декадент завсегда при купце состоит. Без купца декадента не бывает. Такое у нас положение. Журнал декадентский. Кто издатель? На купеческие деньги. Выставка,— кто меценаты? Купцы. И каждый декадент, заметьте, тем кончает, что на богатой купчихе женится. Просто для молодых людей способ судьбу свою устроить.

— Ужли каждый?

— А которому не удастся,— на купца фальшивый вексель напишет. Пишет, пишет декадентские стихи, а потом, глядишь, на вексельном бланке чужую фамилию и подмахнул.

— О господи,— вздохнула брюнетка,— а я думала — антихристы!

— Женихи, а не антихристы. Я так думаю, голубушка, что есть декадентство это самое не что иное, как просто к купечеству подход.

И обе смолкли.

Спускались сумерки, и на свете становилось так серо, серо.

СТАРЫЙ ПАЛАЧ

(Сахалинский тип)

В кандальном отделении «Нового времени», в подвальном этаже, живет старый, похожий на затравленного волка, противный человек с погасшими глазами, с болезненным, землистым лицом, с рыжими полуседыми волосами, с холодными, как лягушка, руками.

Это старый палач Буренин. Сахалинская знаменитость.

Всеми презираемый, вечно боящийся, оплеванный, избитый, раз в неделю он полон злобного торжества — в день «экзекуций».

Свои мерзкие и жестокие «экзекуции» он проводит по пятницам.

Это — «его день»!

Он берет своей мокрой, холодной рукой наказуемого и ведет в свой подвальный застенок.

С мерзкой улыбкой он обнажает дрожащего от отвращения и ужаса человека и кладет его на свою «кобылу».

От этого бесстыдного зрелища возбуждается палач. Он торжествует. Задыхаясь от злобной радости, он кричит свое палаческое:

— Поддержись! Ожгу!

И «кладет» первый удар.

— Реже! Крепче!

И опьяневший от злобы и подлого торжества палач часа три-четыре истязает жертву своей старой, грязной пропитанной человеческой кровью плетью.

Истязает умелой, привычной рукой, «добывая голоса», добиваясь крика.

Если жертва, стиснув зубы, полная презрения, молчит, не желая крикнуть перед палачом, злоба все сильнее сжимает сердце старого палача, и, бледный, как смерть, он бьет, бьет, бьет, истязует, калечит жертву, «добывая голоса»!

Это молчание, полное презрения, бьет его по бледному лицу — его презирают даже тогда, когда он молчит.

И он задыхается от злобы.

Если жертва не выдержит прикосновения грязной, человеческой кровью пропитанной плети и у нее вырвется крик,— эти крики и стоны опьяняют палача.

— Что ты? Что ты? — говорит он с мерзкой и пьяной от сладострастья улыбкой.— Потерпи! Нешто больно? Нечто так бьют? Вот как бьют! Вот как! Вот как!

И он хлещет, уже не помня себя.

И чем, чище, чем лучше, чем благороднее лежащая перед ним жертва, чем большей симпатией, любовью, уважением пользуется она, тем больше злобы и зависти просыпается в душе старого, презренного, оплеванного, избитого палача.

Тем больше ненависти к жертве чувствует он и тем больше тешит себя, терзая и калеча палаческой плетью свою жертву.

Случалось ему и вешать.

Его все избегают, и он избегает всех.

Угрюмый, понурый, мрачный, он пробирается сторонкой, по стенке, стараясь быть незамеченным, каждую минуту ожидая, что его изобьют, изобьют больно, жестоко, без жалости, без состраданья. Вся жизнь его сплошной трепет.

— Не тяжко это, Буренин?

— Должность такая,— угрюмо отвечает он,— я в палачах давно. И мне из палачей уж нельзя. Мне страх надо нагонять. Я страхом и держусь. Они меня ненавидят...

И с какой ненавистью он говорит это «они»! «Они» — это все.

— Они за человека меня не считают. Я для них хуже гадины. Я ведь знаю. Подойдет иной, руку даже протянет. А я-то не вижу разве? Дрожь по нем пробегает от гадливости, как мою скользкую, холодную руку возьмет. Словно не к человеку, а к жабе притронулся. Тьфу!.. Убьют они меня, ваше высокоблагородие, ежели я палачество брошу.

И такая тоска, смертная тоска звучит в этом «убьют».

— И не жаль вам «их», Буренин?

— А «они» меня жалели? — И в его потухших глазах вспыхивает мрачный огонек.— Меня тоже драли! Без жалости, без милосердия драли, всенародно. Глаз никуда показать нельзя: все с презрением, с отвращением глядят. Так драли, так драли,— с тоской, со смертной тоской говорит он,— у меня и до сих пор раны не зажили. Гнию весь. Так и я же их! Пусть и они мучатся! И я на них свое каторжное клеймо кладу. Выжигаю клеймо.

— Да ведь ваше, палаческое, клеймо не позорно, Буренин.

— А все-таки больно. Больно все-таки!

— И много вы, Буренин, народу... вашей плетью...

— Да, будет-таки! — подтягиваясь и выпрямляясь, отвечает старый палач, и в голосе его звучит хвастовство.— Не сочтешь! Каких-каких людей передо мной не было! Э-эх! Вспомнишь,— сердце чешется! По Тургеневу, Ивану Сергеевичу, моя грязная плеть ходила. Чистый был человек, хрустальной чистоты, как святого его считали. Нарочно грязью плеть измазал, да по чистому-то, по чистому! Самые места такие выбирал, чтобы больней было. Попоганее бить старался, попоганее! Со внедрением в частную жизнь, можно сказать! Чтоб гаже человеку было. Гаже-с. На это у меня рука! Хлещу и чувствую, что человек не

столько от боли, сколько от омерзения ко мне содрогается, сердце во мне и разгорается: как бы побольнее да погаже, попоганее-с! И кого только я вот этак... погано-то... Все, что только лучшим считалось. Чем только люди гордились. Из художников Репин, Антокольский, Ге покойник, из писателей Короленко, Мамин, Михайловский-критик, строптивый человек...

— Почему же строптивый, Буренин?

— Похвалить я раз его задумал, с лаской к нему подошел. Он от меня, как от нечисти, отшатнулся: «Не смей,— кричит,— меня, палач, своей палаческой рукой трогать. Истязать ты меня можешь,— на то ты и палач, но протягивать мне твоей поганой руки не смей». Гордый человек! А я ведь к нему с лаской... Эх, много, много их было. Скабичевский, Стасов, Чехов, Антон Павлович, Немирович-Данченко, Василий и Владимир, Боборыкин, Плещеев покойник, сам Толстой, Лев Николаевич, меня знает.

— И его?

— Всех поганил. Не пересчитать! Еще один был... Ну, да что вспоминать!

— Как же вы, Буренин, над ними действуете? Поодиночке?

— Зачем поодиночке! Какое же это удовольствие? Какая же радость? Нет-с, чтобы всех присных его истязать. Со всею семьею, с детьми, любовницу, если есть. Со «внедрением»! Это-с пытка! Это-с мучительство! Другой храбер. Его-то плетью бьешь,— «плевать! — говорит,— на этой плети столько праведной человеческой крови, сколько и в тебе-то крови не осталось!» А начнешь истязать, да при всех обнажать, да срамить-то его жену,— он и закричит. Голос,— хе-хе! — подаст! Боли не выдержит. Это что,— человека взять, когда он в кабинете сидит, сочинение пишет! Нет, в спальню к нему забраться, взять его, тепленького, когда он в постели лежит. Тогда взять его и жену и в подвал к себе привести — и перед публикой-то их голыми, голыми! Срамить! Да плетью-то не по нем, а по жене, по жене, на его-то глазах! Крикнет! Какой ни будь человек, не выдержит... Хорррошо! Тьфу! При одном воспоминании слюной давишься!

— Вы и женщин, Буренин? Тоже в частную жизнь...

— Без числа! Их-то самая и прелесть. Потому мужчину надо с опаской. А женщина, что она? Слабенькая-с... Особливо, когда заступиться за нее некому. Ну и начнешь! Иногда даже, случалось, перекладывал. Женщину-врача,

изволили слыхать, Кашеварову-Рудневу раз взял... Ну, и того! Переложил. Под суд отдали. Посадили.

— Вас, Буренин?

— Нет, наемного человека. Меня-то за что же-с? Я палач. Мое дело такое.

— Ну а вешать вам, Буренин, приходилось?

Бледное лицо старого палача дернулось, потемнело, в потухших глазах загорелся еще мрачнее огонь, и он сдавленным голосом ответил:

— Бывало.

— И не страшно, Буренин?

— Спервоначалу жутко. Как повесишь его, западню-то из-под него вышибешь, как закрутится он на веревке, ногами часто-часто перебирает,— в душу подступает...

И Буренин указал куда-то на селезенку.

— Был один тут... покойник... Фу ты, господи! Даже «царство ему небесное» язык сказать не поворачивается...

Старый палач с трудом перевел дух.

— Молодой был... Волосья длинные... Стихи он писал... И такие задушевные, грустные... словно душа с телом расставалась... Будто чувствовал, что конец его близок... Глаза были такие большие, большие... Мучительные глаза, и мученические... Чахотка у него была... Ну, я его и того... и прикончил...

— За что же, Буренин?

— Шибко я в те поры, ваше высокоблагородие, зол был. В душе аж смердело, до того лют был... Чист больно ходил!.. Чистый был человек, насквозь его видать было... Сам-то больной, еле дышит, умирающий, а где доброе дело, в пользу бедных, больных что затевается, он там первый... Не токмо притащится, на руках принесут его, умирающего... На него все только-только богу не молились... Святым его почитали... И там мне, ваше высокоблагородие, от его чистоты моя грязь засмердела! Места себе не нахожу! Возненавидел я его, как Каин Авеля... Разгорается у меня душа... «Ведь вот, думаю, как людей люди любят, а я-то, я-то... словно гадина хожу, сторонятся все...» И такая меня злоба взяла... я его и покончил...

— Сразу, Буренин?

— Нет, мучил. Долго мучил. Больной он, говорю, был, чахоточка у него была, кровьицей он кашлял. Так я его по больному-то, по больному-то... Хлынет у него кровь,— вижу нельзя больше, так я, кто ему ближе, дороже, раздену, обнажу да плетью-то, плетью грязной, да при нем-то,

при умирающем, при истерзанном. «Смотри мол, хорошо? А? Хорошо?» Смотрит он своими глазами, большими, страдальческими, мучится, страждет, помочь-то не может: кровь его душит, мной же вызванная кровь... Мучил я его долго... До таких поганств доходил, до каких никогда не дохаживал... Однако вырвали у меня его тело и в теплые края повезли, чтоб оправился. Тут на меня прямо смрад нашел... Задыхаюсь... «Ужели, думаю, уйдет?..» Тут я его и прикончил... Затянул петлю,— задрожал он весь, кровь пеной, пеной пошла, в моих руках и помер.

— И не жаль, Буренин?

— Страшно было очень... Потом прошло... А спервоначалу так страшно было... Кругом все сторонятся: «Убийца!..» И сам знаю, что убил, а мне все кажется, что жив «он»... Войдешь это, бывало, в пятницу, в свой день, в подвал свой, грязный, холодный, темный, человеческой кровью испачканный, замахнешься плетью, чтоб кого истязать начать,— передо мною «он»... Глаза большие, страдальческие, по губам алая кровь бежит... На меня глядит... «Жив!», думаю... Волосы на голове шевелятся... Бросишь, другого-то, да за него.... Опять его вешать начнешь... Над телом ругаешься: «Да умри ты! Когда ты умрешь?..» Петлю-то на мертвом уж затягиваешь, ногами топчешь... «Умри!..» Сколько разов я покойника вешал... Повесишь и на ноги ему повиснешь: «Умри! Совсем умри!» Все являлся. Года три мучился...

— Ну а теперь, Буренин?

— И теперь является. Редко только... Останешься этак в кабинете один, вечером, возьмешься за перо, глянешь, а из темного угла-то «он» выходит. Волосы длинные, лицо бледное, глаза большие, большие, широко раскрыты, и на губах все кровь... Живая кровь...

— Ну и что же, Буренин?

Лицо старого сахалинского палача передернулось.

— Осиновый кол покойнику в могилу затесываю!.. И до сих пор...

— Еще раз,— и не жаль вам, Буренин, ни себя, ни других?

Он только рукой махнул.

— Себя-то уж поздно жалеть! А других? Как их, чертей, жалеть, когда бьют они меня, походя, как собаку бьют!

И в голосе старого палача зазвучала нестерпимая, непримиримая злоба, которой нет конца, нет предела.

— Как бьют, Буренин?

— Бьют! Без жалости, без милосердия бьют! Без счета! Девушку одну, артистку, в Варшаве убили! Ну, я взял покойницу, обнажил и начал плетью, плетью... Ведь покойница, не больно ей, дай человеку душу-то, душу потешить... Так и труп отняли, и того жалко! Явились, бить явились, кричали, изломать, измолотить хотели. Я уж под стол спрятался, сидел, не дышал, боялся — увидят, изобьют, кости у меня ныли...

И когда он говорил о «трупе», он был похож на огромного разозленного голодного ворона, у которого отняли падаль.

— Писателя одного старого... Почтенный такой был, его тоже праведником считали... Я «взял» его, как люблю... С женой, да по ней-то, по ней... Сын его меня на Невском встретил да палкой, палкой... Разве «они» разбирают, как бьют! Где попадут, там и бьют. Недавно тоже... Начал я это «экзекуцию» над недругами своими производить да грязными руками за близких им людей, а «они» собрались и меня! Как били! Косточки мои болят, как били... Да всех-то и не пересчитаешь, кто бил... А плюют-то, плюют как при этом...

Буренин схватился за голову.

И он был мне больше не ужасен, не отвратителен, он был мне жалок, бесконечно жалок, этот озлобленный, оплеванный старый литературный палач.

АНЕКДОТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

На одной из «пятниц акварелистов» разыгрался следующий анекдот:

Сели ужинать и, по обычаю, принялись за анекдоты.

Обыкновенные анекдоты, мужские.

Старый, почтенный художник встал и объявил, что он уходит:

— Среди художников уместнее было бы говорить об искусстве, чем рассказывать «мужские» анекдоты!

Это вызвало оживленный обмен мнений.

Один из молодых художников защищал анекдоты такими убедительными словами, которые даже не во всяком анекдоте встретишь.

Старый художник, защищаясь, взял стул в виде аргумента.

Но до сражения, слава богу, не дошло.

Когда на следующий день явились с извинениями к старому, почтенному художнику, оказалось, что старый, почтенный художник от волнения и огорчения занемог.

«Так кончился пир их бедою».

Два года тому назад, в одну из пятниц, предвкушая и даже волнуясь, я подъезжал вечером к академии.

Пятница, как на грех, была особенно «чреватой».

— Вы будете сегодня в Александринском театре? Новая пьеса.

— Нет.

— Вы в Мариинском? Там тоже первое представление.

— Тоже нет. Я еду сегодня на «пятницу акварелистов».

«Пятницы акварелистов».

Сколько о них приходилось читать, слышать, мечтать.

Попасть в этот заколдованный круг.

Быть среди «необыкновенных людей».

Тут что ни человек, то талант. У всякого в душе искра божья. У кого и пламя.

Унестись от прозы жизни в интересы искусства.

Сколько я услышу, сколько увижу. Споры, разговоры об искусстве.

Какие новые идеи я вынесу отсюда? Во что моя вера будет поколеблена? Что новое заставит меня думать, грезить?

Несколько человек рисовали с натуры. Кто-то из артистов пел. В общем, было скучно.

Наконец, уселись ужинать, и все ожило: полились анекдоты.

Несколько человек, претендующих заменить «незаменимого» И. Ф. Горбунова, взапуски старались перед нами, резались, рассказывая анекдоты.

Было скучно, как везде.

Впрочем, не везде. «Внизу» теперь интереснее, чем «наверху».

Отчего это?

В обществе приказчиков стараются говорить «о высоких материях».

В обществе интеллигентных людей пробавляются приказчичьими анекдотами.

В то время, как приказчики стараются возвыситься до интеллигенции, интеллигенция старается принизиться до приказчиков.

Впрочем, художники не должны особенно огорчаться анекдотическим упадком их когда-то знаменитых «пятниц».

Не они одни.

Недавно я отправился на обед беллетристов.

Тоже «соль».

В кабинете у «Донона», за длинным столом, молча обедало человек 20.

Было скучно, томительно скучно.

Ей-богу, это было похоже на спиритический сеанс.

Так и казалось, что длинный стол сейчас пойдет по кабинету, духи начнут швырять бутылками, салфетки сами собой свяжутся в узлы, а тарелки примутся стучать:

— Я... дух... А... гр... а... ф... е... н... ы-ы-ы.

Было жутко.

В страшном молчании съели суп, рыбу.

При гробовой тишине отошла в вечность баранина, и ее молча помянули красным вином.

Затем тоскливо исчезли бобы. Рябчики появились было на тарелках и молча исчезли.

С тоской все готовы были приняться за мороженое.

Но в эту минуту кто-то хихикнул.

На него оглянулись с испугом:

— Чего это вы?

— Да вот Иван Иванович... Ой, не могу!.. Анекдоты!..

Все ожило:

— Иван Иванович! Анекдоты!

— Анекдот!

— Иван Иванович!

И полились анекдоты.

И ожили все, как оживают завядшие цветы, вспрыснутые живительной росой.

Нынче без анекдотов — ничто.

Нынче без анекдота — нигде.

В собрании экономистов, просто на вечеринке, в театре в антракте, в ресторане и дома за чайным столом,— везде только и слышно:

— А вы слышали анекдот?..

На что среды кн. Мещерского,— какое почтенное и многодумное собрание, но и там, судя по «Дневникам Гражданина», только и делают, что рассказывают неприличные анекдоты о России.

Отправляетесь вы на чествование какого-нибудь деятеля — вас ловит кто-нибудь за фалды фрака:

— А вы слышали самый последний анекдот?

— Анекдот! Анекдот!

И кругом вас кучка людей.

Умер общественный деятель.

Не успели тело положить в гроб,— у гроба вырастает «друг почившего»:

— Мы знали покойного лично. С покойным случился однажды следующий анекдот...

И пошло!

Если где-нибудь вы видите группу людей, слушающих внимательно, сосредоточенно,— знайте, что им рассказывают анекдот!

Как распространена теперь эта страсть к анекдоту!

Прежде довольно было всему Петербургу одного И. Ф. Горбунова.

Теперь в Петербурге 20—30 патентованных, известных анекдотистов, стремящихся завоевать славу И. Ф. Горбунова.

Прежде на весь Петербург и на всю русскую жизнь достаточно было одного «генерала Дитятина».

Теперь — «генерал Херасков», «генерал Таптыгин»,— сколько их рассказывает анекдоты в обществах, кружках, на вечерах и вечеринках?

В обществе появились особые специалисты по части анекдотов.

— Зачем вы пускаете к себе такого-то?

— Да уж очень хорошо анекдоты рассказывает!

На анекдот зовут:

— Приезжайте. Будет такой-то. Вы слыхали, как он анекдоты...

О человеке, опоздавшем на анекдот, жалеют:

— Эх вы! Опоздали! А тут молодого человека привозили. Так анекдоты рассказывает!

Есть такие гастролирующие молодые люди.

— Кто он?

— А шут его знает! Анекдоты рассказывает!

Если у вас есть хороший анекдот,— у вас есть ключ во много домов.

Скоро на визитных карточках будут печатать:

«Анекдотист».

И на карточке писать:

«Приехал с новым анекдотом».

Примут непременно, и не в очередь.

Анекдот по всякому поводу. И все — повод для анекдота.

— Говорят, в неурожайных губерниях...

— Ах, кстати про неурожайные губернии. Вы слышали анекдот? У неурожайного мужика спрашивают:

— В трактир ходишь?

— Хожу!

— Водку пьешь?

— Пью!

— Подати платишь?

— Замолол!

— Правда, мило?

— Вот, говорят, насчет школьной реформы.

— Ах, насчет школьной реформы...

И вам сейчас рассказывают о том, как директор говорил речь воспитанникам «по циркуляру»:

— Мне приказано вас, таких, сяких, любить,— я буду вас, таких, сяких, любить! В карцер вас, каналий, всех запру,— а любить все-таки буду!

— Правда, смешно?

Все и вся интересует всех только с точки зрения анекдота:

— А ну, какой из этого анекдот выйдет?

И сама жизнь наша превратилась в один сплошной анекдот.

Нельзя сказать даже, чтоб очень приличный.

Муза истории густо покраснеет, рассказывая его нашим потомкам.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ СИМОНН ДИМАНШ

Александр Васильевич Сухово-Кобылин — загадка в русской литературе.

Он написал три пьесы: «Свадьбу Кречинского» — пьесу, ставшую классической, «Дело», которое произвело потрясающее впечатление, когда было поставлено, и которое редко дается теперь потому же, почему редко дается «Горькая судьбина» Писемского,— уж очень «отжитое время» в ней описывается,— и, наконец, «Смерть Тарелкина», с ко-

торой, наконец, снят запрет и которая с сегодняшнего дня займет почетное место в русском репертуаре.

Человек написал три пьесы, все три chef d'oeuvre — и никогда ни до ни после этого не занимался литературой, даже писал в предисловии к одной из пьес:

«Я не говорю о классе литераторов, который мне чужд, как и остальные четырнадцать».

Какое оригинальное явление!

Это три пьесы, вылившиеся из души. Появление их объясняется той трагедией, которая разыгралась в жизни А. В. Сухово-Кобылина.

Мы обязаны тремя превосходными пьесами ужасной случайности.

«Свадьба Кречинского» — это плод тюремной тоски. «Дело» и «Смерть Тарелкина» — горячий, страстный протест измученного человека против порядков «отжитого времени».

А. В. Сухово-Кобылин был жертвою судебной ошибки.

И особенно своевременно извлечь на свет божий эту историю, дремавшую в архивах старого сената, именно теперь, в эпоху нападок на новые суды.

Русское общество с сочувствием узнает, что горячий борец с порядками «отжитого времени» сам когда-то страдал от них.

И к симпатиям к писателю пусть присоединятся еще симпатии к невинно страдавшему человеку.

Трагедия, которой мы обязаны знаменитой трилогией, такова.

Дело происходило при крепостном праве.

В одном из парижских ресторанов сидел молодой человек, богатый русский помещик А. В. Сухово-Кобылин, и допивал, быть может, не первую бутылку шампанского.

Он был в первый раз в Париже, не имел никого знакомых, скучал.

Вблизи сидели две француженки: старуха и молодая, удивительной красоты, по-видимому, родственницы.

Молодому скучающему помещику пришла в голову мысль завязать знакомство.

Он подошел с бокалом к их столу, представился и после тысячи извинений предложил тост:

— Позвольте мне, чужестранцу, в вашем лице предложить тост за французских женщин!

В то «отжитое время» «русские бояре» имели репутацию.

Тост был принят благосклонно, француженки выразили желание чокнуться, было спрошено вино. Сухово-Кобылин присел к их столу, и завязался разговор.

Молодая француженка жаловалась, что она не может найти занятий.

— Поезжайте для этого в Россию. Вы найдете себе отличное место. Хотите, я вам дам даже рекомендацию? Я знаю в Петербурге лучшую портниху, Андрие, первую,— у нее всегда шьет моя родня. Она меня знает отлично. Хотите, я вам напишу к ней рекомендательное письмо?

Сухово-Кобылин тут же, в ресторане, написал рекомендацию молодой женщине.

На этом знакомство кончилось.

Они расстались и больше в Париже не встретились.

Но в те времена верили еще в «русских бояр».

Прошел год.

Однажды Сухово-Кобылин зашел в Петербурге к Андрие с поручениями от сестры из деревни.

Поручение было исполнено, и Сухово-Кобылин уходил уже из магазина, как вдруг к нему подошла удивительно красивая женщина, служащая в магазине.

Лицо ее было как будто знакомо.

— Вы меня не узнаете? — улыбаясь, спросила она.— Я Симонн Диманш, помните, та самая француженка, которой год тому назад вы дали рекомендацию к этой фирме. Я поехала и благодаря вашей рекомендации получила место.

Она была очень красива.

— Но нам надо встретиться. Вы расскажете мне все подробно. Как бы это сделать? Не хотите ли со мной пообедать на этих днях? — предложил Сухово-Кобылин.

— У меня только один свободный вечер в неделю. Четверг. Как раз сегодня.

— Превосходно. Я отозван сегодня на обед. Но я пошлю записку, что болен, и мы обедаем вместе!

Они обедали в кабинете лучшего в те времена французского ресторана в Петербурге.

За обедом красавица француженка окончательно вскружила голову молодому помещику, и он предложил:

— Жениться на вас не могу. Против этого были бы родные, а я от них завишу. Но хотите,— мы будем жить, как муж с женой. Едем ко мне в имение. Ну, что вам здесь, в каком-то магазине, служащей? Чего вы добьетесь? Чего дослужитесь?

Симонн Диманш приняла предложение, и они уехали в деревню.

Медовый месяц промелькнул, француженка влюбилась до безумия в своего русского друга, а молодой человек стал скучать, его потянуло в город.

Они поселились в Москве, на Тверской, в собственном доме Сухово-Кобылина,— в дворянском особнячке, какие бывали в старину.

Служило им пятеро крепостных.

Охлаждение молодого человека шло crescendo, и Симонн Диманш ревновала его безумно.

«Дело», покоящееся в архивах старого сената, рассказывает следующую романическую историю.

Сухово-Кобылин безуспешно ухаживал в эту зиму за одной московской аристократкой.

В один из вечеров у этой аристократки был бал, на котором присутствовал Сухово-Кобылин.

Проходя мимо окна, хозяйка дома увидела при свете костров, которые горели по тогдашнему обыкновению для кучеров, на противоположном тротуаре кутавшуюся в богатую шубу женщину, пристально смотревшую в окна.

Дама monde'а узнала в ней Симонн Диманш, сплетни о безумной ревности которой ходили тогда по Москве.

Ей пришла в голову женская, злая мысль.

Она подозвала Сухово-Кобылина, сказала, что ушла сюда в нишу окна, потому что ей жарко, отворила огромную форточку окна и поцеловала ничего не подозревавшего ухаживателя на глазах у несчастной Симонн Диманш.

В тот вечер, вернувшись, Сухово-Кобылин не нашел Симонн Диманш дома.

Прислуга сказала, что барыня уехала на наемном извозчике.

Глубокая ночь. Ее все нет.

Встревоженный Сухово-Кобылин поехал к обер-полицмейстеру и заявил ему об исчезновении француженки.

— Не случилось ли с ней чего?

Начались розыски. Искали долго, и, наконец, на Ходынском поле была сделана страшная находка.

Среди сугробов снега лежала с перерезанным горлом Симонн Диманш.

Не было грабежа. Драгоценные вещи, дорогая шуба чернобурой лисицы — все было цело.

Что это было? Самоубийство? Убийство? Не была ли несчастная убита в другом месте, и не был ли труп вывезен в поле?

Полиция сделала обыск в доме Сухово-Кобылина, и в одной из комнат были открыты следы крови.

Сухово-Кобылин и вся прислуга были арестованы.

Напрасно родные Сухово-Кобылина кинулись хлопотать.

— Он сильно запутан в это дело. Зачем он в ночь убийства являлся к обер-полицмейстеру и говорил об исчезновении Симонн Диманш?

Прислуга на все вопросы отвечала:

— Знать не знаем, ведать не ведаем. Барин поехал на бал на своих лошадях. Их француженка, спустя немного, велела позвать себе извозчика и куда-то уехала. Больше мы ее не видели!

Как вдруг после долгого сиденья при квартале прислуга изменила свои показания.

Они сознались квартальному в убийстве.

— Мы ненавидели француженку за жестокое обращение с нами, воспользовались, что барина не было дома, зарезали француженку и отвезли тело на Ходынское поле! — показали крепостные.

Но им не совсем поверили.

Дело шло о «дворянине Сухово-Кобылине, обвиняемом в убийстве при посредстве своих крепостных находившейся с ним в противозаконной связи француженки Симонн Диманш».

— Зачем он приезжал ночью к обер-полицмейстеру?

Сухово-Кобылин и его крепостные сидели в тюрьме и были накануне каторги.

Родные его продолжали хлопотать, и вот, наконец, после бесконечных мытарств было постановлено сенатом «обратить дело к переследованию и постановлению новых решений, не стесняясь прежними».

В конце концов начали с того, с чего следовало начать, с начала самого начала,— это, впрочем, и теперь случается,— с исследования кровавых пятен.

По исследованию «медицинской конторы» оказалось, что кровь была куриная.

Комната, где найдены пятна, была людскою.

Это подтверждало первое показание повара. Он показал, что зимой резал обыкновенно птицу в людской.

Но откуда же явилось сознание крепостной прислуги?

Следствие обнаружило, что сознание это было вынуждено у людей в квартале пытками.

Квартальный надзиратель, как оказалось, кормил их селедками и не давал пить, подтягивал допрашиваемых на блоках к потолку, так что у несчастных плечевые кости выходили из суставов, и требовал:

— Сознавайтесь, что убили!

Так было добыто «сознание».

— Имейте в виду,— говорил при этом «сознавшимся» квартальный надзиратель,— и следователям и судьям показывайте точно так же. Измените показание,— опять вас к нам пришлют, и мы вас опять так пытать будем.

Крепостные и повторяли всем от страха «оговор на себя».

Только на одно не шли эти несчастные в своей «рабьей верности»: как ни пытал их квартальный надзиратель «показать на барина», они и под пыткой твердили:

— Барин ни при чем!

Когда новое следствие раскрыло все это, состоялся приговор.

Дворянина Сухово-Кобылина и его крепостных слуг, как невиновных, отпустить, дело о смерти француженки Симонн Диманш предать воле божьей, а квартального надзирателя за допущенные им при допросе пытки и истязания с целью вынудить ложное сознание, лишить прав состояния и сослать на поселение в отдаленнейшие места Сибири.

Вот трагедия, которой обязаны мы появлением трех пьес Сухово-Кобылина.

Сидя в тюрьме, он от скуки рассказал в драматической форме ходивший в то время по городу анекдот об одном очень светском господине, оказавшемся шулером, который заложил известному дисконтеру стразовую булавку за брильянтовую. Так получилась «Свадьба Кречинского».

«Дело» — самая сильная, самая страстная из пьес Сухово-Кобылина. В ней вы найдете отголосок того, что ему самому пришлось пережить в собственном «деле». Недаром в предисловии к этой страшной пьесе А. В. Сухово-Кобылин писал:

«Если бы кто-либо усомнился в действительности, а тем паче в возможности описываемых мною событий, то я объявляю, что имею под рукой факты довольно ярких колеров, чтоб уверить всякое неверие, что я ничего невозможного не выдумал и несбыточного не соплел».

Вспомните самое возникновение «Дела».

«Дело» — возникает по доносу Расплюева на то, что Лидочка сама «запутала» себя, сказавши будто бы:

— Это *моя* ошибка.

Пользуясь этим, запутывают в «Дело» человека, с которого можно поживиться.

Сравните это с тем, как Сухово-Кобылин «сам себя запутал в дело», ночью поехавши к обер-полицмейстеру.

В сценах допроса Тарелкина на дому и допроса в квартале в «Смерти Тарелкина», несомненно, отразились сцены допроса в квартале крепостных Сухово-Кобылина.

Тюремной тоске обязаны мы «Свадьбой Кречинского»,— и крик протеста, вопль измученного человека — эти две пьесы — «Дело» и «Смерть Тарелкина», в которых Сухово-Кобылин позорным клеймом, несмываемым клеймом сатиры, заклеймил «доброе, старое», слава богу, «отжитое» уже время.

ДЕЛО О ЛЮДОЕДСТВЕ

(Извлечено из архива)

I

Его превосходительству г-ну полицмейстеру города Завихряйска

Пристава 1-го участка

Рапорт

Честь имею донести вашему превосходительству, что во вверенном мне участке околоточный надзиратель Силуянов, Аким, с 12-го сего февраля пропал и на службу более не является. По наведенным на дому у него справкам, Силуянов 12 февраля, выйдя утром из дома, более в оный не возвращался, и где находится, ни жене, ни детям, ни прислуге,— неизвестно. Равно и спрошенные по сему поводу лица, знающие Силуянова, отозвались незнанием. О вышеозначенном исчезновении околоточного надзирателя вверенного мне участка честь имею довести до сведения вашего превосходительства для надлежащих распоряжений. *Пристав Зубов.*

Резолюция. Нивозможна дапустить, штоп акалодашные прападали, как еголки. Пирирыть весь горад а акалодашного найти. *Полицмейстер Отлетаев.*

II

Протокол

Сего числа в управление участка был доставлен в бесчувственно-пьяном виде неизвестный человек, по наружным признакам купеческого звания, который, ходя по базару, бесчинствуя и раскидывая у торговок грибы и топча соленые грузди ногами, похвалялся, что он ел пирог с околоточным надзирателем. Ввиду чего проезжавшим казачьим патрулем и был задержан по подозрению в людоедстве. Арестованных вместе с ним торговок и лиц публики, проходивших в это время по базару, постановлено освободить, а неизвестное лицо в пьяном виде задержать и отправить для вытрезвления в арестантскую. О происшедшем сообщить судебному следователю.

III

Дознание

Сего числа я, пристав 1-го участка гор. Завихряйска, опрашивал задержанного накануне в бесчувственно-пьяном виде человека, подозреваемого в людоедстве. При опросе, с упоминанием о статье 0000 уголовного судопроизводства, оказалось: рост задержанный имеет два аршина восемь вершков, лицо чистое, лет от роду 48, зовут Семипудовым, по имени Афанасий, званием третьей гильдии купец. Показал, что ранее занимался торговлей скобяным товаром, но, вследствие забастовок, оказался несостоятельным и с тех пор, по его словам, сильно запил, так что часто бывает в бесчувственно-пьяном виде. 12-го сего февраля, по случаю прощеного воскресенья, Семипудов, по его словам, имея намерение испросить прощения у всех своих родственников, пошел сначала к своему куму, где, по принятому им обыкновению, выпил столько, что, что было дальше, не помнит. Помнит только, что был во многих домах, но в каких именно,— за крайним опьянением, указать не может. Пил и плакал, ел пироги с белугой и с севрюжиной и с осетровой тешкой. Кого-то бил, и был от кого-то бит. На поставленный же мною прямо вопрос, с предупреждением, что закон строго карает за упорство в несознании: ел ли он, Семипудов, также пирог с околоточным надзирателем? — чистосердечно сознался: «Ел». На вопрос: не

звался ли этот околоточный надзиратель Силуяновым Акимом,— отвечал, что имени околоточного надзирателя не знает, но знает отлично, что пирог ел с околоточным надзирателем. На предложенный вопрос: в чьем доме был съеден этот пирог,— отозвался незнанием, ссылаясь на крайнее опьянение и потерю памяти от выпитой водки. На предложенный же мною вопрос: не принадлежал ли он и раньше к преступным организациям, поставившим себе целью путем террористических актов уничтожение начальствующих лиц,— Семипудов попросил квасу, ссылаясь на головную боль. Ввиду чего и принимая во внимание крайнее упорство в нежелании назвать сообщников, постановлено: заключить Афанасия Семипудова в секретную.

IV

Выдержка из газеты «Завихряйские губернские ведомости», отдел официальной хроники.

Вчера помещение при первом участке, где содержится известный преступник Афанасий Семипудов, посетили г-н брандмейстер фон Луппе, известный своей феноменальной силой и крайне кротким характером, а также начальник конной стражи Кузьмич в полной форме, при всех полагающихся ему атрибутах. Целью посещения было христианское увещевание сознавшегося преступника, чтобы он выдал своих сообщников. К увещеванию был приглашен также помощник пристава Ожидаев, известный своим умением располагать к себе души даже самых закоренелых злодеев. Вопреки циркулирующим по городу слухам, распускаемым злонамеренными людьми, увещевание отличалось кротостью. Преступник много плакал. Не было, конечно, забыто упоминание о великих днях поста, которые мы переживаем. Но человек-зверь остался нетронутым даже этим, ссылаясь на сильное опьянение и упорно не желая назвать дом, где он ел «пирог преступления». Сердце его оказалось столь закоренелым, что он, на все кроткие увещания, отвечал даже с истинно сатанинской гордостью: «Что ж, что ел пирог с каким-то там околоточным. Ничего особенного в этом не вижу. Мне приходилось едать пироги и с участковыми приставами». Это ужасное признание дает основание предполагать о существовании целого заговора с целью уничтожить таким образом всех чинов полиции. Мы имеем, однако, основание полагать, что, несмотря на упорное несознание купца Семипудова, все

нити преступного заговора будут в скором времени раскрыты, и полиция имеет в своих руках все данные к арестованию виновных.

V

Протокол осмотра

Я, полицейский врач гор. Завихряйска, будучи позван к подследственному арестанту Афанасию Семипудову, жалующемуся на боли в голове, груди и конечностях, нашел, что действительно Семипудов имеет два надломленных ребра с правой стороны груди, отчего испытывает затруднения при вдыхании и выдыхании. На спине и ниже у Семипудова ясно замечаются следы как бы какого тупого, круглого и длинного орудия длиною от 6 до 8 вершков. На левой стороне лица у него замечаются темные пятна, круглой формы, одно величиной в серебряный рубль, другое — в полтинник, прочие — в двухкопеечную медную монету, старой чеканки, а на правой половине головы кровоподтек, величиною в сторублевый кредитный билет. Означенные повреждения, по моему мнению, должны быть приписаны собственной неосторожности больного, в пьяном виде соприкасавшегося с различными предметами, имевшими различную форму. А кровоподтек на правой половине головы должно приписать свирепствующей в городе инфлюэнце. Полагал бы, тем не менее, Афанасия Семипудова, ввиду его болезненного состояния, на три дня от допросов освободить.

VI

Объявление, расклеенное по улицам гор. Завихряйска.

От губернатора

В опровержение ложных слухов, распространяемых представителями местных крайних партий, будто все представители полиции в скором времени будут запечены в пироги и съедены, по примеру околоточного надзирателя Силуянова, объявляю во всеобщее сведение, что отныне отдан приказ всем чинам наружной полиции города Завихряйска ежедневно мазаться с головы до ног особым составом, делающим мясо их решительно непригодным в пищу.

Подписал: *Губернатор Железнов.*

VII

Телеграмма из газеты «Вечность» (просуществовала три дня), от собственного корреспондента.

З а в и х р я й с к. В городе производятся усиленные аресты и обыски, по два раза в день. По делу купца Семипудова, в пьяном виде съевшего в пироге околоточного надзирателя Силуянова, арестованы: весь состав губернской и уездной земских управ, вся редакция местной газеты «Завихряйское свободное слово», редактору которой Пафнутьеву предложено, впрочем, внести залог в 372 000 рублей, присяжные поверенные Ивановский, Петровский, участвовавшие в защите крестьян в Пермской губернии, врач Карповский, ввиду сходства его фамилии с известным преступником, учителя городских училищ Иванов, Карпов, Сидоров, учительницы Поликарпова, Птицына и Анненкова.

VIII

Телеграмма из газеты «Конституционное начало» (просуществовала два дня), от собственного корреспондента.

З а в и х р я й с к. Арестованные по делу купца Семипудова, за отсутствием улик, от следствия освобождены и высылаются административным порядком: редакция газеты «Завихряйское свободное слово» — в Вологодскую губернию, состав губернской и уездной земских управ — в Архангельскую, присяжные поверенные Ивановский и Петровский — в землю Войска Донского, учителя и учительницы городских училищ — в Якутскую область. Учителя на 20 лет, а учительницы — на 30. Врач Карповский, ввиду его сходства с фамилией известного преступника, ссылается в Камчатку навсегда.

IX

Объявление из «Московских ведомостей», четвертая страница.

О б ъ я в л е н и е

Судебный следователь по особо важным делам города Завихряйска, ввиду сделанного обвиняемым купцом Афанасием Семипудовым заявления, что он неоднократно ел

пироги как с околоточными надзирателями, так и с участковыми приставами, настоящим приглашает всех лиц, коим известны случаи внезапного исчезновения чинов полиции, делать о сем заявления на предмет возбуждения следствия, в камере его, помещающейся в городе Завихряйске, по Грязно-Потемкинской улице, в доме участкового пристава Зубова.

X

Телеграммы различных столичных и провинциальных газет от Петербургского телеграфного агентства:

Тамбов. Обнаружено таинственное исчезновение еще два года тому назад помощника пристава Извойникова. Предполагают, что он был съеден в пироге купцом Семипудовым, приезжавшим в наш город под чужим именем.

Астрахань. Производится строжайшее расследование по поводу именинного пирога, испеченного в прошлом году, неизвестно с какой начинкой, у присяжного поверенного Перерытова. Расследование ставят в тесную связь с исчезновением еще пять лет тому назад участкового писаря Григорьева и поимкой известного завихряйского пожирателя пирогов с полицейскими купца Семипудова.

Петрозаводск. Обнаружено новое зверское преступление пожирателя. Два года тому назад исчезла из города супруга брандмейстера Свербаухова. В то время полагали, что она бежала с комиком проезжавшей труппы Звенигород-Кокленовым. Теперь только догадались, что она была просто-напросто съедена в пироге.

Тифлис. Пропал околоточный. Полагают, что он сделался жертвой Семипудова.

Екатеринослав. Пропал участковый пристав. Подозревают Семипудова.

Незамутиводск. Вчера, по распоряжению губернских властей, была единовременно произведена выемка пирогов изо всех обывательских печей нашего города.

По вскрытии все пироги оказались с надлежащей начинкой, и многие из них возвращены владельцам.

XI

От Осведомительного бюро:

Опровержение

Напечатанное в некоторых столичных газетах известие, будто в последнем совещании министров решено воспретить, ввиду настоящего переходного времени, печение пирогов по всей России, лишено, как мы уполномочены сообщить, всякого основания. Такой вопрос, ввиду участившихся случаев запекания в пироги чинов полиции, действительно был поднят в последнем совете министров, но постановление было сделано в том смысле, что надлежит воспретить печенье пирогов лишь в местностях, где не введено военное положение,— в местностях же, где действует военное положение, предоставить разрешение или неразрешение обывателям печь пироги на усмотрение военных генерал-губернаторов, ближайшее же наблюдение за начинкой пирогов возложить на жандармский и прокурорский надзор.

XII

Корреспонденция из столичной газеты «Вольный дух» (жития ей было один день).

ЗАВИХРЯЙСК

Действия карательного отряда

(От нашего корреспондента)

Вчера в пределы нашей губернии вступил карательный отряд под начальством Закатай-Закатальского.

Ввиду известного случая съедения околоточного надзирателя Силуянова действия отряда сосредоточены на предупреждении повторения подобных случаев.

С этой целью карательный отряд озабочен вырыванием зубов у обывателей. Таким образом предполагается лишить тайных злоумышленников возможности повторять прискорбные случаи.

С этой целью из губернского и уездных городов вызваны все наличные дантисты с инструментами,— с предупреждением, что с уклонившимися от явки будет поступлено, как со стачечниками.

По собранным нами сведениям, многие из дантистов по этому случаю бежали в Северную Америку.

По слухам, за ними послана в погоню эскадра, под начальством адмирала Небогатова.

От редакции. Печатая эту корреспонденцию, считаем долгом оговориться, что последняя часть ее кажется нам совершенно невероятной. Вряд ли адмирал Небогатов годится для этой цели. По принятой им системе воевать, он может сдать свою эскадру дантистам, что будет явлением в морской истории совершенно небывалым.

XIII

Письмо от судебного следователя по особо важным делам гор. Завихряйска к прокурору того же города.

Дорогой
Иван Иванович!

Вторую неделю,— лишился сна! — читаю уложение о наказаниях: под какую статью подвести бы этого каналью Семипудова? Каково несовершенство законов! Людоедство не предусмотрено! Полагаю, по этому поводу, выпустить его на свободу и дело производством прекратить. Не запрещено,— значит, дозволено. Ешь людей в свое удовольствие! По закону выходит так.

Сердечно жму руку. Ваш

(подпись неразборчива).

Письмо это, как заключающее в себе некоторую критику законов, прошу вас сжечь и пепел съесть. Береженого и бог бережет.

XIV

Письмо прокурора гор. Завихряйска к судебному следователю по особо важным делам.

Дорогой Семен Семенович!

Из письма вашего с прискорбием вижу, что вы не только сна, но и рассудка лишились. Как отпустить на свободу преступника, на которого обращено внимание всей России и министерства юстиции? Запечение должностного лица в пирог смело может почитаться убийством с заранее обдуманным намерением при исполнении служебных обязанностей. А участие в съедении этого пирога должно быть приравнено к укрывательству следов преступления. В таком духе и валяйте. Сердечный поклон вашей супруге. Как детишки? Жму вашу руку. Ваш

(подпись неразборчива).

Письмо ваше, как заключающее в себе некоторую критику законов, переслано мною в жандармское управление. Дружба — дружбой, а служба — службой.

XV

Телеграмма телеграфного агентства, напечатанная во всех газетах.

Завихряйск. Известный людоед купец Семипудов будет предан военному суду для суждения по законам военного времени.

XVI

Извлечение из газеты «Новое время».

Околоточный идеал
(Из личных воспоминаний)

Вся Россия говорит ныне с ужасом о трагической смерти,— он запечен в пироге! — околоточного надзирателя Силуянова.

Мы знали покойного лично.

Чуден был околоточный надзиратель Силуянов, когда, опоясавшись новенькой шашкой, шапка набекрень, тихо и плавно совершал он обход своего околотка. Не обругает, не прогремит. Глядишь и не знаешь: околоточный ли то или тихий ангел мира шествует по земле кротким дозором своим. И сколько ни было окошек на улице, все открываются, бывало, и любовно глядят оттуда обывательские лица на своего околоточного, и кивают ему своими головами, и горделиво любуются им, и радостно улыбаются светлому его зраку. И не было тогда околоточного, равного Силуянову, в мире!

Когда же заметит, бывало, нечистоту у ворот или гнилые яблоки у торговки, или книжку в руках у простолюдина,— страшен тогда бывал околоточный надзиратель Силуянов. Темные тучи пойдут по лицу, и сдвинутся густые брови, глаза мечут молнии, а уста — слова. Грозный, справедливый, не терпящий беспорядка,— страшен он бывал в такие минуты для нечестивцев. И слова его летели, как камни, и лились, как лава. Так извергается Везувий, когда лава переполняет его. И все обыватели торопились закрыть свои окошки, ибо ушам простого смертного непосильно

было слышать слова разгневанного бога. Страшен был тогда околоточный Силуянов,— и не было тогда околоточного, равного ему, в мире!

XVII

Из газеты «Новое время», выдержка из статьи под названием «Письма к ближним» г-на Меньшикова.

Братие! Ближние мои! Что зрим? Чего очевидцами соделались? Се зрим, с сокрушенным сердцем, околоточна в пирозе запеченна и торговцем Семипудовым во граде Завихряйске съеденна. Поразмыслим. Не об околоточном, в пирозе погребение себе нашедшем, восплачем, ибо что есть околоточный с философской точки зрения? Коль скоро околоточный может быть в пирозе запечен, толь скоро другой околоточный может быть вновь испечен. И не на сем пути может быть побеждено наше мудрое министерство революционерами, в лютой злобе невинный доселе пирог в орудие адской злобы превратившими. Ибо неизвестно еще: кто скорее кого устанет,— сомутители ли есть околоточных, или министерство новых околоточных печь. Не об околоточном купно с ближними его восплачем, но об оном заблудшем купце Семипудове, читательчики мои милые! Сколь злоба сердце его обуяла, что в неделю сыропустную, в самое прощеное воскресение купец третьей гильдии оскоромился, съевши пирога с околоточным надзирателем. Вот что ужасно, братие. Поста забвение. Купец, заветов прошлого держительство, вместо того, чтобы съесть, как полагается, пирожка с тешечкой, пирожка с визигою, с осетровой щекой, с налимьею печенкою, блинчика с творогом, блинчика со сметанкою, блинчика с вареньем,— околоточного вкусил. Тьфу!

Подписано: *Меньшиков.*

XVIII

Выдержка из статьи газеты «Земщина».

Некоторые подлецы, называемые юристами, лишили правосудие ключей к истине, как-то: дыбы, колеса с гвоздями, каленых щипцов и т. п. Язык бледнеет говорить о злодеянии, совершенном в Завихряйске. Волосы, даже под мышками, встают от ужаса, и перо невольно падает из скрючившихся от трепета пальцев. С ужасом садишься за стол, с ужасом хлебаешь щи: на чем они сварены? С ужа-

сом погружаешь нож в дымящийся пирог: а вдруг в нем околоточный? Все возможно в наши дни, когда даже страшное преступление в Завихряйске остается неразысканным. Каким бы обжорой ни был этот купец Семипудов,— но возможно ли предположить, чтоб он один сожрал околоточного надзирателя?

Принимая во внимание, что по самому роду своего служения в господа околоточные избираются особы знатного роста и недюжинной силы. Кто же жрал еще и не подавился? Где виновники? Как узнать это от молчащего купца, ежели не прижечь ему пятки каленым железом, ежели не запустить хорошенькой иглы под ноготь, ежели не растянуть его на дыбе? Какой дурак скажет свои сокровенные мысли, если судебные власти кормят его мармеладами и миндальным печеньем: «Кушай, миленький! Заедай околоточного мармеладинкой!» Когда же окончится это преступное попустительство так называемых властей, во главе которых стоит граф Витте? Когда, на радость всех истинно русских людей, в суде нашем будут введены, по образцу всех истинно цивилизованных стран, пытки? Кто были сообщники Семипудова? Мы знаем это. Доблестный сын своего отечества А. И. Гучков сказал это вчера на собрании октябристов: «Околоточного надзирателя вместе с Семипудовым ели богопротивный Петрункевич, богомерзкий Родичев, вместе с ненасытным в своей лютости князем Павлом Долгоруким». И они доныне еще не пытаны! Страшно по улицам ходить даже околоточному! То-то был бы праздник, то-то было бы веселие для всей Руси православной, для всякого человека, истинно русского, для каждого доброго христианина, если б нас к праздникам святые пасхи порадовали пытками. То-то радость была бы в Москве-городе, ежели б к светлому празднику заботливое начальство ее площади изукрасило. На Красной площади Петрункевич бы на колу сидел, на Страстной — Родичев, на детское удовольствие, на колесе бы вертелся, на Арбатской — Маклакова бы млада на горячих угольях поджаривали, а на Каланчевской — князь Павел Долгоруков, будучи подвешен за большие пальцы рук, с гирями, прикрепленными к большим пальцам на ногах, должен был бы в такой позиции поганые речи Мирабо произносить. А народ православный, по-праздничному разодетый, ходил бы мимо, смотрел и любовался, лускаякая семечки и расходясь по требованию начальства. А из Семипудова бы котлет понаделали и заставили те котлеты есть без хлеба сотрудников

«Русских ведомостей». Нечего церемониться с иноземцами! Самое имя — Семипудов. Что в нем русского?

Подписано: *Замысловский*.

XIX

Из газеты «Земщина» письмо в редакцию.

М. г., г-н редактор!

Во вчерашнем № вашей уважаемой газеты допущена легкая неточность. А именно, я никогда не называл поименно гг. Петрункевича, Родичева и др., как заведомо для меня евших в Завихряйске околоточного надзирателя.

Примите и проч.

А. Гучков.

От редакции. Крайне удивлены, почему г-н Гучков не называл этих лиц поименно? Ужели и А. И. Гучкову финляндцы миллион дали?

XX

Выдержки из стенографического отчета о заседании суда по делу о купце третьей гильдии Афанасии Семипудове, обвинявшемся в уничтожении околоточного надзирателя Силуянова посредством еды.

Защитник Семипудова прис. пов. Тесленко. Я имею войти к суду с ходатайством.

Председатель. Входите.

Прис. пов. Тесленко. Имею честь покорнейше просить суд допросить в качестве свидетеля околоточного надзирателя Акима Силуянова, находящегося в соседнем коридоре.

Председатель. Защите должны быть известны статьи устава уголовного судопроизводства, устанавливающие законные сроки на ходатайства о вызове новых свидетелей. Ввиду пропуска срока суд постановляет ходатайство защиты, как не основанное на законе, за силой ст. 000 устава уголовного судопроизводства, оставить без последствий.

Прис. пов. Тесленко. Но раз мой клиент обвиняется именно...

Председатель. Предлагаю защите не вступать с судом в пререкания. В противном случае вынужден буду защиту удалить.

XXI

Оттуда же. Выдержка вторая.

Председатель. Подсудимый! Встаньте. Признаете ли вы себя виновным...

Подсудимый Семипудов *(перебивая)*. Г-н председатель, тут вышло недоразумение. Я хотел сказать...

Председатель *(строго)*. Подсудимый, потрудитесь не перебивать председателя!

Подсудимый *(испуганно)*. Это меня адвокат научил!

Председатель. Г-н присяжный поверенный, о вашем поступке будет доведено до сведения московской судебной палаты. По своему званию вы должны внушать подсудимым уважение к суду, а не учить их перебивать председателя.

Прис. пов. Тесленко. Г-н председатель, но раз...

Председатель. Я вторично делаю вам замечание, чтоб вы не вступали в пререкания с судом. В третий раз я вынужден буду принять меры строгости. Подсудимый! Отвечайте на вопрос: признаете ли вы себя виновным в том, что 12 февраля сего года в месте, которое вы не желаете указать, ссылаясь на сильное опьянение, ели пирог с неизвестным вам околоточным надзирателем? Да или нет?

Подсудимый *(упавшим голосом)*. Да. Признаю.

Председатель. Ваше заключение, г-н товарищ прокурора?

Товарищ прокурора. Ввиду чистосердечного признания подсудимым своей вины, полагал бы судебного следствия не производить.

XXII

Выдержка оттуда же. Речь г-на товарища прокурора:

— Я буду краток, господа судьи. Настоящее дело является, так сказать, новым верстовым столбом на пути «революционного движения». И мы сразу должны положить предел этому дерзкому шествию. Потому что, поистине, отныне оно принимает уже совершенно чудовищные размеры. До сих пор господа революционеры, идя на свои ужасные действия, рисковали своими головами. Их преступления оставляли следы. По следам мы добирались до преступников. Ныне, в своей дьявольской хитрости, они

додумались до полного уничтожения следов преступления. Ибо съесть свою жертву — как еще лучше и надежнее можно скрыть следы преступления? Исчез человек, и исчез! Преступление совершено, и мы об нем не будем даже знать, ибо самой лучшей полиции не дано знать, что скрывается у человека в желудке. Единственный способ узнать, это — вскрыть человека. Но вы понимаете сами, господа судьи, что ведь нельзя же вскрывать всех жителей России всякий раз, как пропадет какой-нибудь чин полиции. Таким образом, злодеи, съедая своих жертв, готовят себе безнаказанность. Вам будет говорить защита, что подсудимый был бесчувственно пьян, когда он совершал свое дело. Но, господа судьи, как бы пьян ни был человек, он все-таки понимает, что околоточным не закусывают.

В публике замечено, что во время этой речи подсудимый сильно плакал, особенно же слезы его усилились, когда речь зашла о его пьянстве. Речь произвела, видимо, сильное впечатление на преступника.

XXIII

Телеграмма телеграфного агентства, напечатанная во всех газетах.

Завихряйск. Известный людоед Семипудов приговорен судом к бессрочной каторге. Защита подает кассацию.

XXIV

Его превосходительству, г-ну полицмейстеру гор. Завихряйска.

Пристава 1-го участка

Рапорт

Честь имею донести вашему превосходительству, что сего 3 марта в управление вверенного мне участка неожиданно явился, в сильно распухшем виде и со следами праздно и порочно проведенного времени на лице, околоточный надзиратель Силуянов Аким, исчезнувший 12-го прошлого февраля, и объяснил, что это время, от 12 февраля по сие число, он, Силуянов, провел в беспробудном пьянстве. Местопребываний своих за это время не помнит, а может сказать только, что 12 февраля, зайдя в гости к знакомым, ел там пирог с незнакомым ему купцом, бывшим в бесчувст-

венно пьяном состоянии, и, соблазнившись тем купцом, сам напился до такой степени, что более ничего не помнит, и очнулся только вчера за городскими свалками, и в виде совершенно голом. Доводя обо всем вышеизложенном до сведения вашего превосходительства, честь имею присовокупить, что околоточный надзиратель Силуянов, в общем, отличаясь усердием и примерной верностью долгу, питает некоторое пристрастие к напиткам, называемым крепкими, и ежегодно взял к себе в правило предаваться пьянству не менее двух раз: один — в Рождественском, другой — в Великом посту. В остальное же время ни в каких пороках, околоточному надзирателю не свойственных, замечаем не был.

Подписано: *пристав Зубов.*

XXV

Канцелярия г-на завихряйского полицмейстера.

Приставу 1-го участка.

Конфиденциально.

На основании устного приказа его превосходительства, честь имею довести до сведения вашего высокородия, что ввиду нынешнего тревожного времени его превосходительство находит неблаговременным давать ход обвинению себя околоточным надзирателем Силуяновым, как бы в людоедстве,— обвинению, содержащемуся в словах: «ел пирог с незнакомым купцом». Что же касается до манкирования околоточным надзирателем Силуяновым своею службою, то ввиду его болезненного состояния, в науке именуемого алкоголизмом, и принимая во внимание вообще доблестное прохождение сим полицейским офицером своей службы, его превосходительство находит возможным ограничиться для него наложением взыскания в форме трехдневного дежурства не в очередь. Его превосходительство твердо изволит уповать, что околоточный надзиратель Силуянов своими будущими подвигами затмит некоторые причиненные им беспокойства. Избегайте только, во избежание бесплодных толков, некоторое время ставить означенного околоточного на местах особого скопления публики.

Правитель канцелярии

(подпись неразборчива).

XXVI

Выдержка из газеты «Новое время».

Со всех сторон слышу только: околоточный, околоточный! То околоточный съеден! То околоточный не съеден и жив. Даже противно. Словно и света в окне, что какой-то околоточный. Словно и говорить и думать больше не о чем, как об околоточном. Словно в настоящее время речь идет только об околоточном, и мысль занята только околоточным, а не Россией, не ее будущим, не ее прошлым, созданным трудами и усилиями наших предков. Я понимаю это, как избирательный маневр,— все эти толки о каком-то околоточном, который не то съеден, не то не съеден. А помоему так: съеден околоточный — на доброе здоровье! Жив околоточный — доброго ему здоровья! Заниматься же ныне вопросом: что хотел сказать купец, когда говорил, что ел «пирог с околоточным надзирателем», ей-богу, грешно. Мало ли что какой купец скажет. Купцов много. Русские купцы говорят различно. На то у человека и язык, чтобы говорить. В России не одни купцы. Если все записывать, что каждый купец скажет,— выйдет книга толще энциклопедии. И по-моему, чем скорее прекратятся толки о купце и об околоточном, тем, право, будет лучше и для нас, и для России. Для ее несомненно великого и светлого будущего. Надо о выборах думать теперь, а не о купцах с околоточными.

Подписано: *А. Суворин.*

XXVII

Выдержка из отчета о заседании кассационного департамента по делу о Семипудове, осужденном за людоедство.

Поверенный Семипудова. Околоточный надзиратель Силуянов, здравие которого подтверждается прилагаемым приказом по полиции...

Первоприсутствующий. Г-н поверенный! Я уже не в первый раз делаю вам замечание, что кассационный департамент не может входить в существо дела. Был или не был в действительности съеден околоточный надзиратель Силуянов,— это уже вопросы существа. Потрудитесь, не вторгаясь в существо, оставаться на почве чисто процессуальных нарушений, на которые вы приносите кассационную жалобу.

XXVIII

Агентская телеграмма во всех газетах.

Петербург. Кассационная жалоба защиты Семипудова, за отсутствием поводов к кассации, оставлена без последствий!

XXIX

Телеграмма.

Иркутск. Вчера в партии каторжников проследовал через наш город известный людоед Семипудов.

XXX

Из газеты «Россия».

Газета «Вольное вече» за напечатание статьи «Съел ли Семипудов околоточного?» прекращена на 18 лет.

ВИХРЬ



ГЕРЦЕН

Это было в поездку между Веной и Подволочиском.

По всей Европе вы летали с экспрессами, носились, как вихрь,— от Вены к Подволочиску поезд идет медленно, словно нехотя,— и колеса стучат:

— Читайте! Читайте!

Во всех купе читают, читают жадно, глотают, захлебываются и, не доходя Подволочиска, из всех почти окон полетят русские книги, брошюры, листки.

Обе стороны полотна усеяны книгами. Жителям Подволочиска есть из чего свертывать папиросы! Если бы они захотели, они могли бы составить себе огромнейшую библиотеку.

И что за странная была бы эта библиотека!

В ней «Былое и думы» Герцена стояли бы между сборником порнографических стихов и книжкой какого-то полоумного декадента, который вопиет:

— Разве террор для террора не полон уже, сам по себе, красоты и величия?

Порнография, дикий, кровавый бред и благородные мысли,— все свалено в одну кучу!

В этом «читательском поезде» я познакомился с Герценом.

Уже от предисловия «С того берега» кровь бросилась мне в голову, слезы подступили к горлу.

Передо мной открылся новый мир, как открывается новый мир всегда, когда вы открываете гениальную книгу.

Передо мной, счастливым, радостным, взволнованным,

вставал, в величии слова и мысли, новый для меня писатель, мыслитель, художник — умерший, бессмертный.

Какое благородство мысли, какая красота форм!

И эту книгу я должен буду выбросить перед Подволочиском в окно, как порнографическую брошюру!

Из-за чего?

Разве мир не шагнул вперед за те тридцать лет, как умер А. И. Герцен?

Разве не многое из того, что осуждал он, осуждено уже историей?

Разве во многом его книги не обвинительный акт, по которому уже состоялся обвинительный приговор истории?

Из-за чего же?

Неужели из-за рассеянных там и сям личных нападок, которые потеряли теперь уже весь свой яд, потому что те, в кого они были направлены, уже давно померли?

Да разве ж в этих резких строчках Герцен-мыслитель, Герцен-художник, Герцен — великий патриот, отличающийся от патентованных патриотов тем, что он любил свою родину просвещенной любовью?

Разве этот великий ум, благородное сердце, великий мыслитель, несравненный художник, друг и поборник всего прекрасного, волнующий кровь благороднейшими желаниями и наполняющий ум благороднейшими мыслями, опьяняющий любовью к людям, не был бы Герценом, если бы из-под его пера не вышло нескольких обидных для личности строк?

Разве в этих строках весь Герцен?

И перечитав еще раз, на прощанье, предисловие «С того берега», я с завистью подумал о том потомке, который будет, счастливец, свободно воспитывать свой ум и свое сердце на Герцене и читать его так же невозбранно, как читаем теперь князя Мещерского и «раскаявшегося» господина Тихомирова.

Но поезд подходил к Подволочиску, я отворил окно,— простите сентиментальность, поцеловал книгу, зажмурился и выбросил ее в окно.

Зажмурился,— потому что и теперь, через много лет, один на один с самим собою, я краснею при этом воспоминании.

Так тяжело уничтожать книгу, конечно, если не занимаешься этим специально. Словно убиваешь человека. Хуже! Убиваешь лучшее, что есть в человеке,— мысль.

Сотни тысяч людей прочли бы эту книгу, эти мысли, эти чувства,— и ты отнимаешь у сотен тысяч их достояние.

Я выглянул в окно. Книга белела около полотна, вдали. Она осталась по ту сторону границы.

Бедный Герцен!

Окруженный поклонением, славой, он так тосковал, так страстно, безумно тосковал по своей бедной, занесенной снегами родине.

И через тридцать лет он не может вернуться на родину.

Теперь, когда много приговоров пересмотрено историей, о нем приговор еще не пересмотрен.

Добиться пересмотра этого приговора,— какая достойная цель для отделения словесности Академии наук!

Пусть к нам вернется хоть только то, что было вечного и бессмертного в Герцене.

И останутся даже по ту сторону границы те вспышки раздражения, значение которых умерло вместе со смертью людей, на которых они были направлены.

Пусть отделение словесности Академии наук любящей и осторожной рукой коснется Герцена и вернет России ее достояние.

Герцену время вернуться из Европы.

Его мать, его страна, любимая и любящая, тоскует и ждет своего великого, своего бессмертного сына.

И втихомолку плачет о нем сегодня, в годовщину его смерти, от тяжести двойной разлуки.

И. Н. ДУРНОВО

(Этюд)

> Да, Флоридор есть Селестен!
> А Селестен есть Флоридор.

Иван Николаевич Дурново и Вячеслав Константинович Плеве кончили один и тот же университет.

И тот и другой прошли департамент полиции.

Кто сделает хорошую характеристику г-ну Дурново,— напишет отличный некролог Плеве. И чтоб иметь биографию г-на Дурново, надо взять добросовестный некролог фон Плеве.

Это два рубля, вычеканенные на одном и том же монетном дворе.

Едва севши на обрызганное кровью кресло министра внутренних дел, Плеве пригласил к себе корреспондента парижской газеты «Матен» и через него объявил всей Европе:

— Эпидемия убийств высших сановников зависела у нас от недостатка полиции. Теперь состав полиции будет увеличен. Покойный Сипягин был последним. Больше в России не случится ни одного политического убийства.

Так говорил человек, которому самому суждено было погибнуть от руки политического убийцы.

Если в тот страшный миг, когда Сазонов, на глазах Плеве, подбегал к карете с поднятой бомбой, в голове фон Плеве успела пронестись хоть одна мысль,— эта мысль, наверное, была:

— Чего смотрит полиция?

И если душа человека, оставляя эту юдоль печали, могла бы судить,— душа фон Плеве и в эту минуту обвинила бы, говоря полицейским же языком, в происшествии не страшную политику, озлобляющую умы и сердца, не политику, вкладывающую бомбы в те руки, которые охотнее держали бы мирное перо, не террор, вызывающий террор, а только того беднягу охранника-велосипедиста, который налетел на Сазонова слишком поздно.

— Плохо ездит на велосипеде,— оттого все и случилось.

Должен был вовремя налететь.

Тащить и не пускать.

Полицейский может видеть истинные причины...

В Полтаве вспыхнули беспорядки.

Заехав в Троице-Сергиеву лавру, словно он был Димитрий Донской и ехал воевать против татар, а не русских же людей...

Лавра не дала ему только Пересвета и Осляби.

У Плеве был князь Оболенский.

Заехав в Троице-Сергиеву лавру, фон Плеве проехал в Полтаву и, посетив поля битв, вот какое вынес убежденье.

Его собственные слова:

— В Полтавской губернии аграрные беспорядки? Ничего нет удивительного. Явление естественное.

«Арифметически неизбежное».

— В Полтавской губернии столько же душ населения, сколько десятин земли. По десятине приходится на душу. При нашей обработке земли десятины только-только хватит «душе», чтобы не умереть с голоду. А в Полтавской гу-

берний находятся самые крупные частные поместья. Сочтите же, по скольку остается на душу населения!

Следовательно, что же?

Нужно выселить избыток населения в какие-нибудь местности, подходящие по климату, по земле к привычной «полтавщине».

Например, на свободные земли на Кавказе?

Надо войти в соглашение с крупными частными владельцами, не продадут ли они, через Крестьянский банк, на человечных условиях, избытки своей земли нуждающемуся в ней оставшемуся населению? Выяснить им, что это необходимо в интересах их же безопасности?

Нет.

Так, приблизительно, показалось бы всякому.

Но фон Плеве — бывший директор департамента полиции.

Следовательно...

— Следовательно, необходимо создать институт деревенской полиции, чтоб она следила за агитаторами!

Это естественно и это логично.

Отрицать всемогущество полиции для полицейского — самоубийство.

Полицейский может даже видеть, что он ошибается. Но...

Фон Плеве, заявлявший, что с увеличением полиции:

— Больше в России не будет ни одного политического убийства.

Потом меланхолически говорил:

— Я знаю день, в который меня убьют. Это будет в один из четвергов. В четверг я выезжаю для доклада.

И... И Сазонов не мог ошибиться, в которую из карет бросить бомбу.

Ехало несколько карет.

Ему оставалось только выбрать ту, которую окружали велосипедисты.

Полицейский может быть охвачен даже хорошими намерениями.

Но он не может остановиться.

«Нечто полицейское» влечет его как рок.

Даже по тому пути, который он считает ошибочным.

Получив наследство после Сипягина, даже фон Плеве нашел...

Быть может, даже с отвращением:

— Слишком много народа по тюрьмам.

И кто,— я говорю о тех «счастливых» временах,— больше сажал, как не Плеве?

И что Плеве другое делал все свое правление?

Когда умер Плеве, тюрьмы оказались вдвое больше переполненными, чем при Сипягине.

Есть вещи, прямо недоступные полицейскому уму.

Фон Плеве выражал свое глубокое изумление «либеральным» предводителям дворянства:

— Удивляюсь, господа, с какой стати вы принимаете участие в движении? Вы — господствующее сословие. Разве вам живется плохо?

Разве вам не слышится в этом околоточный надзиратель, который говорит «чисто одетому» господину, вступившемуся за бабу, которую бьют:

— Проходите, господин! До вас не касается.

Полицейскому уму никак не понять, что нельзя есть с аппетитом, если стена об стену со столовой помещается застенок:

— Ведь не вас секут, вы и кушайте!

Он говорит это с совершенно искренним убеждением.

— Я хочу достойного человеческого существования! Вы понимаете: не просто существования! А достойного! — вопит обыватель.

Полицейский искренне изумлен:

— Городовой, который на перекрестке стоит, хоть вы и штатский человек, вам под козырек делает! Какого же еще достойного существования вы, господин, требуете? Право, почетное даже, вам предоставлено!

Требовать от полицейского, чтобы он разбирался в таких «деликатностях»!

Принимая покойного Н. К. Михайловского, фон Плеве «похвалил» знаменитого публициста:

— Мы вам благодарны. Вы оказали нам услугу борьбой против марксистов.

Он не хотел обидеть Михайловского.

Он хотел ему доставить удовольствие:

— Похвала всегда приятна!

А бедный Михайловский, быть может, в эту минуту охотно вычеркнул бы все, что он написал против марксистов, чтоб только не слышать этой похвалы и из этих уст.

Полицейский, при обыске у вас, брезгливо, двумя пальцами, берет лежащие между листами книги засохшие цветы:

— Это что за дрянь?

— Это цветы с могилы моей матери! — весь дрожа от негодования, говорите вы.

Он считает долгом пошутить.

— А не с могилы какого-нибудь повешенного?

— Оставьте! — кричите вы, едва сдерживаясь.

Он смотрит на вас с удивлением:

«Чего взбеленился?»

И кладет цветы обратно.

Один листок прилип к его пальцам,— особенность всего прилипать к полицейским пальцам,— он машинально перетирает засохший листок между пальцами и продолжает обыск.

Он и не заметил, как пальцем задел и ковырнул у вас в душе.

Есть вещи, которые недоступны полицейскому уму.

Полицейский все и вся судит только с полицейской точки зрения.

Это естественно.

Профессиональная точка зрения.

Вы говорите доктору:

— Тяжело что-то! Работать не могу. Не только работать — жить на свете не хочется!

Он машинально говорит вам:

— Покажите язык.

Над страной разразилось величайшее бедствие, какое может разразиться над страной.

Война.

Одни,— их немного, у полиции нет достаточно средств, чтоб уж очень многим платить по полтиннику,— одни ходят по улицам и вопят:

— Ура! Бить япошку! Бить макаку!

Другие смущенной душой молят, как в страшный час Гефсиманского моленья:

— Отче! Да минует нас чаша сия!

Истинно страшная, Гефсиманская ночь первой атаки Порт-Артура.

Будет война или не будет?

Третьи, вспоминая Севастопольскую Голгофу и воскрешение после нее России, говорят:

— Да минует нас чаша сия. Но да будет, Отче, так, как ты хочешь, а не мы. И будет Голгофа, и будет страшная крестная смерть, и наступит пресветлое и радостное воскресение. Там, на скалах Артура, как на Голгофе, распята будет Русь и, искупив своей кровью грехи других,

воскреснет новая, сияющая, ликующая. Веруем, что воистину воскреснет!

Все были смятены.

Все души потрясены.

Один полицейский оставался спокойным.

И фон Плеве находил, что данное «происшествие» «весьма удобно» в полицейских видах.

Будут горы трупов и реки крови.

— Но это отвлечет от внутренних беспорядков!

Полицейский чувствует себя совершенно спокойно.

Пожар?

Надо тушить.

Чем? Воды!

— Не трогайте! Это святая вода!

Для полицейского нет святой воды.

— Лей!

Водой или кровью:

— Но пожар полагается тушить!

Таков «устав его рыцарства»:

— Чтоб царствовала тишина и спокойствие.

А какой ценой — полицейскому безразлично.

Полицейские не задумываются.

Недаром их любимое слово:

— Не рассуждать!

Страдания родины потушить в ее крови!

«Гуманные» пули, шрапнель с ее какими-то «вертящимися стаканами», снаряды, начиненные шимозой,— все это уносит тысячи, десятки тысяч жизней.

Раненые без перевязки. Истекают кровью. Медицинская помощь недостаточна.

Земства, другие общественные учреждения — все, в ком есть душа, снаряжают санитарные отряды.

Полицейский, фон Плеве, говорит:

— Нельзя.

На улице раздавили человека.

И подоспевший бравый околоточный говорит толпе:

— Проходите! Проходите! Чтоб не было скопления публики!

Для него главное:

— Чтоб не было скопления публики!

— Да мы хотим помочь!

— Проходите! Говорят вам! Не скопляйтесь, не скопляйтесь, господа!

«Скопление публики». «Могут произойти беспорядки».

Что для фон Плеве стоны, кровь, смерть тысяч раненых? Его беспокоит полицейская мысль:

— Общественная организованная помощь. Никаких общественных организаций не должно быть допускаемо...

В своем «университете», департаменте, он воспринял:

— Общественные организации опасны. Для предупреждения революции надо, чтобы общество не умело организоваться.

Как околоточный надзиратель в своей гимназии, участке, выучил наизусть:

— Скопления публики не допускаются. От этого могут возникнуть беспорядки.

— Да мы же хотим помочь! Помочь только! Есть у вас душа?!

— Помогать — дело начальства. Можете через начальство. А самой публике в происшествие вмешиваться не полагается.

Желаете помочь:

— Вот участок!

У полиции тоже есть фантазия.

И эта фантазия достаточно фантастична!

Идеал обывательского существования в полицейской фантазии:

— Обыватель, обуреваемый высокими чувствами, идет угасить их в участок. Приходит и, как на духу, исповедуется своему приставу: «Люблю свою родину!» Пристав отвечает: «Через участок можно!» — «И желаю ей помочь».— «Через участок и это дозволяется».— «Вот рубли от чистого сердца».— «Отлично. Сидоренко, возьми книгу «Любящих свое отечество» и запиши: От обывателя, имярек, в пользу раненых внесено пятьдесят копеек».

— Позвольте, как...

— А ежели вы патриот, то и не скандальте в участке. Сделали доброе дело и проходите. Вы свободны! А будете восставать против существующих властей...

Как понять полицейскому, что нельзя любить родину через участок, как нельзя, например, целовать свою жену при посредстве околоточного надзирателя?

— Вот вы с нами знаться не хотите. А хорошие люди полицией никогда не брезгуют! — говорил писателю г-ну Тану полицейский в Саратовской, кажется, губернии, когда г-на Тана вел связанным в город.

Полицейскому участок кажется местом достопочтенным и лепообразным.

У полиции тоже есть патриотизм.

Это полицейский патриотизм.

— Любовь к участку.

И фон Плеве мог говорить с мефистофельской улыбкой:

— Кроме «общественно организованной» помощи, другой не желаете? Ее не будет.

И пусть раненые истекают кровью без помощи из-за вашей «политики». Любуйтесь.

Околоточные надзиратели часто любят носить мефистофельскую бородку.

Это придает им «блеску».

Фраза, которая звучит:

— И пускай человек среди улицы помирает. А публике скапливаться не дозволено.

«И пускай»...

Это «пускай» прозвучало недавно.

Не на одну Русь, а на весь мир.

В одном из заседаний министров,— цитирую по всем русским и иностранным газетам,— где шла речь об «излишествах в расстрелах», г-н Дурново воскликнул:

— Когда дом горит, о разбитых стеклах не жалеют!

Вот фраза истинного полицейского, в котором нет лукавства!

Что такое полицейский?

Один отставной губернатор рассказывал мне:

— Был у меня полицмейстер. Из той породы, которые называются «бравыми». Исполнителен и сама ревность. В городе большой пожар. Прибегает ко мне дама патронесса:

— Ваше превосходительство! Дом Силуянова в огне! Вы все можете!

— Какого Силуянова?

— Коровника. Молоко мне поставляет. Цельное, и честный человек. Единственный домишко, и не застрахован. Прибегает ко мне, как сумасшедший: «Просите его превосходительство, чтоб отстояли. Его превосходительство все может!» Пожарные у нас не на высоте. Ваше превосходительство, вы все можете!

Зову полицмейстера по телефону:

— Дом Силуянова!

— Слушаю. Будет исполнено.

— Отнюдь чтобы не сгорел!

— Рад стараться!

Сам на место полетел.

— Дом Силуянова?

Показывают,— прямо, среди пламени. Домишко деревянный.

— Все трубы сюда. Отстаивай!

— Помилуйте, где же отстоять? Сгорит!

— Знать ничего не хочу! Его превосходительство не приказал гореть.

— Может заняться!

— Ломай!

Силуянов в ноги:

— Не погубите! Нищим пойду!

— Ломай до основания! Бревна, доски в сторону тащи! Чтоб ни одного полена не сгорело!

Силуянов молит:

— Да что ж это? Да будьте же отцом родным!

— Молчать! Потом доски соберешь, опять выстроишь! Ломай!

И после пожара доклад мне:

— Истреблен такой-то район, кроме дома Силуянова, каковой огнем, согласно распоряжению вашего превосходительства, остался не тронут!

Силуянов потом прибежал:

— Все в щепки! Ваше...

Ну, нужно поддержать престиж власти:

— Ступай, братец! Нельзя же, чтоб ничего не сломалось даже. Благодари бога, что не сгорело.

К патронессам кинулся. Везде ему:

— Нельзя, мой друг, быть таким неблагодарным! Иди, иди! Для тебя сделали!

«Всякий престиж власти охранять должен».

Это не анекдот, это факт.

Что стекла!

Весь дом вдребезги! Но сказано, чтоб не сгорел, и не сгорит.

Оно, положим. Россия храмина такая,— всякий Самсон,— как не Самсон в басне Крылова,— «с натуги лопнет», прежде чем столбы раскачает.

Разрушить этот дом мудрено.

Но стекол набить. Так что потом долго жить будет нельзя. Так что долго будет не храмина, а мерзость запустения. Это можно.

«Полицейская рука».

Полицейские любят пойманному и не сознающемуся кулак к носу поднести:

— Могилой пахнет.

Гоголь еще в «Портрете» сказал:

«Полицейская рука так устроена,— до чего ни дотронется, все вдребезги».

Как ни велико сходство между двумя монетами с одного двора, двумя бывшими директорами департамента полиции Дурново и Плеве, но есть и большая разница.

Люди одинаковы. Положения разные.

При Плеве пожар охватил всю внутренность овина. Валил дым. Горело где-то внутри. Где? Везде. Но огня не показывалось.

И фон Плеве затаптывал горящий внутри овин и полицейским своим кричал:

— Топчи!

Затаптывал, сам все меньше и меньше веря, что затопчет. Но других мер не принимал, ибо по полицейскому складу ума других мер не знал, а по полицейской совести и не допускал.

— Мы — затаптыватели!

Затаптывал до тех пор, пока сам на своем затаптывательном посту не сгорел.

И. Н. Дурново позван в ту минуту, когда огонь выбился наружу и все в пламени.

Мне вспоминается сценка, виденная когда-то на пожаре в Москве.

Тоже был бравый полицмейстер.

Дом горел, как костер.

Полицмейстер, потеряв голову, летал от брандмейстера к брандмейстеру, от брандмейстеров к брандмайору, от брандмайора к брандмейстерам:

— Что ж вы не заливаете? Что ж вы? Сретенская! Сретенская! Качай! Сущевская! Где Сущевская?!

В толпе стоял мастеровой и курил цигарку.

— Брось! — налетел на него вдруг полицмейстер.

Мастеровой даже не понял:

— Чего-с?

— Пожар, а ты около куришь!

Полицмейстер развернулся.

Цигарка у мастерового полетела в одну сторону. Картуз — в другую. Сам мастеровой — в третью.

— Взя-я-я-ять! — раздался вопль, такой истерический, словно полицмейстера резали.

По всей стране стон стоит «от усердия»:

— Что ж это делается? Кого хватают? За что хватают?

— Тюрьмы переполнены!

— В больницы сажают!

— Скоро в женские институты сажать будут!

— Месяцами арестованных не допрашивают! Словно боятся: допросят, окажется, что ни за что!

— Людей самых умеренных цапают!

— Людей, которые даже на суде кричат: «Да здравствует манифест 17 октября».

Люди уж совсем не либерального образа мыслей вопят:

— Позвольте! Да ведь это же значит толкать в ряды революции самых умеренных!

— Что ж это такое?!

А мне вспоминается потерявший голову полицмейстер.

Тут пожар, а человек курит!

— Взя-я-ять!

Что ж полицмейстер может против огня?

Только рассердиться.

И потерять голову.

— Взя-я-ять!

72 тысячи по тюрьмам, больницам и прочим институтам.

Из них, наверное, 71 тысяча человек, которые виновны только в том, что курили во время пожара.

Вы скажете:

— Но ведь нельзя же сажать ни в чем не повинных людей?

Извините меня.

Полиция не суд.

Она не знает, кто прав и кто виноват.

— Не наше дело!

Она знает людей «запротоколенных» и «незапротоколенных».

— Незапротоколенного человека держать нельзя, а запротоколенного — сколько угодно.

Это азбука участка.

Составил протокол:

— А там разберут!

А сколько народу запротоколить?

Это зависит от усердия.

Мне вспоминается еще один факт, похожий на анекдот, потому что он случился с полицейскими.

Дело было, когда Дегаев убил Судейкина.

Дегаев скрылся. Исчез бесследно.

Тогдашнее министерство внутренних дел решило соблазнить всю Россию поступить в сыскное отделение.

Были отпечатаны и везде,— если помните,— развешаны плакаты с крупной надписью:

«10 000 тому, кто поможет задержать Дегаева, 5 000 — кто укажет его следы».

И тут же было приложено шесть портретов Дегаева: Дегаев с бородой, Дегаев с одними усами и т. д.

Недели не прошло,— в департаменте полиции...

Где получил государственное воспитание И. Н. Дурново...

Получается телеграмма.

Урядник из какого-то уезда Киевской губернии уведомляет:

— Честь имею донести, что пятерых Дегаевых задержал, а шестого имею в виду.

Вот это полицейское усердие!

Сколько «Дегаевых» сидит по всем институтам и сколько еще:

— Имеется в виду!

Много!

Даже урядник из Киевской губернии сказал бы про И. Н. Дурново:

— Их высокопревосходительство — господин усердные...

Из каких элементов состоит полицейская натура?

Прежде всего:

— Ничего не жаль.

Педагоги говорят про «глубокое воспитательное значение» их праздников древонасаждения:

— Кто сам хоть что-нибудь создал, тому жаль всего, созданного другими.

Человеку, который ничего не может создать, ничего не жаль.

Вы не понимаете.

Второй главный элемент полицейской натуры:

— Вера в то, что полиция все может.

Император Николай I, говорят, в минуту раздражения, воскликнул в каком-то университете:

— Кто будет читать философию! Вот!

И указал на исправника.

И исправник стал читать философию.

И бравому полицианту ни разу, конечно, не пришла в голову мысль:

— Может ли он делать то, что он делает?

Полицейский-то?!

Раз приказано?!

И тут есть полицейские святые.

Святой Аракчеев.

— Позвольте! — возразят.— Это уже мечтатель казармы!

Замечание, которое странно слышать, особенно в наши дни.

Далеко ли отстоит казарма от участка?

И не каждый ли день это расстояние уменьшается?

И существует ли оно еще?

Человек, в талье перетянутый, как оса. По форме! С лицом бульдога. С неподвижным взглядом очковой змеи. (Я пишу портрет Аракчеева!)

Его идеал:

— Тишина и спокойствие. Ранжир! Россия, превращенная в «военные поселения». Все по барабану в один час встают. Все по барабану в один час ложатся. Даже бабы в один час печи по барабану затапливают! И два ряда дымов, как две шеренги солдат, стройно поднимаются, вдоль улицы, к утреннему небу, как бы славя творца, подающего нам хлеб! И везде готовится одно и то же. Незачем тишину и порядок нарушать, в гости друг к другу ходить, в домах скапливаться!

Разве это не полицейский идеал?

Не идеал той полиции, которая теперь ежедневно по всей России ходит к обывателям на именины:

— По какому случаю сборище? По случаю именин?! Должны были предупредить полицию, что собираетесь быть именинником! Потрудитесь разойтись.

Аракчеев писал свой «приказ по бабам».

В военных поселениях:

— Што кагда стряпать.

«Впанедельник — гарох.

Ва вторнек — пахлепку.

Всреду — шти сгалавизнай»...

Говорят, приближенный осмелился его спросить:

— А если, ваше сиятельство, у кого головизны для штей нет?

Святой Аракчеев подумал три секунды и ответил:

— Драть!

Прикажите и сейчас сарапульскому, скажем, исправнику:

— Чтоб все обыватели по воскресеньям пекли и ели пирог с визигой.

И в ближайший понедельник из Сарапуля по телеграфу получится уведомление:

— Вчера пироги были выпечены по циркуляру. Лица, не имевшие визиги, заключены в тюремный замок. Жду дальнейших распоряжений, как с ними поступить: расстрелять или сечь.

И это, если сарапульский исправник — я не знаю, каков он там,— полицейский недостаточно исполнительный.

Исполнительный телеграфирует просто и кратко:

— Безвизижные расстреляны.

И в телеграммах «Российского агентства» мы прочтем умилительную телеграмму:

Сарапуль. Вчера, по случаю воскресного дня, впервые от сотворения мира улицы нашего города наполнились благоуханием. Попечением местного начальства во всех домах старательно выпечены пироги с визигой. Обыватели славят творца и исправника.

А ежели кто пирога с визигой не переносит?

Все равно, ел.

Через околоточного надзирателя ел.

— Потрудитесь принять в рот два куска!

— Не могу!

— Потрудитесь!

— Не могу!

— Сидоренко, разожми господину челюсти!

— Да я пощусь!

— Без разрешения полицейского начальства поститься не приказано. Сидоренко, нажми большими пальцами господину на суставы. Вот так! Теперь оботри господину губы салфеткой.

Но если это превышение власти?

Третий элемент, из которого составлена несложная полицейская натура:

— Сила отписки.

На этом стоит вся полицейская душа.

В этом все полицейское воспитание.

В этом воспитывал высшую полицию первый департамент Сената.

Градоначальник делал распоряжение.

Обыватель на это распоряжение жаловался в Сенат.

Только наивный обыватель!

Умудренный таких пустых бумаг не писал.

Он знал:

Бумагу, которую я напишу, Сенат пошлет «для дачи объяснения» градоначальнику. А уж что там градоначальник-то про меня в своем «объяснении» Сенату напишет,— это я не увижу никогда. Зачем же еще, чтоб меня пред сенаторами срамили?

Потому и ценились «дельные» правители канцелярий:

— Который отписаться умеет.

Приведу для наглядности пример.

Фирма «Князь Юрий Гагарин» в Одессе имела какой-то мелкий вексель на какого-то торговца.

По обычаю, взыскание по векселю было передано какому-то мелкому ходатаю, еврею, и, как всегда, чтоб избежать процедуры выдачи доверенности, вексель якобы был передан в собственность.

Поставлен безоборотный бланк.

— Взыскивай от своего имени.

Документ бесспорный.

Но у должника была рука в канцелярии градоначальника, тоже адмирала, г-на Зеленого.

Градоначальник вызвал поверенного к себе.

И документ оказался уничтоженным...

Фирма «Князь Юрий Гагарин» подала жалобу на градоначальника в первый департамент Сената.

— Градоначальник разорвал вексель, переуступленный фирмой такому-то. Какое же доверие будет к фирме, если векселя ее будут рваться?

Сенат препроводил жалобу градоначальнику для объяснений.

И «дельный» правитель канцелярии отписался.

К счастью, в Сенате, кроме сенаторов, есть и писцы.

Иначе простым смертным никогда бы не знать, что творится там, на этом Синае, за густыми тучами великой канцелярской тайны.

Ветреные писцы иногда раздвигают эти тучи, и тогда мы можем любоваться вершинами государственного управления!

Градоначальник, пером «дельного» правителя канцелярии, писал в объяснение «происшествия»:

— Неправда. Градоначальник никогда векселей не рвал. Дело было вот как. Зная должника за человека бедного, градоначальник призвал к себе владельца векселя, еврея такого-то, и мягко и кротко увещевал его повременить со взыскиванием.

Градоначальник Зеленый, мягко и кротко беседующий с евреем,— это должно было произвести сильное впечатление в Одессе!

И действительно:

Слова его превосходительства о бедственном положении должника настолько подействовали на держателя векселя, что тот не только решил отсрочить, но даже простить долг бедному должнику. И тут же, по собственному почину, разорвал вексель.

Взыскатель, рвущий векселя,— тоже явление очень обычное в Одессе!

И в результате такой идиллии — в объяснении спрашивалось:

— Чего же фирма «Князь Юрий Гагарин» жалуется? Она ведь ничего не потеряла: вексель принадлежал не ей. Кто мог бы считаться потерпевшим, если б он нашел какие-нибудь неправильности в действиях градоначальника,— так это еврей, держатель векселя. Но и его жалоба должна бы остаться без рассмотрения: пока фирма «Князь Юрий Гагарин» неправильно жаловалась в Сенат и шли объяснения, держатель векселя, единственный, кто мог бы жаловаться, пропустил законный срок для подачи жалобы на действия градоначальника.

И резолюция Сената:

— Жалобу фирмы «Князь Юрий Гагарин» оставить без рассмотрения, потому что, уступив вексель другому, она является к делу лицом непричастным. А от потерпевшего жалобы в законный срок принесено не было. Дело прекратить.

Такова сила «отписки».

В этом воспитана русская полиция ее «страшным (!) судьей»:

— Первым департаментом Сената.

И что ж удивительного, что бывший директор департамента полиции...

Не слышится ли вам той же «отписки» в инциденте, еще на днях разыгравшемся в приемной министра внутренних дел?

Представлялась какая-то депутация.

Кажется, конституционно-демократической партии.

И сделала заявление, что:

— Многие члены этой партии, самые невинные, подвергаются аресту. За что?

Г-н Дурново сделал удивленное лицо.

И заявил, что такие аресты производятся, конечно, без его ведома, он о них не знает, а когда узнает — немедленно отменяет.

Весь мир. Уместно ли тут говорить о цивилизованных?

Весь нецивилизованный мир знает, что у нас сажают людей и томят их в тюрьмах ни за что, ни про что.

Спросите у негра в Трансваале, у сингалеза на Цейлоне, у гавайца на Сандвичевых островах:

— Хватают в России кого ни попало?

Всякий оскалит свои сверкающие зубы и даже прищелкнет языком:

— О-го-го!

— Кто это делает?

— Мастэры полицие!

— Сам не читал,— слышал, как белые джентльмены в газетах каждый день читают.

И во всем мире один только человек об этом ничего не знает.

И какая роковая для нас случайность: этот человек — начальник русской полиции!!!

Не слышится вам в этом «отписки»:

— Да у меня и бумаг таких нету!

Хоть в столах во всех пересмотрите!

— Нет таких донесений. Значит, я ничего не знаю.

Не доказательство?!

Чувствует бывший директор департамента полиции, чувствует смущенной душой, что в воздухе пахнет чем-то новым.

Словно какое-то новое начальство народилось.

— Какой-то «второй первый департамент Сената»!

Общественное мнение.

Ему нужно отчет давать!

Судить!!!

И бывший начальник департамента полиции пробует и от общественного мнения бумагами отгородиться.

— Бумаг таких ко мне не поступало. Значит, не знаю-с.

Не прав?

«Жест страуса»!

Он даже трогателен в своей наивности.

Вот истинный полицейский жест!

Я говорю:

— Полицейский!

Потому что этим определяется все.

«Полицейский...» Это заслоняет все. И никакие личные качества, личные особенности не играют никакой роли.

Личные особенности!

В одном из южных городов я был свидетелем допроса погромщиков после еврейского погрома.

Погромщиков было задержано много. С допросом надо было торопиться.

Пристав,— статный мужчина, талья в рюмочку, усы в фиксатуаре стрелами, глаза навыкат, как у рака, Адонис полицейской красоты,— ходил по кабинету. На столе лежала нагайка.

Вводили задержанного.

— Как зовут?

— Иван Иванов!

— Чем занимаешься?

— В порту рабочий.

— Повернись спиной!

— Как?

— Спиной повернись, тетеря!

И пристав вытягивал его вдоль спины нагайкой.

Иван Иванов не своим голосом вопил.

Пристав, побив, говорит, показывая руку, убранную перстнями:

— У меня рука известная.

Иван Иванов весь корчился.

— Отпустить! Не погромщик. Следующего!

Входил следующий.

— Как звать?

— Сидор Сидоров.

— Занятие?

— В порту рабочий.

— Стань спиной!

И снова нагайка.

Сидор Сидоров вскрикивал. Но «не особенно».

— Как будто больше от неожиданности, чем от прочего! — как пояснял пристав.

Снова нагайка.

И снова:

— Нет достаточного звука!

Это пристав называл:

— Добывать из человека настоящий голос!

Пристав командовал:

— Рубашку снимай.

— Как?

— Рубашку снимай. Слышал?

Сидор Сидоров снимал рубаху и... оставался в другой.

— И эту снимай!

Сидор Сидоров снимал вторую, но под ней оказывалась третья. Дальше шли две-три вязаных фуфайки.

— Погромщик. В арестную.

— Помилуйте, ваше высокородие! Будьте милостивы! Какой я погромщик? Да не пальцем!.. Как перед истинным. Шел,— ребята бают, остановился посмотреть, меня вместе с другими и забрали. Ваше высокородие, явите начальническую милость!

— Пой! А «слоеный» зачем? Зачем столько рубах надел?

Сидор Сидоров несколько смущался.

Но находился:

— Ваше высокородие! Время праздничное. Второй день святой пасхи!

— Так в нескольких рубахах щеголяешь?

— Не то, а народ пьяный, ваше высокородие! Через это! Дома оставлять боязно. Того гляди, стащат! Безо всего пойдешь. Все на себя и надел, что было. Для безопаски.

— Мы эти речитативы-то слыхали! Прибрать!

И пристав самодовольно пояснял:

— Это обычная предосторожность. Практикой ихней выработано. Они, когда на погром идут, так нарочно на себя все рубахи, какие есть, надевают,— казаки хлестать будут, так чтобы не больно было! Я их «психологию» вот как знаю. Следующего!

Я попробовал заметить приставу:

— Но ведь то, что вы делаете, называется «пыткой при дознании».

Он посмотрел на меня с удивлением:

— Да разве они это понимают?

А в тот же вечер в ресторане я услыхал, что кто-то в кабинете пел:

Помолись, милый друг, за меня!

Пел с величайшим чувством:

Много в жизни пришлось мне?
Кружжиться...

Пел с выражением:

Не могггу я уж больше
Мммолиться...

Со слезой!

— Кто это у вас так надрывается? — спросил я у лакея.

Лакей осклабился:

— А это г-н пристав... Чудесно поют, хоть и по счетам не платят. Большое удовольствие!

И он назвал мне того самого пристава, который утром занимался в участке «психологией».

Пристав на следующий день сам «сознавался» мне:

— Слабость! Только и мечтаю,— вот все эти допросы кончу,— в Одессу поехать: г-на Фигнера в «Онегине» послушать. «Куда, куда вы удалились!» Ах!

Но добавлял:

— Хотя истинная моя симпатия... Не патриотично, может быть. Но итальянцы! Как, подлецы, поют! Арамбуро, например, мерзавец! «Лючию» или «La donna e mobile». Что ж это такое? Наши,— что поделаешь! Тужатся. А итальянец! Как птица, подлец, поет. Словно для своего удовольствия! Сам каждой нотой любуется! Свободно, легко. Истинное «бэль-канто» только у итальянцев и найдешь! Прямо скажу: только и живу, когда оперу слушаю. Да сам вот еще споешь. Сердце на волю отпустишь. Пусть полетает!

И чуть не со слезами на глазах пояснял:

— Мне бы по склонностям в консерваторию следовало. Может бы, мир чаровал. Да папенька был человек строгий: в участок в писаря отдал. Теперь бы и мог, конечно, учиться. Да поздно. Верхи тремолируют. Да и в среднем регистре провал. Служба. Стоишь на холоде у подъезда в театре и «до» теряешь. Разве эта служба для тенора? Следующий!

И человек с такими тонкими музыкальными вкусами был приставом. И каким!

Умен, нет, груб, жаден, жесток,— все это не играет ни малейшей роли.

Ложка, вилка, запонка, поступая на монетный двор,— все превращается в двугривенные.

И из человека, поступающего в полицию, вытравляется всякая лигатура и остается один чистый:

— Полицейский.

Щекотливый вопрос о личных качествах, достоинствах, недостатках тут можно оставить.

Надо заниматься, «говоря зоологически»:

— Видом, а не особью.

А каков человек? Кем он был раньше?

Возьмем Расплюева.

Расплюев «Свадьбы Кречинского» и Расплюев «Веселых расплюевских дней».

Бывший шулер.

Сам от полиции за диван прятался:

— Михаил Васильевич, полиция!!!

А поступил в квартальные.

Каким совершенным полицейским сделался!

Высшие административные восторги вкушать стал способен!

В административном экстазе восклицает:

— Всех! Всю Россию подозреваю!

Не самое ли современное полицейское рвение:

— Всю Россию подозреваю!

Хоть сейчас его!

Как скрипка в футляр войдет в наше время.

И если бы это не были «Веселые Малютины дни»,— как бы не назвать их:

«Веселыми расплюевскими днями».

Как происходит в участке это таинственное превращение человека в плоть и кровь полицейского?

Мистерия.

Иоги в Индии говорят, что чтение мыслей на расстоянии зависит от того, что мысль производит известные колебания в эфире, который находится между атомами воздуха.

— И человек, не потерявший такой чувствительности мозговой ткани, воспринимает эти колебания эфира и таким образом читает чужие мысли.

Мысли дрожат в воздухе.

И воздух полон мыслей. Они носятся в нем, как цветочная пыль весною. И оплодотворяют человеческие головы, как цветочные головки.

Поэтому иоги советуют:

— Каждый человек должен иметь в своем жилище такую светлую и приятную комнату, куда сначала он должен заходить в добром и приятном настроении духа, с легким сердцем. И предаваться там мыслям светлым и хорошим. Наполнять воздух добрыми колебаниями эфира и

дрожью ясных мыслей. Потом он может входить в эту комнату и тогда, когда ищет душевного покоя. Он заметит, как в этой комнате он успокаивается и становится лучше. Это добрые колебания эфира, которыми он наполнил когда-то эту комнату, сообщают его мозгу светлые и радостные мысли.

Иоги говорят:

— Так объясняется невольное благоговейное настроение, которое вас охватывает, когда вы входите в какой бы то ни было храм совсем чуждой даже для вас религии. И то ощущение безотчетной грусти, которое охватывает вас на кладбище даже чуждого вам племени. Как будто кто-то из ваших близких лежит здесь! Это разлиты в воздухе колебания эфира, дрожат мысли тех, кто здесь молился и рыдал. И вы думаете их мыслями!

И иоги считают поэтому храм, оскверненный насилием, более не храмом:

— В его воздухе остались и дрожат и заражают входящих мысли ненависти и зла!

Может быть, так же и в участке?

Полицейские колебания эфира?

Но чем бы раньше ни был и чем бы ни занимался раньше человек, войдя в полицию, он становится, как двугривенный на двугривенный, похож на всех полицейских, настоящих, прошедших и будущих!

И полицейский, который сказал бы: «Я выдумал нечто полицейски-новое!» — хвалился бы невозможным.

Ничто не ново под полицейской луной.

Еще на днях весь цивилизованный мир с содроганием от ужаса — ну, и от других, конечно, чувств! — прочел беседу одного из ревностнейших администраторов г-на Дурново с французским журналистом.

— Полиция, значит, не знала, что в Москве в декабре готовится вооруженное восстание? Не предупредила!

— Нет, знала заранее.

— Как же так? — стал в тупик французский журналист.

Администратор помолчал с минуту и ответил, как говорит журналист, потирая руки, «четыре слова»:

— On a laissé passer.

По-русски будет два слова:

— Допустили нарочно.

Всему миру показалось:

— Страшно.

Но полицейски старо.

Боже мой, как полицейски старо!

Покойный А. П. Лукин рассказывал мне как анекдот свою беседу с покойным Н. И. Огаревым.

Вы помните эту фигуру доисторического полицмейстера Москвы?

Грандиозные усы с подусниками.

«Старо-полицейские».

Какие и росли только у одних старых полицмейстеров.

Свирепое лицо, и добродушнейшее существо.

И при этом прост,— чтоб не сказать о покойнике иначе,— до анекдотичности.

В простоте душевной он говорил либералу-журналисту:

— Удивляюсь, все кричат: «Революционеры! Революционеры!» Боятся: «Баррикады!» Сразу можно со всеми революционерами покончить!

— Как так?

— Очень просто! Выстроить им баррикады. Полицейскими мерами! А как они на эти баррикады выйдут,— всех их и застрелить! И конец!

— Зачем же они тогда на баррикады пойдут, если будут знать, что их всех застрелят?

Бедный Огарев так и остался с открытым ртом:

— Н-да!

Видите,— мысль нова, как участок!

Только тогда можно было сказать:

— Зачем же пойдут?

А теперь пошли.

И огаревский анекдот превратился в факт.

И на том свете Огарев должен торжествующе спросить бедного Лукина:

— Что-с?

Если только даже на том свете полицейских и прочих людей держат в одном и том же месте.

«Витте и Дурново».

Это наши политические:

«Мюр и Мерилиз».

На наших восточных окраинах есть тоже такая фирма:

— Кунст и Альберс.

И владивостокская дама, в ответ на атаку моряка,— моряки на суше всегда победители! — говорит, потупляя глазки:

— Ах! Нет! Что вы? Конечно, я буду завтра в два часа гулять у могилы Кунста и Альберса. Но вы не вздумайте приходить!

«Могила Кунста и Альберса»,— так все и зовут.

Но кто в ней похоронен:

— Кунст или Альберс?

Не знает никто.

«Витте и Дурново».

Кто из них Мюр и кто Мерилиз?

Но это, как известно, было не всегда.

Граф С. Ю. Витте очень извинялся:

— Что же прикажете делать? По министерству внутренних дел масса бумаг. Все это знает один И. Н. Дурново. Надо было оставить его. А предложить ему меньше министра...

Г-ну Дурново надоело быть вечным:

— Товарищем.

Это что-то вроде вечной невесты!

Только швейцары в министерствах бессменны:

— Министры при нас меняются. Мы остаемся!

И предложить г-ну Дурново меньше министра:

— Было неудобно. Он бы не пошел.

Не особенно лестно!

И московская депутация выслушивала в конце октября это «душевное прискорбие» графа Витте со знаками сожаления.

С тех пор много воды утекло. Да и не одной воды...

Я не знаю, в какой форме граф Витте брал потом пред г-ном Дурново свои слова назад.

Да и предусмотрел ли Герман Гоппе в своем «хорошем тоне» такую форму.

— Как должен премьер-министр извиняться перед другим министром, по поводу вступления которого в министерство он выражал «душевное прискорбие» и дружбы коего он ныне ищет?

Вопрос политичный.

Но я знаю, что граф Витте совершенно напрасно извинялся тогда пред московской депутацией за г-на Дурново:

— Хоть и г-н Дурново, но будет хорошее министерство!

Это было логично. Естественно.

Больше:

— Неизбежно.

«Исторично».

В трудные времена всегда призывается министр из департамента полиции.

После смерти Сипягина момент был трудный!

Призвали фон Плеве.

После обморока — не смерти! — старого режима настал момент трудный!

Призвали Дурново.

— Что такое у нас полиция?

Еще Гоголь назвал русского полицейского:

— Дантистом.

Полицейское дело — дело хирургическое.

Что такое у нас полиция?

В старинных барских имениях всегда имелся:

— Домашний врач.

Полуконовал, полуцирюльник.

В общем:

— Фельдшер.

Лечил всех, от барыни до коровы.

Средство знал одно:

— Кровь отворить.

Лечил им от всего.

От завалов и простуды, колик и меланхолии.

Вежливенько наклонялся к уху, стараясь не дышать в лицо, и таинственно спрашивал:

— Стул имели?

— Нет!

Кровь отворял.

— О-го-го!

Тоже кровь отворял.

И барыня была в восторге от своего «домашнего».

— Лучше всяких ученых помогает!

Времена были простые, телятина хорошая, кур и масла вдоволь, солонина не покупная.

Барыня была, дай ей бог, упитанная,— и сколько Гаврилыч барыне кровь ни бросал,— как с гуся вода.

Бледнела, но жила.

Иногда приехавший на вскрытие «найденного по случаю храмового праздника мертвого тела» из города немец-доктор спрашивал помогавшего потрошить Гаврилыча:

— Разве так можн, Гаврилийш, баринин кроф без всякий счет бросайт?

Гаврилыч отвечал спокойно и твердо:

— Ништо! Новые мяса нагуляет!

И вот однажды матушке-барыне случилось худо совсем.

Не колики, не изжога, не ветры и не под ложечкой.

А совсем дрянь.

Окружающие робко советовали:

— Верхового бы в город послать. Доктор нужен!

Но барыня только отмахивалась:

— Ну их, ученых! Начнет еще мудрить! Гаврилыч на что? Позовите Гаврилыча. Пусть кровь отворит!

Гаврилыч пришел и, как всегда, кровь «бросил».

Но случай исключительный. «Бросил» больше.

А через три дня в горницах старого барского дома, кроме обычных тмина, аниса и мяты, пахло еще и ладаном...

И прискакавший «из губернии» двоюродный племянник...

Тетя умерла, не успела составить духовной и «упомянуть» двоюродного племяша.

Двоюродный племянник, прищучив Гаврилыча в темном углу, тыкал его «кавалерийским кулаком» в зубы:

— Ты что ж это, распроанафема? Тетеньку на тот свет отправил?!

А Гаврилыч в смущении чесал затылок и с тоской говорил:

— Мы что ж! Нешто наше дело! Мы — коновалы!

Полиция,— «дантисты»,— всегда была у нас своим, домашним, «симпатичным» средством.

Какими бы болезнями ни заболевало Российское государство:

— Полицию!

Раскол.

Трудный вопрос.

Богословских споров дело.

— Полицию!

И полиция знала одно средство:

— Бросить кровь!

— Двумя персты крестишься? Драть.

— По какому случаю брака избегаешь? А-а! Необходимых принадлежностей не имеешь? Драть!

— По «убеждению» в набор не идешь? Драть!

Аграрные волнения.

— Полицию.

— Кровь бросить!

Социализм.

— Полицию!

— Кровь бросить!

Полиция лечила от всего.

От малоземелья, от сомнений в церковных догматах, от фанатизма и увлечения «западными утопиями».

И все одним средством.

— Все дурная кровь-с играет. Надо ее «бросить»!

И вот настал, действительно, решительный момент.

Страна с трудом дышит.

— Знающих?..

— Ну их, этих ученых! Еще мудрить начнут!

Неизбежно!

Исторически неизбежно, чтобы призвали своего, «испытанного», Гаврилыча.

— Гаврилыч на что?

Всегда помогал. Во всех случаях.

И Гаврилыч знает одно средство:

— Кровь отворить!

Испытанное!

Всегда помогало!

Но ее столько «бросали», что теперь каждая капля на счету. Каждая капля нужна, чтоб за жизнь бороться!

Разве Гаврилыч знает медицину?

Отворил.

Случай исключительный. Значит, нужно «бросить» больше.

И когда через несколько дней Гаврилыч будет чесать в затылке:

— Нешто наше дело? Мы...

Его ли надо обвинять или тех, кто его призвал?

Тогда уж никакие извинения графа Мюра не помогут.

Великая в жестокости и страшная в нелепости своей царит над родимой страной богиня. Имя ей:

— Тишина и спокойствие.

Не глубокий, внутренний покой от довольства жизнью.

А только наружное «спокойствие».

— Пусть все молчат!

Чтоб можно было отрапортовать:

— Бо благоденствуют?

Ни звука!

— Рыдайте, но про себя.

Тишина кладбища, где тоже ни звука.

Богиня кладбища,— она распростерла свои крылья над живою страной.

Как индийская богиня Кали,— ее шея тоже украшена ожерельем из человеческих черепов.

Она выдумана полицией, и, выдумав ее, ее брамины, полиция, сами поверили в ее существование и в возможность ее пришествия на землю.

Ее храмы разбросаны всюду.

Ее капища — участки.

Ее брамины на каждом перекрестке.

И что такое бедный министр внутренних дел?

Ее первосвященник.

Первосвященник богини — мифа.

Первосвященник религии не существующей, ложной богини, пришествие которой на землю невозможно.

Какие бы гекатомбы человеческих жертв ей ни приносились с мольбою:

— Приди! Приди!

Которой пришествие в жизнь невозможно потому, что она приходит только к мертвым.

И даже если заживо заколотить живого человека в гроб, он и в гробу не будет выказывать «тишины и спокойствия».

Я видел ужаснейший из храмов богини Кали, которой приносились когда-то человеческие жертвы.

Старый Джейпур, в Индии.

Город среди скал.

Жители принесли в жертву богине все, что имели.

Покинули свои жилища и ушли.

Город пуст.

Ни шороха.

Среди скал груды развалин мертвого города.

И среди разрушающихся домов — капище богини.

Два звука.

Звон небольшого колокола, которым призывают внимание богини к жертве.

И предсмертный крик козы, которой отрубают голову, принося кровавую жертву каждое утро в капище богини, среди развалин мертвого города.

И богиня, шея которой украшена не козьими, а чело-

веческими черепами, с страшным и тупым лицом, имеет вид униженной и оскорбленной.

Вместо людей ей приносят в жертву коз.

Она побеждена временем.

И среди победного, мертвого молчания брошенного ей города она все же чувствует себя побежденной.

Я думаю, что в старом Джейпуре каждый полицейский сказал бы:

— Какая тишина и спокойствие!

И если бы они были пообразованнее, им снился бы в праздничных снах старый Джейпур.

Но им снится нечто более «праздничное»...

Напрасно все кругом говорят:

— Если так священна тишина,— вы кощунствуете. Этот треск пулеметов. Эти крики: «пли», «бей», «отворяй кровь»!

— Это начальственные звуки! Начальственные звуки тишины не нарушают!

Их особенность.

Околоточный кричит во все горло:

— Осади назад!

Это не нарушение общественной тишины и спокойствия.

Вы сказали ему так тихо, что он едва расслышал:

— Нельзя ли меньше толкаться?

— В участок!

Протокол:

— Вы нарушили общественную тишину и спокойствие.

Вот вам полицейский...

Что же это однако?

Я хотел, пользуясь случаем, что И. Н. Дурново сказал петербургским журналистам: «Можете судить меня как вам угодно!» — написать характеристику И. Н. Дурново, а написал этюд полицейской души?!

Думаю, что тот — кроме цензоров,— у кого хватит терпения прочитать статью с начала до конца, оправдает меня:

— Не все ли это равно?

ВИХРЬ

(Вчерашняя трагедия)

I

Петр Петрович чувствовал себя отвратительно.

Сегодня утром, за чаем, жена обратилась к нему с вопросом, который раздается теперь в каждом русском доме, в каждой русской семье, везде, где встретятся двое русских людей:

— Чем же все это кончится?

Петр Петрович вышел из себя.

— А черт его знает, чем это кончится. Что я, пророк, что ли? — крикнул он.

Да еще при детях.

Это было дико, «по-хамски».

Вставая из-за стола, Петр Петрович поцеловал Анне Ивановне руку несколько раз и пожал, словно прося прощения за безобразную выходку.

Но Анна Ивановна не сердилась.

Она посмотрела на мужа с глубоким сожалением.

И от этого сожаления Петра Петровича дернуло.

Бывали минуты.

Казалось, придется бросить все и эмигрировать за границу.

На сколько времени? Быть может, совсем, навсегда.

Но и тогда Анна Ивановна смотрела на мужа с верой.

Теперь с сожалением...

«Так сестра милосердия смотрит на тяжелораненого, про которого она знает, что ему умереть».

Петр Петрович чувствовал себя отвратительно.

Теперь он шел к жене поболтать, загладить утреннюю сцену.

Но из соседней комнаты услыхал голоса и остановился.

Ему не хотелось видеть посторонних. Не хотелось видеть никого.

Раздавался голос Анны Ивановны.

Она говорила нараспев, жалуясь, с глубоким страданием, то же, что говорят теперь в каждом доме, в каждой семье, везде, где соберется хоть двое русских:

— Что ж это такое делается? Что делается?

Раздался голос Марьи Васильевны.

Она говорила тоже нараспев и жалуясь.

Все говорили нараспев и жалуясь!

«Так говорят только после катастрофы. Когда все сгорело или умер близкий человек!» — с отчаянием подумал Петр Петрович.

— Не знаешь, куда деться. В деревне мужики, в городе какие-то черные сотни! — жаловалась Марья Васильевна.

— Газеты возьмешь, еще страшней! — запел и зажаловался третий женский голос.— Совсем война! Убит... убит... ранен... взрывом бомбы... два залпа... пять залпов... при помощи холодного оружия... действиями кавалерии... заключено перемирие... Ратификация мирного договора между татарами и армянами... Прямо с театра военных действий!

— Все поднялось, взбаламутилось,— заговорил четвертый женский голос,— муж говорит: «Не жизнь, а афиша какой-то феерии, в которой ничего не поймешь: народ, казаки, студенты, гимназисты, рабочие, татары, армяне, телохранители и прочие».

Разговор, как всякий русский разговор, и тяжелый и легкий, начинал, видимо, сбиваться на остроумие.

— Это, знаете, совсем напоминает бутылку квасу! — раздался вдруг молодой и веселый голос чиновника особых поручений Стефанова.

Петр Петрович даже с кресла поднялся, на которое было присел.

«Этот еще зачем у нас?!»

Все ему было противно в этом юноше.

И фамилия.

Степанов, который переименовал себя в «Стефанова».

— C'est plus noble! Лучше звучит.

И всегда радостный, веселый голос, что бы в губернии ни делалось.

В уезде «бунт». Двинулись войска. Губернатор едет:

— На этот раз показать действительно, что такое власть!

Все кругом в ужасе пригнулось, сжалось.

А «Стефанов» едет за губернатором и говорит тем же радостным и веселым голосом.

И до мерзости приличная фигура этого искательного юноши.

И тайная, робкая страсть, которою он считает обязанностью службы сгорать к губернаторской дочке.

Все.

Все противно, все отвратительно.

Петр Петрович чувствовал оскорбление, что Стефанов появился в его доме.

— Стефанов в доме Кудрявцева!

Это звучало дико.

Это заставляло Петра Петровича дрожать от обиды, от омерзения.

Все, что он ненавидел, соединилось в эту минуту в этом «мальчишке».

«Как его приняли? Как ему, ему в голову могло прийти явиться к нам?! До чего же, до чего же я дошел?!»

Стефанов говорил своим молодым, веселым, радостным голосом.

Повторял, вероятно, в пятидесятый раз «удачное» сравнение, в новом успехе которого заранее был уверен.

— Это совсем похоже на бутылку квасу, в которую пустили изюмину. Все заходило, зашипело, закипело, изюмина запрыгала, откуда-то пошли какие-то белые хлопья...

Петр Петрович, не помня себя, дрожа, боясь, что сейчас раздастся смех, шагнул к двери.

Войти.

«Я не позволю в моем доме сравнивать мою родину с какой-то дрянной бутылкой квасу. Как вы смеете, мальчишка, ругаться над родиной и шутить в эти минуты? Подшучивать над родной матерью в то время, как она, израненная насмерть, истекает кровью. Как ты смел делать это в моем доме? Вон, мерзавец!»

Петр Петрович уже взялся за портьеру, чтобы отдернуть.

Но остановился.

«Сделать скандал с мальчишкой! Только этого еще мне недоставало!»

Что же случилось? Как могло это случиться?

II

Он, Кудрявцев.

— Ваше имя — знамя! — сказал, весь дрожа от волнения, на одном из банкетов какой-то земский врач, которого он никогда не знал и не видывал раньше.

И эти слова были покрыты громом аплодисментов.

Все собрание, полторы тысячи человек, поднялось и стоя аплодировало Петру Петровичу.

Аплодировало десять минут.

Стоял сплошной, неумолчный треск.

Словно что-то рушилось. Словно трещали и ломались какие-то заборы и преграды.

Петр Петрович стоял, опустив голову, словно выслушивая приговор, обязываясь подчиниться ему.

Стоял не кланяясь, задыхаясь от поднимавшихся слез.

Повторяя всей восторженной, взволнованной, в какую-то недосягаемую, святую высь вознесшейся душой «Ганнибалову клятву»:

— Умереть, но не опустить знамени. Ни на вершок. Ни на четверть вершка. Чтоб никому, никому не показалось, что знамя поколебалось. Чтоб не раздалось крика ужаса одних, крика радости других.

Его душа «принимала святое крещение в вожди».

Так он определил потом в своих записках то, что пережил в эти минуты.

«Гражданин» звал его не иначе, как Равашолем.

Губернатор...

Губернатор, человек военный, говорил, что:

— Если б в Версали был дельный полицмейстер, никакой бы и революции во Франции не было. И Мирабо бы не пикнул.

Губернатор звал его «Мирабо».

И говорил о нем не иначе, как приходя в сильнейшее волнение и сжимая кулак, как «дельный полицмейстер»:

— Этот Мирабо у меня-с. Это слава богу, что у меня-с. Я вот его где держу. И посматриваю: тут ли? Да-с! Это — Мирабо!

Кажется, губернатор даже гордился, что именно у него «проживает» Мирабо. Как гордится участковый пристав, что у него в участке живет миллионер.

«Кудрявцев» — это стало именем нарицательным.

«Кудрявцевых у нас мало»,— писали одни газеты, когда решались рискнуть упомянуть его имя, вопреки циркулярам.

«Кудрявцевых развелось слишком много»,— писали другие газеты невозбранно, во всякое время.

А «Московские ведомости»...

Однажды, в одну из самых трудных минут, Петр Петрович с веселым, громким смехом вошел к Анне Ивановне с «Московскими ведомостями».

— Аня! Новость!

В то время в доме не одного Петра Петровича разучились смеяться.

Анна Ивановна смотрела на смеющегося мужа с удивлением.

— Грингмут советует меня повесить!

У Анны Ивановны мороз пробежал по коже:

— И ты можешь этому смеяться?

— А что же?

— Советы позволяют давать только те, которым в душе хотелось бы последовать.

— Бог не выдаст — Грингмут не съест!

И он вырезал рабочими ножницами Анны Ивановны статью «Московских ведомостей», чтобы наклеить ее, как документ, в ту книгу, которую он вел и которая называлась:

«Свидетелем чему господь меня поставил».

На первой странице этой книги было написано в виде предисловия:

«Обещаюсь и клянусь всемогущим богом показать перед будущим историком все, что мне известно по этому делу, одну сущую правду, ничего не утаивая, не оправдывая виновного, не обвиняя невинного, не увлекаясь ни дружбой, ни родством, ниже страхом, в чем мне господь правды да поможет».

В эту книгу он ежедневно писал все, «чему свидетелем господь его поставил».

Он начал вести ее с тех самых пор, как только-только начало начинаться «все это» и совесть, выпрямившись во весь рост, сказала властно и повелительно душе его:

— Иди!

И он вел свою книгу, свою летопись священно, религиозно, с благоговением, почти трепетом.

Даже смешное записывая и занося точно с благоговением:

— Каждый кирпич тут священный, из него кладется храм: история.

Еще в то время, когда на Руси царила «общественная тишина и спокойствие», было тихо-тихо, как бывает перед бурей, а дрожавшему от безысходного отчаяния сердцу с ужасом казалось, что тихо и темно, как ночью на кладбище,— речи Петра Петровича о попранных священнейших человеческих правах прокатывались по Руси от края и до края и среди беспросветного мрака сияли, как зарницы отдаленной, но уже идущей грозы.

Газеты торопились их воспроизвести, трепеща: вот-вот получится циркуляр:

— На основании статьи... воспрещается... перепечатка... обсуждение...

Цензура была строга к самому его имени.

Однажды к нему явился незнакомый ему человек, фельетонист местной газеты:

— Петр Петрович, что же это такое? До чего ж это дошло.

Фельетонист начал свою статью:

«Настала весна. Все закудрявилось. Кудрявые стояли березки. Кудрявые плыли по синему небу легкие белые облачка. Куда ни глянь кругом,— все в кудрях, все кудрявое. И веселые, как дети с голубыми глазами и кудрявыми льняными волосенками, кудрявые мысли наполняют даже самую облыселую, на обточенный бильярдный шар похожую голову».

Цензор вызвал к себе редактора по телефону поздно вечером:

— Немедленно!

Гранка была перечеркнута шесть раз.

Цензор кричал. И в его крике слышалась даже истерика:

— Я вам сказал, чтобы без аллегорий?! Я вам сказал?! Опять иносказательная литература в ход?! Подвести меня хотите?! Подвести?!

— Когда? Где?

— А это-с? А это-с?

Цензор комкал несчастную гранку, словно гадину, которая хотела его смертельно ужалить, но которую он поймал и убил и которая теперь безвредна.

— А это-с? Я сказал, чтоб никакой «весны» не было!

— Да ведь в апреле!

— Хоть бы в июле-с! По мнению вашего г. Васильчикова,— я знаю, кто пишет под именем «Юса Малаго»,— по мнению вашего г. Васильчикова, я дурак? Дурак? Да? «Все закудрявилось»? А? «Закудрявилось»? Так скажите ему, что, слава богу, не все еще «закудрявилось». Есть еще, слава тебе господи, головы и лысые и не лысые, у которых никаких «кудрявцевских» или, как он — скажите, какая тонкость! — изволит называть, «кудрявых» мыслей нету-с! А если у него «кудрявые» мысли, так пусть он для своих литературных прогулок подальше ищет закоулок. Поняли-с? Слышали-с?

— Прежде всего, позвольте! Зачем вы кричите?

— Ах, вам тон моего голоса не нравится? Вот как-с!

Да-с? Меня хотят куска хлеба лишить. На меня покушаются. Да-с! Покушаются! А я должен в ноги кланяться?! Отлично-с! Так вот что-с! Объявляю вам прямо-с! Категорически-с! Чтоб в вашей газете г. Васильчикова больше не было! Ни под «Юсом» ни под каким другим псевдонимом! Чтоб ноги его, чтоб духом его в редакции не пахло. Это мой приказ! Приказ! Понимаете, господин тонкого обращения? Приказ! Если же у вас г. Васильчиков будет хоть в качестве корректора,— я вам все статьи зачеркивать буду. Все! До одной!

— Но закон...

— Закон гласит: «Цензор, допустивший...» Вы меня, батенька, законами не пугайте! Законам меня не учить! Слышали? Не сметь учить меня законам! Не беспокойтесь!

И цензор перед самым носом редактора погрозил пальцем:

— Не беспокойтесь! Если я перечеркну что-нибудь... и даже зачеркну, чего зачеркивать не следовало... мне ничего не будет. А если не дочеркну, меня со службы вон-с! Поняли! Так уж лучше я перечеркну-с, чем не дочеркну. Можете идти!

— Однако...

— Убирайтесь!

Когда прошел слух...

Известие это появилось в иностранных газетах, где фамилию Кудрявцева безбожно перепутывали: во французских газетах называли то Кудринцев, то Кудряшев, в немецких больше Кудряшкевич, в английских — Кудряшинский... Хоть и под исковерканным именем, как всех русских деятелей,— Кудрявцева знала Европа.

Когда прошел слух, что Кудрявцева арестовали,— в университетах начались волнения. И Петр Петрович должен был напечатать в одной из газет, наиболее читаемых молодежью, какое-то письмо с благодарностью кому-то, за что-то, чтоб подать голос любящему и знающему его русскому обществу, что он жив, здрав и невредим.

В письме самое важное было за подписью:

«Город такой-то».

И русское общество, наученное, как никакое другое, особым образом читать газеты, поняло, что хочет сказать ему любимый и уважаемый общественный деятель.

И вздох облегчения вырвался из сотен и сотен, из тысяч грудей:

— Невредим!

Словно с театра военных действий весточка!

Уже несколько лет, как в доме Петра Петровича отдан приказ раз навсегда.

Какие бы телеграммы ночью ни приходили, не будить.

Утром почти каждый день,— иногда по нескольку сразу,— Петр Петрович читал, распечатывая:

— Собравшись... пьем... поднимаем бокал...

Из столиц, из губернских городов, со съездов, с годовщин, от корпораций, от частных людей, часто из таких трущоб, какие бог их знает, где и находятся.

Петр Петрович говорил с улыбкой на это вечное «пьем»:

— Пора бы и перестать.

Он замечал:

— Охота деньги тратить!

Но...

Теперь, когда он перестал получать телеграммы, когда они оборвались сразу, как по команде, он как-то с грустной улыбкой сказал Анне Ивановне:

— Телеграммы... Популярность — это как папиросы. Когда куришь, в сущности, никакого удовольствия не испытываешь. Не замечаешь даже. А как папирос нет,— чувствуешь ужасное лишение.

Если б не эта популярность...

Петра Петровича вызывали для внушения в Петербург.

Он должен был явиться к самому высокопревосходительству!

К самому крутому из высокопревосходительств.

— Вы позволяете себе...— начал, едва показавшись в дверях, его высокопревосходительство.

У Петра Петровича бросилась кровь в голову.

Ему представилась собственная фигура, которую он только что мельком видел в зеркале, проходя через переднюю.

Высокий, полный, представительный человек, с большой черной бородой, с сильной проседью, с благородным лицом.

И вот на него, большого, полного человека, с большою поседевшей бородой, с сильной проседью, с благородным лицом,— кричат, как на мальчишку.

Петр Петрович употребил все усилия, чтоб сдержаться. Не потому, чтоб он боялся сказать лишнее слово, а для

того, чтоб в спокойном состоянии ответить как можно обдуманнее и чтоб ответ был как можно сильнее.

Вдвоем, с глазу на глаз, он говорил, как будто их слушала вся Россия.

— Прежде всего, я позволю себе,— спокойным, ровным и благовоспитанным голосом прервал он его высокопревосходительство,— прежде всего, сказать вашему высокопревосходительству: здравствуйте. А во-вторых, позволю себе сказать вашему высокопревосходительству, что вам ложно донесли на меня.

— Как?!

— Да. Я не глухой. И со мной вовсе не нужно трудиться кричать.

Он сказал это спокойно, ровно, даже мягко, самым звуком голоса давая урок благовоспитанности.

Его высокопревосходительство потерял фразу, которой он приготовился начать.

Он отступил, окидывая Петра Петровича уничтожающим взглядом, который действовал всегда:

— Вы, г. Кудрявцев...

— Меня, ваше высокопревосходительство, зовут Петром Петровичем,— так же спокойно, ровно и мягко перебил Кудрявцев,— или, если вам угодно официально, то я имею право, чтоб меня называли «ваше превосходительство».

Его высокопревосходительство был окончательно выбит из тона. Он рассердился. Это было уж тоном ниже: он должен был гневаться, а не сердиться. Он приготовился быть гневным и страшным, а не сердитым.

Он разразился монологом, в котором выходил из себя все сильнее и сильнее, чувствуя, угадывая, замечая под густыми усами Петра Петровича улыбку.

И закончил монолог фразой, звучавшей совсем уже тривиально и не шедшей ни к месту, ни к лицу:

— Мы с вами не церемонимся!!!

— Я и не прошу церемониться со мной,— спокойно ответил Петр Петрович,— это вопрос воспитания. Но приходится поневоле церемониться с законом.

— С законом! — уже совсем крикнул его высокопревосходительство.

Петр Петрович улыбнулся уже открытой улыбкой, во все лицо:

— Это, говорят, ваше высокопревосходительство, на Сахалине тюремные смотрители выходят из себя, когда

каторжник скажет им слово: «закон». Но здесь, ваше высокопревосходительство, еще не Сахалин. Я не каторжник. Да и вы, ваше высокопревосходительство, не тюремный смотритель. «Закон» — здесь слово, которое я прошу слушать с таким же благоговением, с каким я его произношу!

С лица Петра Петровича исчезла улыбка.

Игра, которая его забавляла, кончилась. Он заговорил.

С изумлением слушал его высокопревосходительство слова, которые никогда не раздавались в приемной.

И, наконец, окончательно раздраженный, что все не удалось, что говорят ему, а не он говорит,— решил сразу оборвать Петра Петровича.

Но Петр Петрович понял готовящийся маневр и предупредил:

— Вот все, что я хотел сказать вашему высокопревосходительству! — сказал он с легким поклоном.

Это окончательно вывело его высокопревосходительство из себя.

— Хорошо-с! — сказал он, круто повернувшись на каблуках, и пошел.

Петру Петровичу захотелось пошутить.

— Ваше высокопревосходительство, позвольте добавить еще...— просящим тоном сказал он.

Его высокопревосходительство при просительном тоне машинально приостановился.

— Что еще?

— До свидания!

В ответ был такой взгляд...

— Прощайте-с!

И слышно было, как хлопнула дверь даже в другой, соседней комнате.

— Я никогда не видал, чтобы человек был так великолепно взбешен! — со смехом рассказывал приятелям в номере гостиницы Петр Петрович.— Совсем бенгальский тигр!

— А результат? — спрашивали приятели.

Результат,— на какую бы должность ни избирали Петра Петровича,— раз должность требовала утверждения, его не утверждали.

— Мирабо неподвижен. Ни шагу! Ни взад, ни вперед! — торжествуя, говорил губернатор.

А Петр Петрович говорил в сознании своей силы:

— Обреченный на ничегонеделанье, я делаю больше.

Если я,— я! — ничего не могу делать, это говорит сильнее всяких дел и слов. Это ясно и понятно каждому, как иллюстрация. Это производит гораздо сильнее впечатление. Передайте, что после каждого неутверждения я получаю в десять раз больше телеграмм! — просил он, чтобы позлить губернатора.

И вот теперь в его гостиной, в доме Кудрявцева, сидит чиновник особых поручений Стефанов и чувствует себя, как у своих, как дома, и сравнивает, у Кудрявцева в доме, сравнивает Россию с какой-то бутылкой кваса.

Что же случилось? Как это случилось?

III

— Задуло! Начинается бурно! — заметил кто-то из собравшихся на совещание.

В огромной передней старого барского дома шумели.

— Прежде всего, господа, почему нас держат в передней? — обратился к толпе истерический голос.

— Да-с! — и перед хозяином дома вырос здоровенный техник, широкогрудый, в синей рубашке под расстегнутой тужуркой.— Перед вами интеллигентные люди, представители общества, учащаяся молодежь, сознательные рабочие, представитель печати, дамы, наконец. Вы можете разговаривать в передней с просителями на бедность. Да-с! Мы явились не за подачкой. Да-с! Мы явились требовать того, что нам принадлежит по праву. Да-с!

— Совершенно верно! — раздалось несколько голосов.

— Совершенно верно! Верно! Верно! Совершенно! — закричала вся толпа.

— Ваше поведение, г. Семенчуков...

Семенчуков, хозяин дома, смешался:

— Извините, господа... Я к вам вышел... Прошу вас в гостиную. Но я должен предупредить, что это... это не согласие на ваше присутствие в собрании. Это для переговоров. Собрание, повторяю вам, предварительное, частное. Я решительно не понимаю, при чем здесь посторонняя публика, дамы...

— Разве собираются рассказывать неприличные анекдоты, что дамам нельзя присутствовать? Да? — воскликнул репортер.

В публике засмеялись.

— Это частное совещание, повторяю вам,— продолжал

хозяин дома,— земских деятелей, городских, приглашенных лиц.

— Вопрос о Государственной думе не может быть делом частным! Это не вопрос об именинном пироге. Дело общественное! — прокричал из толпы безапелляционный голос.

— Опять канцелярия! И тут тайна! — раздался даже с отчаянием грубый голос, вероятно, рабочего.— Чем же это лучше?..

— Вы начинаете требовать свободы слова, печати, собраний с того, что воспрещаете гласность! Очень хорошо! — зазвенел опять голос репортера.

— Это ваш первый экзамен! — крикнул женский голос.

— Вы срезались!

— Ловко! Недурно! Очень хорошо, господа!..

— Господа! Он нас ставит виновниками! Он нас ставит перед общественным мнением...— бегал среди собравшихся на совещание Семен Семенович Мамонов, бывший предводитель.— Он ставит наш бланк на своем запрещении. Согласитесь, что это...

— Перепугался? — улыбнулся Петр Петрович Кудрявцев.

— Я всегда привык уважать общественное мнение,— огрызнулся Мамонов.— Я не околоточный надзиратель, чтобы держаться мнения: «Тащи и не пущай».

— Да и я, надеюсь, не околоточный. Ты просто говоришь глупости с перепугу перед незнакомым дядей: общественным мнением! — махнул рукой Петр Петрович.— Не волнуйся. Дядя не такой сердитый: за всякий пустяк тебя в мешок не посадит.

— Господа! Но поймите! Собрание предварительное! Предварительное! — надрывался в гостиной хозяин дома.

— Довольно-с! — загремел вдруг техник в синей рубахе.

Лицо у техника пошло красными пятнами от волнения. Он весь дрожал от негодования.

— Товарищи! Прошу слова!

Все стихло.

— Довольно-с! — гремел техник.— Мы не желаем выслушивать готовых решений в ваших «публичных собраниях». Да-с! Вердиктов, которые «кассации и апелляции» не подлежат. Мы сами хотим участвовать в приготовлении наших судеб. В этом вся цель движения. Делайте общест-

венное дело на наших глазах, под общественным контролем. Нам не надо спектаклей-с, комедий-с, разученных, срепетированных при закрытых дверях. Обсуждать дела такой важности, как отношение к этой самой Государственной думе, при закрытых дверях,— это кража у общественного контроля!

— Браво!

Гостиная огласилась аплодисментами.

— Но, господа! — Семенчуков был уж весь в поту.— Ведь это же только совещание нашей, местной группы! И притом частное, предварительное!

Мы желаем, чтобы местная группа отразила местные взгляды!

— Высказывайте ваши взгляды публично! При нас!

— В частном доме! Поймите же, в частном доме! — уже хрипло кричал Семенчуков.— Господа, уважайте хоть вы неприкосновенность частного жилища!

— Господа! — какой-то молодой человек выскочил вперед и замахал руками.— Тссс... Слова! Слова!

Среди наставшей тишины он заговорил голосом, дрожащим от волнения, от негодования:

— Господа! Постановим резолюцию: г. Семенчуков ставит вопрос о том или другом отношении к Государственной думе... о том или другом отношении со стороны общества... «своим», частным, домашним делом. И другие господа, называющие себя либералами, радикальными деятелями, вполне с ним согласны!

Раздались аплодисменты. Раздались протесты:

— Нет! Это неправильно! Так нельзя! Мы должны спросить мнения остальных!

— Предложить им сначала оставить дом г. Семенчукова,— и тогда...

Толпа двинулась в зал.

— Вы не смеете нас остановить! Мы должны объясниться! Такой вопрос!

— Господа, констатирую,— загремел голос колоссального техника,— что всякое воспрещение нам войти в зал будет мерой, носящей полицейский характер.

— Насилие!

— Дворников! — раздались насмешливые голоса.

— Остановите силой! Зовите.

Семенчуков весь в поту отступил в сторону.

IV

В то время, как в гостиной шла вся эта сцена, Мамонов, Семен Семенович, в зале не говорил, а почти кричал, стоя поближе к дверям, чтобы слышно было в гостиной.

Петр Петрович глядел на него с добродушной улыбкой:

— Вытянулся! Как лошадь на финише. В первые радикалы идет! Спортсмен!

Мамонов кричал:

— Я не понимаю, господа! Почему же? Конечно, впустить! Чего бояться? Собрались на частное совещание, а выйдет нечто большее! Получится грандиозный митинг! Великолепно! Постановим резолюцию!

— Разумеется, допустить! — все с той же добродушной улыбкой говорил Петр Петрович, стоя в группе собравшихся, обсуждавших вопрос, сделать ли совещание неожиданно публичным или нет,— пусть займут места, аплодируют, свистят, пусть даже говорят! Если бы от меня теперь потребовали, чтобы я и обедал публично, в присутствии учащейся молодежи, сознательных рабочих и вообще интеллигенции обоего пола,— я бы и в столовую к себе пустил эту милую молодую толпу. Пусть свищут, как я ем рябчика! Может быть, поаплодируют, что я ем борщ с кашей! Медовый месяц политических речей, резолюций. Гласности на каждом шагу. Как молодые на каждом шагу целуются. Я очень люблю, когда молодые в медовый месяц много целуются. Это хорошо!

— Не узнаю я тебя, Петр Петрович! — сказал раздраженным тоном Мамонов.— Положительно, не узнаю сегодня. Словно тебя подменили. Как ты можешь!

— Да ты про что? — улыбаясь, обернулся к нему Петр Петрович.— Ведь я за то, что и ты кричишь. Чтоб впустили!

— Вообще...

Семен Семенович слышал слова Кудрявцева о спортсменстве...

— Вообще не понимаю, как ты так можешь... Вопрос поставлен слишком принципиально. Да и вообще! Вместо частного у нас получится общественное собрание! Мы постановим резолюцию!

— Ну да! Ну да! — тоном все того же добродушия продолжал Петр Петрович.— Вместо того, чтоб обсуждать, рассуждать, выкрикнем: «Прямой, равной, тайной подачи

голосов». Кто-нибудь предложит эту «резолюцию». Кто против нее? Вот и весь результат совещания! Тогда нечего советоваться! Не о чем думать, говорить, спорить! Все на этом пункте согласны! Достаточно собраться, крикнуть хором,— как солдаты кричат: «Рады стараться!» — «Всеобщей, прямой, тайной подачи голосов» — и разойтись. Дело сделали! И в десять минут!

— Ну да! Ну да! — наскакивал Семен Семенович.— «Всеобщей, тайной, равной подачи голосов». А ты, что же, против этого? Ты против?

— Ты, мой друг, хорошему самовару подобен! — улыбаясь, отступал от него Петр Петрович.— Мы ведь тебя знаем. Ты как «поставил» себя лет двадцать тому назад, так и не прокипаешь. То ты кипел, что все зло России в золотой валюте, и от всякого встретившегося и подвернувшегося требовал серебряной валюты. То вдруг закипел, что вся гибель России от необразования. И всех, как паром, шпарил: «России нужны школы! России нужны школы!» Так что от тебя знакомые бегать начали. Вдруг ты при них этакую Америку откроешь! Каждому человеку обидно, если ему такую вещь, как для него новость, сообщают. То вдруг про народное образование, слава богу, забыл, но зато про тотализатор вспомнил: «Уничтожить тотализатор!» И чтобы завтра же у тебя, чтоб все завтра до полудня было. Теперь ты «всеобщей, тайной, прямой подачи голосов» с таким же жаром требуешь, как вчера только закрытия тотализатора. Это, конечно, очень похвально с твоей стороны. Что ты такой хороший самовар! Но только зачем же ты на людей наскакиваешь? Поверь, ей-богу, не хуже тебя знаю, что Монт-Эверест — самая высокая гора в мире...

— Чимборазо! — со злостью крикнул Семен Семенович.

— Ну, извини, Чимборазо. Но я ведь не бегаю, не брызжу слюнами, не кричу на истошный голос: «Чимборазо — самая высокая гора на свете!»

Все кругом улыбались.

Улыбался и Петр Петрович, но почему-то — почему, он сам не знал — опасливо посматривал в сторону, где сидел новый человек из губернии — Зеленцов.

Зеленцов, человек с большой кудрявой головой, с кудрявой бородой, с пасмурным лицом, в очках, не улыбался.

Он, не отрываясь, медленно пил стакан чаю и, не отрываясь, пасмурно глядел в упор на Петра Петровича.

И от этого взгляда — он сам не понимал почему — Петру Петровичу становилось неловко.

Его почему-то как-то волновал Зеленцов.

— Ну да! Ну да! Смейся! — размахивал руками Семен Семенович.

— Да я не сержусь на тебя! — с улыбкой сказал Петр Петрович, чтоб сгладить резкость отзыва.— Не сержусь, что ты на меня так наскакиваешь. Я знаю, что ты парень хороший и убеждений держишься всегда самых лучших,— первый сорт убеждений! А налетаешь на меня, чуть не городовым обозвал,— просто... вихрь! В вихре ничего не разберешь. Родного брата не отличишь!

— Нет, ты не сворачивай! — кипел Семен Семенович.— Ну да! Ну да! Выкрикнем по-твоему: «Всеобщая, прямая, тайная подача голосов!» Надо же знамя выкинуть! Прямо! Открыто!

Петр Петрович сделался серьезен, и в голосе его послышалась строгость:

— Семен, не играй знаменами! Ты сам бывший военный!

— А это не знамя? Это не знамя?

— Я не хочу только, чтоб знамена превращались в простые затасканные тряпки. Знамена хранятся бережно, и их не таскают «завсегда просто», как говорят в Сибири. А если ты каждому солдату дашь по знамени, чтоб он с ним вечно по улице ходил,— тогда знамени будет такая же честь, как барашковой шапке. Не больше. Понял? «Всеобщая, прямая, тайная подача голосов» — это голос общества? Да? Ну, так и голос общества, словами Пушкина, «звучать не должен по-пустому». «Христос воскресе» говорят на Пасхе, потому оно величественно и радостно. А если ты будешь к каждому слову пристегивать, оно будет звучать буднично и, в конце концов, даже пошло. Да! Пошло. Самые лучшие арии становятся величайшей пошлостью, когда их начинают играть все шарманки. «Всеобщая, тайная, прямая подача голосов» — это большие, могучие слова. Я боюсь, чтобы от беспрестанного, ни к селу ни к городу, «призывания их» они не обратились, в конце концов, в такую же ничего не обозначающую фразу, как была: «все обстоит благополучно». Кто верил, кто обращал даже внимание, когда слышал: «Все обстоит благополучно». Я боюсь, чтобы и эти слова не стерлись, не обесценились, как золото от слишком большого обращения. Чтобы, слыша их, уже ничье сердце не загоралось

больше ни надеждой, ни страхом. «Это так! Это уж такая форма!» Чтоб они не превратились в «формальность». Я, помню, был как-то в Нижнем, на ярмарке. В то время в большой моде был «марш Буланже». Никуда от него не убежишь. Везде играли. Так вот, в саду каком-то пьяный купец сидит за столиком, положил голову на руки и спит. Гулянье кончилось. Оркестр какой-то финальный галоп играет. Лакей со счетом купца будит. «Проснитесь, господин, по счету платить надо. Музыка кончает». Купец поднял голову, обвел кругом мутным взглядом, прислушался к музыке. «Опять про Буланже!» Положил голову на руки и заснул. Вот я и боюсь, чтоб русское общество, русский народ, услыхав от какого-нибудь съезда, от какого-нибудь собрания, как вопль души вырвавшийся, эти слова, до того уж не привыкло бы к этой «формальности», что не сказало бы «опять про Буланже» и не заснуло бы.

У Петра Петровича прошло все раздражение. Он снова говорил со своей добродушной улыбкой:

— Что это, на самом деле? Ногу зашиб,— болит. Зовешь доктора. «Вот, доктор, ногу о мостовую зашиб, что пропишете?» — «Для вашей,— говорит,— ноги,— многим нужна всеобщая, прямая, тайная подача голосов».— «Это как?» — «А очень,— говорит,— просто. Удивляюсь, как вы этого не понимаете. Вы обо что ногу зашибли? О мостовую? А мостовыми кто заведует? Дума? А может теперешнее обкорначенное городское самоуправление что-нибудь делать? Нет! А кто может поставить городское самоуправление в широкие, ему надлежащие рамки? Единственно — Государственная дума, избранная на началах всеобщего, равного, прямого, тайного избирательного права. И выходит, что без прямой, тайной и равной подачи голосов так вам весь век и хромать!» Ну, думаешь, лечиться теперь трудно, займусь хоть делами на досуге. Дела приведу в порядок. Идешь к адвокату. «Вот у меня тут тяжба с соседом. Из-за клочка земли. Присвоил».— «Понимаю-с,— говорит,— но, извините, ничего поделать невозможно. Тут нужна прямая, тайная и равная подача голосов! Ведь у вас спор какой? Земельный? А земельные споры из-за чего? Из-за полной неясности и спутанности земельных законов! Кто же может дать стране, стране земледельческой по преимуществу, ясные, определенные, рациональные, вполне отвечающие запросам жизни земельные законы, как не Государственная дума, избранная на началах тайной, равной, прямой подачи голосов». Вот ведь

до чего дошло! Околоточный на днях заходит какие-то казенные получения получать. По обычаю всех околоточных надзирателей, с «просвещенным человеком» в либеральный разговор вступает. На службу жалуется. «Трудна,— спрашиваю,— теперь ваша должность?» А он мне пресерьезно: «Необходима,— говорит,— скажу вам, прямая, тайная и равная подача голосов!» — «Вам-то,— спрашиваю,— зачем?» — «Помилуйте,— говорит,— теперь все кричат: прямая, тайная, равная подача голосов. Мест для заключенных не хватает. Все переполнено. В участок не успеваешь таскать. Дали бы им прямую, равную, тайную подачу голосов,— все бы работы меньше было».

Кругом засмеялись.

— Может быть, все это и очень остроумно! Может быть, с точки зрения, значит, околоточного надзирателя, это и справедливо...— раздался вдруг негромкий, но твердый голос.

Перед смеявшимся Кудрявцевым лицом к лицу стоял кудрявый Зеленцов и через очки смотрел в упор на него с ненавистью, с побледневшим лицом.

Зеленцов заговорил.

Все забыли даже о шуме в гостиной и столпились вокруг.

Зеленцов не был, собственно, совсем новым человеком в губернии, но он долго отсутствовал. В разговоре он беспрестанно вставлял слово «значит»,— привычка, которую приобретают почему-то все люди, долгое время прожившие в Восточной Сибири.

Зеленцов начал тихо и как будто немного волнуясь, но с каждым словом голос его звучал тверже, громче.

Это был один из тех голосов, в которых звучит что-то властное, которые невольно заставляют затихнуть и слушать.

А в упорно устремленном в глаза Кудрявцеву взгляде Зеленцова с каждым словом все сильнее и сильнее разгоралась ненависть и даже — вздрогнул Петр Петрович — презрение.

— Все это, повторяю, может быть, и очень остроумно, что вы и, значит, околоточный надзиратель изволите говорить. Но у нашей армии один пароль: «Всеобщая, равная, прямая и тайная подача голосов», и один, значит, лозунг: «Свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности». И иначе быть не может. Нет двух паролей и нет двух лозунгов. И, значит, не может быть. Мы стоим

с бюрократией лицом к лицу и кричим ей наш пока боевой клич. Но мы сделаем все, чтоб он был и победным. Нас спрашивают: «Из-за чего вы встали? Из-за чего вы поднялись?» И мы каждый раз отвечаем одно и то же. Бюрократия отступает частично, значит, отступает.— «Да вот мы посторонимся. Можно мирно. Зачем так?» Но мы наступаем грудью. Мы требуем: «Вот что нам нужно». И, значит, повторяем. Бюрократия обращается к той, к другой, к третьей нашей армии, к тому, другому отряду: «Господа...» В ответ ей мощный, значит, крик: «Свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности и в этих условиях всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосов». Всякий отряд, всякая, значит, рота, всякий взвод хочет того же, чего вся армия. Никто, нигде не сдается. Напади хоть на одного,— он крикнет: «Свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности и в этих, только в этих, значит, условиях всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосов!» Крик одного,— крик всей армии. Отступления нет! Отступление есть только для противников. Вы сказали, значит: «Христос воскресе». А это наше «верую». Это наше «Отче наш». Но читают «Отче наш» одинаково. И надо, чтоб все знали этот символ нашей веры, как «Отче наш». И, повторяя, мы вырезываем в умах это. Как, значит, Моисей вырезал на скрижалях завета. Неизгладимо! Чтобы, значит, если человека разбудите сонного,— кого бы вы ни разбудили в стране,— и спросите его: «Что делать?» — Он ответил бы вам: «Свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности и в этих условиях всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосов». Как прочтет вам, значит, среди ночи, спросонья, еще не придя в себя, человек «Отче наш».

— Браво! Браво! Превосходно! — прервав, крикнул Семен Семенович Мамонов и бросился жать руки Зеленцову.

Тот почему-то отстранился.

— Браво! Верно! Хорошо! — раздалось среди слушателей, которые только что смеялись рассказу Петра Петровича.

В эту минуту в зал шумно вошла толпа из гостиной.

— Что делать, господа? Как решите? — растерянный, подбежал к собравшимся на совещание хозяин дома.

— А! Не скандал же затевать! — раздраженно воскликнул Петр Петрович,— его всего дергало.— Пусть Се-

мен объявит им, чтоб оставались. Это доставит ему удовольствие!

— Отлично!

И Семен Семенович, стоя перед взволнованной толпой, вошедшей из гостиной, уже говорил:

— Совещание решило... Господа, наш любезный амфитрион, Николай Васильевич Семенчуков, не имеющий других желаний, кроме того, чтоб предоставить собравшимся работать при наиболее желательной для них обстановке... спросив их предварительно, как подобало хозяину дома... да... всецело присоединяется к выраженному собранием желанию допустить... то есть, я хочу сказать, сделать собрание публичным... Мы постановим резолюцию, но не прежде, конечно, как исчерпав вопрос и с достоинством... да... приличным поборникам свободы, выслушав все мнения «за» и «против»... Итак, господа, соблюдая все правила, которые предписывает нам оказанное нам гостеприимство, и поблагодарив за него нашего доброго хозяина, приступим к предмету совещания.

Раздались аплодисменты.

— Поздравляю! С успехом! — сказал, проходя мимо, Петр Петрович.

Но улыбался он теперь криво и сказал это не добродушно, как всегда, а со злобой.

— Председателем, господа,— воскликнул Семен Семенович,— мы изберем нашего же любезного хозяина! Просим!

Раздались жидкие аплодисменты.

Семенчуков конфузливо улыбался, поклонился на одну сторону, на другую.

Но отпил воды, поднялся, и голос его прозвучал твердо и торжественно:

— Предмет совещания — отношение к Государственной думе.

V

— Прошу слова!

Петр Петрович решил «принять сражение» и поставить вопрос ребром.

Он начал, волнуясь.

Публика, среди которой уже разнеслось, что Зеленцов «срезал» Кудрявцева, превратилась во внимание:

— Господа! Есть три отношения к Думе: бойкот, по-

пытка превратить ее сразу в Учредительное собрание, принятие на известных условиях Государственной думы такою, какова она есть. Чтоб решить, какое отношение выбрать нам, поставим кардинальный вопрос: что такое Государственная дума, объявленная манифестом 6 августа? Я говорю: это — победа. Это грандиозная, это колоссальная победа! Это окончательная победа!

Публика всколыхнулась.

Кругом было удивление.

— Да. Это решительная победа! И все, что мы получим затем, будет только контрибуцией за эту победу! Все победы, которые мы одержим потом, будут только логическим, неизбежным следствием этой главной победы. Это мой тезис.

— Блажен довольствующийся малым! — раздался голос около Зеленцова.

Это был Плотников, маленький, черненький человек.

«Зеленцовский подголосок! — подумал, презрительно скользнув по нем взглядом, Кудрявцев.— Этот будет меня травить и «выгонять», а Зеленцов брать на рогатину!»

Это сравнение себя с медведем придало силы Петру Петровичу.

Он чувствовал себя действительно медведем, огромным, могучим.

Кудрявцев говорил «одну из своих речей».

— Я знаю возражение. Сорок восемь тысяч избирателей из ста сорока миллионов народа — это действительно гора, которая родила мышь. Право советовать без уверенности, что будешь услышан, это небольшое право.

— Блажен довольствующийся малым! — повторил Плотников.

Зеленцов обернулся к нему — словно:

— «Молчи»!

— Но, господа, допустим и это. Бюрократия пошла на уступку. На маленькую уступку. Она напоминает гимназистку, которая в диктанте не знает, поставить запятую или не поставить. Она колеблется, не решается и, наконец... ставит маленькую запятую. Нет, моя милочка! Нет ни большой, ни маленькой запятой. Есть запятая. Она поставлена! И бюрократия, ставя «маленькую запятую»...

— Теперь вряд ли время рассказывать анекдоты! — зазвенел негодующий голос Плотникова.

Раздались аплодисменты.

Председатель звякнул колокольчиком.

Петр Петрович встряхнул головой и повернулся в сторону Зеленцова с негодованием:

— Русская речь обвыкла украшаться улыбкой. «Улыбка красит лицо свободного»,— говорили еще древние. Вспомните Герцена, если вам угодно: «В смехе есть нечто революционное...»

При этих словах он слегка поклонился Зеленцову.

«Смеются между собой только равные. Крепостные не смели смеяться при господах» — это сказал Герцен.

— Мертвых, значит, пришлось призывать на помощь! — буркнул Зеленцов.

В публике засмеялись.

— Вы уверяете,— вспыхнул Кудрявцев,— что мы ничего не сделали, добившись такой «Государственной думы»! Ничего? Но, господа! Вы сейчас сидите и рассуждаете совершенно спокойно. А мы ехали в ноябре прошлого года в Петербург, не зная, вернемся ли. Если бы не было ноября, не было бы ни августа, ни сегодняшнего дня!

— Что это! Попреки? — поднял голос Зеленцов.

— Святое воспоминание. Воспоминание, которое свято для меня. Да, господа, уезжая в Петербург, мы прощались с семьями. Мы съехались, разные люди. Среди моих знакомых был человек, который уверял... Настоящий русский дворянин, в коем нет лукавства. Во всей истории знающий только французскую, воспитанный на декламации «Comedie Française». Он всю дорогу уверял меня...

У Семена Семеновича при этих словах голова ушла в плечи.

— ...что мы должны разобрать между собой фразы национального собрания. Он брал себе:

«Nous sommes içi par la volonté du peuple, et nous ne sortirons, que par la force des bagnettes [1]. Как он произносил эту фразу! Мунэ-Сюлли! Словно собрались играть эффектную пьесу перед битком набитым театром. Для него все игра. Накануне он пригласил меня ужинать с шампанским: «Быть может, в последний раз!» Я назвал это «последним ужином жирондиста». Он сделал вид, что обижается на мой смех: «Тебе все шутки!» Но был в глубине души очень польщен «жирондистом». Какое было настроение? Когда, во время прений, он перебегал от одного к другому: «А? Совсем готовые ораторы! Совсем готовые!

---

[1] Мы здесь по воле народа, и нас можно выгнать отсюда только штыками.

Речи русского парламента будут телеграфировать во все иностранные газеты»,— от него отшатывались, на него глядели с изумлением, как в церкви смотрели бы на человека, который во время обедни бегал бы по молящимся: «Какие туалеты!» Это была литургия. И знаете что? Когда дошло до таинства, когда мы подписали резолюцию и я взглянул на лицо моего легкомысленного друга, у меня бы язык не повернулся назвать его «жирондистом». Его лицо сияло. И я оглянулся кругом, и у всех сияли лица, как сияют лица у верующих в светлый праздник. И у меня грудь была полна слезами, как бывала полна в детстве после исповеди и причастия.

Семен Семенович забыл все обиды и зааплодировал:

— Браво!

Это была пасхальная заутреня.

VI

— Все это, может быть, и очень трогательно! — в упор и непримиримо сказал Зеленцов.— Но были люди, которые, значит, не только «боялись» попасть в крепость, но и попадали и в тундры, и в каторгу, и...

Гром аплодисментов покрыл его слова.

Семенчуков позвонил:

— Господа! Господа! Мне кажется, это переходит на личности. Не может быть сомнения, что всякий из присутствующих сделал для освободительного движения то, что мог...

— Всякий ли все, что мог?! — крикнул, глядя в упор на Кудрявцева, Плотников.

— Прошу извинить меня, господа, за отступление, которое я позволил себе, отдавшись воспоминанию, которое будет светить мне и греть мне душу до конца моих дней. Вам, может быть, не понятно это, как не понятен рассказ странника о чудесах Иерусалима тем, кто там не был. Вернемся к делу. Я знаю все, что говорят против «такой» Думы. Подавать советы, которых никто может и не слушать,— право досадное и незавидное. Но право. Возбуждать вопросы, которые могут похоронить в долгий ящик,— то же, что предложить женщине родить только хилых и больных детей, которые умирали бы на вторую неделю. Делать запросы, на которые вам могут ответить бог знает когда, через столько времени, что вы сами успеете забыть о вопросе,— это даже не право жаловаться. Жалоба

предполагает ответ. Это право стонать. Но, милостивые государи, страшно, когда вас бьют и «даже плакать не велят». Вот тьма и ужас. Снова вспомните Герцена: «Страшно быть задушенным в застенке рукой палача, и никто не услышит вашего стона». Право стонать есть уж первое человеческое право.

— Право рабов! — крикнул весь красный Плотников.

— Верно! — как из пушки выпалил огромный техник. Он весь ушел в прения и принимал в них участие всей душой и уже ненавидел Кудрявцева всей душой, за что — сам не знал.

— Великое право для того, кто не имел даже и этого! — крикнул Кудрявцев.— Это ценно, что это только стон. Бюрократия и страна лицом к лицу станут друг к другу. Последняя декорация,— да, не стена, а нарисованная только, нарочно нарисованная стена, декорация, за которой она пряталась: «Нельзя же всего знать!» — упадет. Она знает. Она слышит. Пусть оттягивают ответы на самые животрепещущие вопросы. Пусть для ответов запирают двери для гласности. Пусть не отвечают совсем. Страна увидит,— увидит воочию даже для слепых,— как бюрократия относится к ее нуждам. Это будет последний удар бюрократии. Даже слепорожденные прозреют. Пусть запросы превращаются в бесплодные стоны. Стонов накопится столько, что не будет глухого, который бы не услышал. Господа, бойкот — преступление! Преступление! Преступление! — отказываться от того, что мы уже завоевали, как бы мало ни было, с вашей точки зрения, это завоевание, хотя бы один шаг земли. Мы не имеем права перед страной отказываться и от одного шага, который мы для нее уже завоевали. Именем жертв, которые вы понесли,— именем жертв, которых, быть может, вы не считаете, но которые понесли мы,— именем наших ранних седин, исстрадавшихся, измученных сердец, сокращенных жизней,— в какое бы положение нас ни поставили, не будем бастовать, будем работать, работать. Цепляться за всякую малейшую возможность что-нибудь сработать. Народ, общество, как хозяин в Евангелии у рабов своих, спросит: «Я дал тебе талант. Что ты на него сделал?» Не ответим ему: «Я зарыл его в землю». Народ, общество спросят нас: «Вы получили маленькую, крошечную возможность. Копейку! Но что же вы сделали на эту копейку?» — «Мы бросили ее. Копейка — маленькая деньга». Так нельзя ответить народу. Я знаю народ...

— Я тоже знаю народ,— поднялся Зеленцов,— от здешних мест до Минусинска и от Минусинска, значит, до Якутска...

Целый ураган аплодисментов грянул.

Семенчуков тщетно звонил и кричал, надрываясь, охрипнув:

— Господа! Господа!

Это еще больше навинчивало публику.

Минут через пять удалось восстановить спокойствие.

— Господа! Предполагается, что все, кто здесь присутствует, знают народ.

VII

— Благодарю вас за защиту, г. председатель. Но, господа, что ж это такое? Мне не дают говорить!

— Хо-хо! — сказал вдруг техник.

— Господа! Вы смотрите на нас как на врагов! Почему?

В тоне Петра Петровича послышалась глубокая горечь.

«Ранен!» — подумал он.

И больше уж он не представлялся себе огромным, могучим медведем. Медведь истекал кровью.

— Мы отвечаем, значит, на слова! — твердо и в упор ударил Зеленцов.

— Господа! Пора же нам перестать витать в заоблачных каких-то сферах...

— Из «Московских ведомостей»! — крикнул Плотников.

— Пора нам стать практичными. Бойкот, сорвать Думу, принять ее и работать,— это вопросы тактические. Поучимся же тактике хоть у японцев. Возьмем японскую тактику. Да. Не бросать, не гнать, не преследовать, отвоевать хоть маленькую позицию, но окопаться, укрепиться: «Она наша!»

— Изволите-с, значит, на военные сравнения! — поднялся Зеленцов; все его лицо дергало от гнева и негодования.— Мы идем на штурм. Мы тесним. Мы побеждаем. И нас, значит, останавливают на каком-то несчастном выступе стены. Останавливают среди победы! «Довольно! Укрепимся на выступе!» За нами горы трупов-с, трупов и... перед нами победа. Это никуда не годится, г. Кудрявцев! Значит, не годится. Ха-ха-ха-ха!

Он закашлялся тяжелым неприятным смехом.

— В споре с нами вызывают мертвых! Прибегают к заклинаниям! Японцев зовут! Ха-ха-ха! Недостает, чтоб начали вызывать чертей или окропили нас святой водой! У нас есть тоже заклинания, у нас есть тоже памятки! Наш путь вдали вьется лентою, лентою могилы. Горы трупов, моря крови, все стоны, вздохи в казематах, все стоны, вздохи, от которых оглохли бы вы, значит, если бы их собрать все до едина,— все это нам предлагают продать. За что? За что? Из священного писания по-вашему скажу: за чечевичную, значит, похлебку. И когда? Когда мы у победы! Цинизм с вашей стороны, г. парламентер!

— Позвольте! — крикнул, словно действительно раненный, Кудрявцев.

— Цинизм-с! Повторяю: цинизм! Одной пяди уступить не можем из наших требований! Перед теми не можем...

И среди нового урагана аплодисментов Зеленцов сел, еще потрясая рукою куда-то вдаль.

— Я не отвечаю! — ответил Кудрявцев.

— Передайте наш ответ, г. парламентер! Другого не будет! — крикнул Плотников.

— Я не отвечаю вам! — закричал Кудрявцев: у него чуть не сорвалось: «Подголосок! Шавка!»

Семенчуков позвонил.

— Благодарю вас, г. председатель, за то, что призываете меня к порядку и необходимому спокойствию. Господа! Устраним раз навсегда недоразумение! «Свобода слова, печати, собраний и в этих, только в этих условиях, всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосов в законодательную, с правом решающего голоса, Думу»; такой же мой символ веры, как и ваш. Я стремлюсь к тому же, к чему и вы.

— Да, только на словах! — крикнул Плотников.

— Я не позволю заподозревать мою искренность! — уже не помня себя, весь красный, как рак, закричал Кудрявцев.— Г. председатель, примите меры против этого господина!

— Оскорбление?

Все завопило. Возмущенно поднялось с мест.

— Недостает позвать полицию! — с привизгом кричал Плотников.— Крепостническая жилка сказалась!

Семен Семенович подбежал к Кудрявцеву:

— Оставь. Сегодня ты не можешь говорить. Ты не в себе.

— Убирайся ты от меня к черту! — огрызнулся Петр

Петрович.— Г. председатель, прошу слова. Господа! Господа! Беру назад неосторожно, случайно сгоряча вырвавшееся, необдуманное, нежелательное слово. Господа! В том, что мы сделаем, мы должны отдать отчет народу, чтоб он дал нам свои силы на дальнейшую борьбу. Надо знать, кому мы должны отдавать отчет. Русский народ, прежде всего, практичен. О бойкоте я уже говорил. Попытка сразу превратить Государственную думу в Учредительное собрание? Первое же собрание Государственной думы будет распущено. Такое заседание будет только одно.

— Пусть! — мрачно и зловеще сказал Зеленцов.

— Вот это так поставить всех лицом к лицу! — подкрикнул Плотников.

— Вы этого хотите? Да?

— Мы требуем заработанного нами двугривенного. Нам дают, значит, оловянный! — отвечал Зеленцов.— По-вашему, если не дают серебряного, надо взять и оловянный? Да, значит?

— Но есть другие, насущные нужды народа. Частичные улучшения, не зависящие...

Зеленцов поднялся во весь рост:

— Длинной речи короткий смысл? Вы являетесь к нам в качестве примиренца? Примиренец, значит?

— Верно! — крикнул вдруг огромный техник так радостно, что все на него невольно оглянулись.

В честнейшей и алкавшей, чтоб на свете «все было справедливо», душе своей он никак не мог найти ответа: за что, собственно, он так ненавидит Кудрявцева?

Чувствует, что ненавидит, но за что — не может «формулировать».

И вдруг одно слово. Все ясно:

— Примиренец!

Справедливая душа техника была рада необычайно. Гора свалилась.

— Примиренец!

— Тон допроса? — вспыхнул Кудрявцев.

— Вопрос перед обществом, перед страной,— твердо ответил Зеленцов, в тоне его звучал прокурор,— перед теми, кто дает полномочия. Мы хотим, наконец,— он подчеркнул «наконец»,— знать, кто такой, значит, Петр Петрович Кудрявцев. Вы за принятие этой Думы?

— С известными, я уже сказал, оговорками. Параллельно работая над расширением...

— Без околичностей. За работу в ней в поставленных рамках. Значит, за «плодотворную» работу? За принятие, другими словами. Вы ее принимаете? Да или, значит, нет? Одно слово. Да или нет?

— Да!

— Не можем!

Зеленцов ударил рукой по столу:

— Оловянного двугривенного для страны принять не можем. Можем принять на себя полномочие только, чтобы потребовать, значит, серебряного. Нам нужна настоящая, полноценная, значит, Дума. Уступок и соглашений не будет. Государственная дума, как она должна быть. Конституция. Наше первое и последнее, значит, слово. Лозунг и пароль.

— Прошу слова! — раздался вдруг густой голос.

Все вздрогнули и оглянулись.

Огромный мужчинища, наполовину приподнявшись, вопросительно смотрел на председателя.

Глаза его горели.

— Гордей! — пронеслось среди собравшихся.

— Слово за г. Черновым! — сказал Семенчуков.

Настала мертвая тишина.

Все обернулись и смотрели на Гордея Чернова.

И во взглядах были и любопытство, и интерес, и страх.

VIII

Гордея Чернова знали все.

Колоссальный, неуклюжий, уже не медведь даже, а мастодонт какой-то; он сам себя называл:

— Я — язык от тысячепудового колокола. Из стороны в сторону: бом!

Кто-то про него сказал:

— Гордей идет жизнью, как пьяный улицей,— шатаясь. Сколько он заборов на своем пути повалит!

Другой кто-то заметил:

— Не соображает он своего роста. Вы на его ручищи посмотрите. Все поплывут вровень, а он саженками начнет. Ручищи! По два взмаха — куда впереди всех. Все ничего. А он с размаху в купальню головой треснется!

Общее было мнение всех, кто с ним имел дело:

— Плохо иметь такого человека противником. Но еще страшней — другом и единомышленником.

Куда его только не бросало!

В три месяца он прочел Толстого от доски до доски, многое наизусть запомнил,— и сделался толстовцем.

Со всеми, как он говорил, «мелочами» толстовского обихода, вегетарианским столом, опрощеньем, пахотой земли, он покончил быстро.

Ввел и запахал.

Обидеть его в эту минуту мог бы кто угодно.

Даже брачный вопрос разрешил без затруднений.

Сказал женщине, с которой прожил десять лет:

— Бери, что тебе, по-твоему, надо, и уезжай. Не до тебя.

Та было начала плакать:

— Да хоть скажи: почему? Что случилось?

Гордей только показал на голову:

— Долго объяснять. Тут, брат, совсем другое теперь.

И явился к своим друзьям толстовцам:

— Формальности исполнены. Теперь сделаем дело.

— Какое?

— Я свои земли брошу. Пусть берет, кому надо. Вы — банковское директорство, вы — службу на железной дороге.

— Но позвольте! Так мы приносим больше пользы! Мы печатаем, издаем...

— Слово — текст, факт — картинка. Ничего нет понятнее факта, поучительнее, сильнее, разительнее. Если бы Лютер на костре сгорел,— весь мир был бы лютеранами. Разве не правда?

— Позвольте,— ответили ему.— Правда — это кислород. Без кислорода жить нельзя. Но в чистом кислороде всякое живое существо задыхается. Вы — чистый кислород. Вы ни в каком живом обществе немыслимы.

И стали от него бегать.

Он возненавидел самое ученье — толстовство.

Разводить двуногих божьих коровок! Ни красы, ни радости. О толстовцах отзывался:

— Быть человеком, как всякий,— а воображать себя божьей коровкой! Покорнейше благодарю.

Когда его спрашивали:

— Ну, а как же, Гордей, твое непротивление?

Он показывал свой огромный, волосами обросший кулак:

— Злу? — Вот!

Гордей «махнул» за границу.

В Париже социалисты приняли оригинального «русского эмигранта» радушно.

Их интересовало все в нем: и рост, и размах в идее:

— Настоящий русский!

Так как у него были средства, и на банкетах он охотно платил за сто человек, его произвели в князья.

— Prince Tchernofft.

Рассказывали, что он очень высокопоставленная особа, что у него конфисковали какие-то миллионы, что он необыкновенно бежал, сочинили про него целую историю Ринальдо-Ринальдини,— это только усиливало к нему всеобщий интерес.

Но однажды он напечатал в газетах такое открытое письмо Жоресу относительно вопроса об отечестве, в котором поставил он в упор такие вопросы, что вся партия пришла в ужас.

Начались розыски:

— Да кто ему посоветовал?

— Ни с кем не советовался. Сам!

— Дисциплины партии не признает!

Все схватились за голову:

— Разве же можно такие вопросы поднимать?! Перед самыми выборами!

Сам великий лидер рвал на себе волосы:

— Сколько раз говорил себе — с этими «сынами степей», русскими, не связываться! Дикие!!!

Реакционная пресса подхватила письмо «князя Чернова»:

— Что ж г. Жорес не отвечает на поставленные с таким благородством, ясностью и прямотой неиспорченной цивилизацией натуры вопросы?

Жорес кое-как отмолчался, но уж везде, куда к друзьям и единомышленникам ни приходил Гордей,— ему все консьержи с испугом говорили:

— Monsieur нет дома. И madame тоже! Тоже!

До того был везде строг приказ «этого русского» не принимать.

Чернов «подался» еще более влево. На самый край.

Был принят с распростертыми объятиями.

Но сорвал один из самых великолепных митингов.

Присутствовало 10 000 человек.

Аплодисменты проносились громами. Крики принимали размеры ураганов.

Речи раздавались все горячее, горячее, горячее.

Как вдруг на трибуне появился колосс Чернов.

— Гражданки, граждане! Пятнадцать лет я знаю Париж. Пятнадцать лет я слышу: «Это последняя борьба! Завтра!» Пятнадцать лет тому назад под моими окнами на улице шли и пели:

«C'est la lutte finale,
Groupons nous et demain
International
Sera le genre humain» [1]

Сегодня вы запоете, уходя отсюда, то же. Пятнадцать лет все «завтра»! Зачем? Когда может вспыхнуть великая социальная революция? Сегодня. Сейчас. Правительство ничего не ожидает. Войска в лагерях. Вас здесь караулят двое полицейских. Зачем петь: «завтра»? Идем, сейчас, сию минуту, поднимать Париж. К оружию! Я впереди. У меня нет шансов вернуться. Я большой, и в меня попадут в первого. Идем же! Кто за мной?

Те были ошеломлены.

Ораторы, только что призывавшие к «великому делу», бледные, сбежали с подмостков, на которых сидел комитет митинга.

Публика была взволнована:

— Не за тем пришли на митинг!

Пришли послушать ораторов!

— Вон! Долой! Он сумасшедший!

Колоссальный Чернов стоял на подмостках один и гремел своим феноменальным голосом, покрывавшим шум толпы:

— Значит, вы все врали, когда говорили толпе! Значит, вы все врали, когда аплодировали призывам!

И Чернов вдруг завопил, махая шляпой:

— К черту вашу анархию!

Все спешили потесниться и дать место полицейским, которые пробирались по подмосткам, чтоб закрыть митинг, «принявший недозволенный характер».

Чернова, как иностранца, выслали. Чему «лидеры», несмотря на всю ненависть к насилию, были очень рады.

Чернов вернулся в Россию.

Как всегда, когда он валил какой-нибудь забор, сам «совершенно разбитый».

Отдышался.

---

[1] «Это конец борьбы. Соединимся, и завтра же исчезнут границы, разделяющие страны и народы» (Слова «Интерналналки»).— *Примеч. В. Дорошевича.*

И теперь, услыхав слово «конституция», он поднялся с горящими глазами:

— Прошу слова!

На него все глядели с испугом.

Как глядят на слона, когда он проходит мимо тростниковых хижин.

Что, повалить?

— Совершенный Бакунин! — сказал около Петра Петровича один старичок.

— Чистый Пугач! — с испугом вздохнул сидевший рядом купец Силуянов.

А Петр Петрович сказал:

— Самум.

— Как-с?

— Ветер такой есть в пустыне. Я был — вихрь. Зеленцов — ураган. А это самум. После самума ничего не остается.

Гордей Чернов заговорил.

Голос у него был, как у протодьякона.

IX

— Было бы жаль,— рявкнул Чернов, без всяких даже «господ», среди мертвой тишины,— если бы великая страна, мучась и корчась в родах, плюнула конституцией, и только. Океан, разбушевавшись в ураган, что сделал? Выкинул устрицу! Как в сказке,— прекраснейшая царевна родила... лягушонка! Русский народ — единственный, который смотрит на землю, как на стихию. Возьмите вы самого передового француза,— он не дорос до этого. Кролика убить в «чужом» поле, крыжовнику сорвать,— в его мозгу — преступление. А тут крестьянин преспокойно едет к вам в лес деревья рубить.— «Лес божий». Ничей. Никому не может принадлежать. Как воздух! Стихия. Гляжу я на днях, мужики у меня по полю ходят, руками машут, шагами что-то меряют, колышки какие-то вбивают. Пошел.— «Что делаете?» Шапки сняли. Вежливо так: «Землю твою, Гордей Иванович, делим, потому как скоро закон такой выйдет, чтоб все земли миру,— так загодя делимся, кому что пахать, чтоб после время даром не терять. Пора будет рабочая». Не прелесть? И так говорят спокойно, как говорят об истине, всем существом признаваемой. Дивятся у нас, в газетах читают: «Спокойно как! Добродушно даже!» — «Идем на возы накладывать!» — «Идем».

Да разве кто-нибудь сморкается со злобой, с остервенением? Сморкаются просто. Сморкнулся — и все. Дело естественное. И они идут просто, как на дело самое естественное. Законнее законного. И даже вполне уверены, что и закон такой выйдет, не может не выйти.

— Чисто мужик рассуждает! — громко прошептал купец Силуянов.

Он-то сказал это в знак полного презрения.

А у Петра Петровича от этих слов защемило сердце.

— Он сам,— гремел Чернов,— собственностью был. Его самого, как борзых щенят, продавали. А он сквозь все, сквозь все вынес в сердце своем: земля, как воздух,— свободная стихия. И этот-то народ с такой для мира новой, грандиозной мыслью в уме и душе,— вы хотите, чтобы что сделал? Конституцию, которая у всякого народишки есть, себе устроил? Только?

— Но позвольте, коллега! Это... только первая ступень,— крикнул Зеленцов.

— Без ступеней шагнет! — покрыл его своим ревом Чернов.— Никаких станций, вроде ваших, зеленцовских, никаких полустанков, вроде г. Кудрявцева! Некогда! На станциях простоишь, только к цели позднее приедешь. Довольно этой лжи и обмана, пользуясь темнотою и непониманием, смешивать вопросы политические с экономическими. Довольно морочить людей, чтобы они кровь лили. Завоюют они вам конституцию. Во Франции — республика, однако в рабочих при забастовках стреляют не хуже. Политические перевороты экономических вопросов нигде не разрешают.

— Неправда. Ложь! — закричал Зеленцов.— Мы добьемся законов, регулирующих...

— Знаем! — опять покрыл его Чернов.— Свобода стачек. Но и «свобода работы». Во Франции, где-нибудь в Кармо, забастовали угольщики. Бастуйте! Законом стачки разрешены. Но стягивают войска. Посылают тридцать провокаторов, «желающих начать работу». Комедия! Что тридцать человек там, где три тысячи рабочих нужно? Рабочие мешают провокаторам войти в шахты. «Пли»! Свобода работы! Это уже не «усмирение», это — «охрана работы». Знаем мы эти фокусы! Забастовка — ничего. Но вот мальчишки сдуру у фабриканта на дворе автомобиль расшибли. Этим летом было во Франции. Мэр — социалист — сию минуту к телефону: «Пришлите войска. Начались насилия». И в результате за несколько разбитых

какими-то шалунами стекол — залп. Убит рабочий. Дорого за стекла берут и в республике! Выйдите же к рабочим, которым вы льстите, называя их «сознательными», и скажите,— как повар цыплят спрашивал: «Вы под каким соусом хотите, чтобы вас приготовили: под белым или под красным?» — «Вы как, господа, предпочитаете, чтобы в вас стреляли: для «усмирения» или во имя «свободы труда»? Мессианство — маленькая болезнь, которой страдают все народы. Французы думают, что мир спасут они, потому что они создали великую революцию и провозгласили «права человека». Немцы думают, что они спасут мир своей наукой. Даже негры, и те думают, что они больше всех страдали, а потому они и народ Мессии. В кочегары нанимаются, в аду настоящем через океан переезжают, чтобы в Лондоне в Гайд-парке «Европу учить терпению и кротости, теплой вере и непрестанной надежде». А у русского народа есть, действительно, что принести миру новое и чем перевернуть мир. Мысль — только у русского народа живущую, остальному миру неизвестную или, быть может, позабытую — «земля — стихия»,— принадлежит всем, как воздух! Не может принадлежать в отдельности никому. Два слова. А какой переворот в мире должны они вызвать. И завтрашний мир, действительно, не будет похож на сегодняшний. Вот призвание русского народа, его мессианство. И об этом мессианстве были уже пророчества. «Великая социальная революция придет с Востока!» — сказал ваш Карл Маркс.

— Мерси, значит, за подарок Карла Маркса! — крикнул Зеленцов.— Но мы сошлись не для академических, значит, рассуждений, а для практической деятельности. Ваши рассуждения не укладываются ни в одну программу!

— А вы хотели бы море упихать в тарелку. Хо-хо-хо!

— Леший, прости господи! — с испугом прошептал купец Силуянов.

— Короче! — вскочил, на этот раз, Плотников.— Короче! Вы предлагаете бойкот Государственной думе?

— Нет!

Петру Петровичу вспомнился Шаляпин в «Мефистофеле»:

— Я отвечаю: не-е-ет!

— Выработку чего-нибудь нового?

— Нет!

— Так что же, значит, наконец делать? — в отчаянии

закричал Зеленцов, обеспокоенный тем, чтобы слова «нелепого колосса» не произвели впечатления на присутствующих в публике сознательных рабочих.

— Не живите на даровщину! Не старайтесь устроиться на чужой счет! — снова загремел Чернов.— Не хватайте с Запада с чужого плеча ими для себя сшитого платья. Оно и там-то уже стало узко и тесно, и заносилось, и лезет по всем швам. Внесите в мировой прогресс свое новое, русское слово. Соберите все, что есть в уме, в сердце, в душе народа-мессии о земле, о собственности. И сделайте из этого Евангелие для завтрашнего мира. Формулируйте это в стройную систему. Создайте из этого науку. И принесите миру это новое слово.

— Но сейчас-то! Сейчас, значит, что делать? — в отчаянии вопил Зеленцов.

— Сейчас же это и начинайте. А все остальное бросьте. Потому что все остальное ни к чему. Вы на народе, как в сказке о коньке-горбунке мужики на рыбе-ките. На спине у него деревней жили, за усами сено косили. Какое киту было дело, какие они там избы строили: одноэтажные или двухэтажные, курные, по-черному, или совсем дома, как во всех городах. Нырнул кит — и все, и избы, и мужики, и сено, всплыло. Бойкот — не бойкот! Народ не заметит даже, не обратит внимания, что вы там строите, что выстроили. Народ, как планета, движется по своей орбите, которая ему кажется правдой. И нырнет он, как ему полагается, глубоко — и будь у вас тогда хоть бюрократический произвол, хоть разлиберальная конституция, хоть республика,— всплывете вы все наверх.

Гордей Чернов медленно и грузно опустился на место.

Ни одна душа не зааплодировала.

Всем стало тяжело и душно.

«Словно действительно во время самума!» — подумал Петр Петрович.

X

— Пользуйся случаем! Пользуйся случаем! — шептал, задыхаясь, Семен Семенович, подбежав к Кудрявцеву.— Пользуйся случаем, что Гордей Чернов... Пред лицом общего врага... Протяни руку Зеленцову...

— Оставь меня! — отвечал Кудрявцев, едва владея собой.— Неужели ты думаешь, что уж выше «репутации», «популярности» так-таки и ничего нет!

Он поднялся:

— Господа!

— Слушайте! Слушайте! — комически воскликнул Плотников.

Председатель взялся за колокольчик и укоризненно покачал головой Плотникову.

— Господа! От наших разговоров запахло кровью. Неужели вы не слышите в воздухе ее отвратительного запаха? Что же это? Вооруженное восстание, о котором мечтаете вы?

— Кто это «вы»? Нельзя ли яснее? В своем, значит, азарте г. Кудрявцев не отличает социал-демократов от социал, значит, революционеров! — крикнул Зеленцов.

— Вы вели ваши споры даже на борту «Потемкина»! — огрызнулся Кудрявцев.— Нельзя же вести партийных, отвлеченных, теоретических споров на спине живых людей. Не место для академических диспутов! Решите ваши споры предварительно. Как вам угодно. Хоть битвой между собой. И тогда те, кто победит, кто уцелеет,— приходите с единой программой вести людей...

— Нельзя же смешивать с такой бесцеремонностью теорий. Это, значит, слишком бесцеремонно!

— Но нельзя действовать так, как действуете вы! Вооруженное восстание? Но пугачевщина — не революция! И человек, вооруженный вилами, косой, топором,— еще не носитель, по этому самому, светлого будущего! «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

В публике раздался свист.

— Вы свищете Пушкину!

— Вы прячетесь за «иконы»!

— Нет-с, я зову всех говорить начистоту. Да, начистоту. Речь идет о десятках, быть может, сотнях тысяч человеческих жизней. Нет ничего ужаснее, гибельнее неумело и не вовремя начатых революций. Подтверждение этому вы найдете во всей истории. Сто лет каждый год история с каждой страницы кричит это! Да, меня берет ужас при мысли об этих толпах, вооруженных косами, вилами, топорами. И ужас не за собственную шкуру. Даже не за моих близких. Клянусь, что нет! Не то, что меня повесят на воротах. За что? Может быть, за то, что я «барин,— значит, хочу восстановить крепостное право»! Может быть, кто-нибудь крикнет разъяренной, осатанелой толпе: «Вот он, рыболов-то». Я сроду рыбы не ловил! И меня вздернут:

«Половили рыбки, довольно!» Я прихожу в ужас за них самих. Я прихожу в ужас при мысли об этой толпе,— поймите же: толпе! — идущей против войска, поймите разницу: войска! — против скорострельных ружей, против кавалерии, против артиллерии, пулеметов. Когда начинается революция, начинаются уже военные действия.

«Заскакал! — спортсменски подумал Семен Семенович.— Несет! Сейчас в яр и себе шею сломит, экипаж вдребезги».

— Нет выше преступления, как преступление генерала, который ведет в бой войско без надежды на победу. А вы умеете руководить военными действиями?

— Прошу вас иметь в виду одно,— шептал Семен Семенович, стоя за стулом Зеленцова,— г. Кудрявцев говорит от своего имени. Только от своего. Он не лидер. Прошу в ответах нас с ним не смешивать.

— Вы правы, если скажете, что я говорю так потому, что во мне нет темперамента вождя. Я боюсь крови, за исключением свой собственной. Я могу умереть. Но я не могу посылать на смерть других. Ни посылать, ни вести. Я не могу взяться за дело, которого я не знаю, когда от этого зависят тысячи и тысячи человеческих жизней. Как не мог бы подписывать смертных приговоров. Я не понимаю, я не представляю даже себе, как можно это делать. Меня берет ужас при мысли о тысячах беззащитных,— грабли, что ли, оружие? — беззащитных людей, которых выведут под атаки казаков, под залпы пехоты, под огонь пулеметов, «поливающих» толпу струями пуль. Зачем? Чтоб побежденную, смятую, окровавленную, обезумевшую от ужаса, отдать ее под нагайки, под плети, под розги массовых экзекуций? Перестаньте прятаться от ответственности! Вы обвиняете с 9 января в Петербурге правительство, режим. Но режим — ваш враг. Будьте же логичны, господа. Ведь это все равно, что за мукденское поражение винить японцев. «Зачем они были так сильны!» Виноваты те, кто проигрывает, а не те, кто выигрывает сражение. Кровь на тех, кто без всяких шансов на победу повел людей на бойню...

— Это из «Московских ведомостей»!

— Петр Петрович Грингмут!

— Пошлите это в «День».

— Вы — Шарапов!

В реве никаких звонков не было слышно.

— Треск-с! Как-кой кумир валится! — услышал Петр

Петрович около себя чье-то даже со вкусом произнесенное восклицание.

Толпа всякая зла и жестока, когда развенчивает своих кумиров. Она срывает венки не иначе, как с кусками мяса.

— Вы даже в злобе не можете сказать ничего своего, от сердца. Вы далеки от жизни, как Луна от Земли! — кричал Кудрявцев, не помня себя.— Вы теоретики, вы читатели! Вы говорите из книг и даже ругаетесь из газет!

В эту минуту поднялся купец Силуянов.

— Совершенно верно все-с! — сказал он.— В «Гражданине» князь Владимир Петрович Мещерский то же самое пишут...

— Ха-ха-ха!

Раздался гомерический хохот.

Подвески у люстры звенели от хохота.

«В грязи тону!» — в ужасе, отчаянии, омерзении думал Петр Петрович, опускаясь в кресло.

А хохот, дружный, искренний, гомерический, не прекращался.

— Кудрявцева со-о-оло! — гремел голос колоссального техника.

Председательского звонка не слышал никто.

И Семенчуков, наконец, крикнул:

— Объявляю перерыв... Это же невозможно.

XI

Публика смешалась с собравшимися на совещание.

Стоял шум.

Семен Семенович перебегал от группы к группе:

— Господа! Не знаете ли кто стенографии? Нет ли стенографа?

Хватался за голову:

— Не пригласить стенографа! Это ужасно, ужасно!

И бежал дальше:

— Не знает ли кто стенографии? Сейчас столик. Ей-богу, есть речи, заслуживающие стенографии. А?

Зеленцова окружили, жали ему руку.

Из центра группы, его окружавшей, только и слышалось:

— Значит... значит... значит...

Очевидно, он был сильно взволнован.

Вокруг Гордея Чернова споры были самые горячие.

И, покрывая гул голосов, гремел его спокойный протодьяконский бас:

— Зовите как хотите! От слова не станется. Анархия — так анархия. Все одно, этим кончится. Что такое анархия? Я говорю, известно, не про теоретиков анархии, не про анархистов — мечтателей, не про Толстого, не про Реклю. Я говорю про анархию действующую. Это, по-русски перевести, отчаяние. В государствах неограниченных надежда — конституция. В конституционных остается еще: республика. А когда люди и в конституции и в республике разочаруются,— все один черт! — тогда анархия. Чего ж по ступенькам-то идти, ежели можно сразу?

Петра Петровича кто-то осторожно тронул сзади за локоть.

Он оглянулся: купец Силуянов:

— Большое спасибо вам, ваше превосходительство, как вы ловко мальчишек отделали!

Петр Петрович отшатнулся от него с отвращением.

— А нам за это ничего, стало быть, не будет? — с улыбкой продолжал Силуянов.

— За что?

— Да вот, что мы так... говорим... Ну, да что ж! — тряхнул он головой.— Дело обчественное! Ежели и пострадать придется...

«Еще напьется со страху, что его выдерут!» — подумал Петр Петрович, с отвращением глядя на Силуянова.

На Семенчукова наскакивал весь красный Плотников:

— Вы не имели ни малейшего права укоризненно качать мне головой! — кричал он.— Да-с! Я никаких ваших нотаций не принимаю, и никто не давал вам права. Да-с. Здесь не школа, я не школьник, и вы не учитель. Я признаю ваше поведение в качестве председателя непарламентарным, нарушающим элементарные...

— Однако они лезут напористо! — говорил Семенчуков, кое-как отделавшись от Плотникова, подходя к Петру Петровичу и утирая пот со лба.— Штурм!

— Да! — грустно улыбнулся Кудрявцев.— И перережут они кого? Только нас!

В нем не было больше злобы. Он был просто весь разбит.

— Господа! — позвонил, наконец, Семенчуков, подходя к столу.— Объявляю совещание открытым.

Все заняли свои места.

— Приступим к практическим...

В эту минуту вбежал бледный, с перепуганным лицом лакей:

— Барин... Никифор Иванович... Полиция...

В зал вошел участковый пристав, в полной форме, в новеньком с иголочки мундире, с сияющим кушаком, и поклонился так, что всякий околоточный надзиратель при виде этого поклона сказал бы:

— Корректно!

В публике запели.

XII

Петр Петрович вернулся разбитый.

Наутро, за чаем, жена протянула ему газету:

— Что за скверности пишут? С ума они, что ли...

Петр Петрович прочел:

«По независящим обстоятельствам мы не можем дать подробного отчета о вчерашнем совещании, закончившемся быстро не по желанию участвовавших... Обсуждался вопрос об отношении к Государственной думе. Из ораторов больше всех времени отнял у публики П. П. Кудрявцев. Чтоб передать полностью содержание его речей, достаточно будет сказать, что среди всех присутствовавших лучших представителей нашей интеллигенции г. Кудрявцев нашел себе только одного сторонника и единомышленника в лице... известного содержателя бакалейных магазинов и ренсковых погребов, гласного Думы, первой гильдии купца Силуянова... Sapienti sat. Стоило быть столько лет Кудрявцевым для того, чтобы сделаться Силуяновым?! Вот уж истинно вспомнишь татарскую поговорку: «Какое большое было яйцо, и какая маленькая вывелась птичка!»

— Репортер — дурак, но факт верен.

Петр Петрович помолчал и поднял на жену глаза.

Теперь только Анна Ивановна заметила, какой у него усталый-усталый взгляд.

— Как жаль, что война кончилась.

— Война?!

— Я поехал бы на войну в качестве какого-нибудь уполномоченного.

Анна Ивановна смотрела на больное лицо мужа с испугом, с тревогой:

— Что случилось? Ради бога...

Он встал:

— После... потом... так...

И ушел к себе.

В двенадцать часов Петру Петровичу подали письмо от Мамонова.

Семен Семенович писал:

«Дорогой Петр Петрович».

— Уже не «дорогой Петр»! Ну, ну! «Будь добр прислать мне все мои черновики проектов, докладов, отчеты съездов и т. п. Тебе теперь эти бумаги больше не нужны, а мне понадобятся. Жму руку. Твой Семен Мамонов».

Петр Петрович улыбнулся, с улыбкой собрал все мамоновские бумаги, с улыбкой написал:

«Милый Семен! При неудачах приятно видеть лица своих друзей. Ты показал мне пятки. Как жаль, что ты не производитель на твоем собственном конском заводе. От тебя вышла бы удивительно рысистая порода».

Затем он разорвал эту записку и сказал человеку, которому позвонил:

— Скажи, чтоб передали Семену Семеновичу бумаги и сказали просто, что кланяются.

Затем вернул человека:

— Поклонов никаких передавать не нужно. Пусть просто передадут бумаги.

И только прибавил к деловым бумагам несколько интимных, дружеских писем Семена Семеновича:

— Возьми.

Через три дня Петр Петрович встретился с губернатором.

На лотерее-аллегри в пользу общества, где председательницей была жена Кудрявцева.

Губернатор шел к нему, по обычаю «браво» откинув голову назад и несколько набок с рукой, протянутой ладонью вверх, с широкой, открытой, радушной и какой-то торжествующей улыбкой:

— Здравствуйте! Рад видеть вас после этого собрания, которое я принужден был... Крайне сожалею, что прервал ваши речи. Крайне! Крайне! Очень рад, что вы этих господ Мирабо...

«Отставил!» — с улыбкой подумал Петр Петрович.

— А вашему превосходительству известно все, в подробностях?

— Я всегда все знаю. В мельчайших. Позвольте искренно, от души пожать вам руку. Поблагодарить и порадоваться...

— Меня тем более трогает одобрение вашего превос-

ходительства, что оно ничем не заслужено. Никогда раньше...

Губернатор весело и дружески засмеялся.

— Кто старое помянет, тому глаз... Вы этих Мирабо...

— В «Короле Лире» есть, ваше превосходительство, прекрасная фраза. Лир говорит: «И злая тварь милей пред тварью злейшей».

Губернатор насупился.

— Ну, зачем же вы на себя... так?

И отошел.

В кругу губернских дам и радостно, с подвизгиваньем, хихикавших остроумию начальника губернии чиновников он говорил:

— Это ничего! Он еще к начальнической ласке не привык. Либерал был. Еще дикий. У нас в кавалерии то же. Приведут необъезженную лошадь. Ее по шее потреплешь,— она на дыбы. От ласки на дыбы, потом на ней верхом ездить можно. Объездится! Привыкнет к ласке начальства!

Чиновники и губернские дамы смеялись так, словно ежеминутно поздравляли себя с таким начальником губернии.

А Петр Петрович вечером писал в своих записках «Чему свидетелем господь меня поставил»:

«Покойного Н. К. Михайловского за то, что он подписал протест в иностранных газетах русских литераторов, позвали к министру фон Плеве.

Великий критик ждал «разноса» и был готов к чему угодно.

Но фон Плеве встретил его приветливо.

— Прежде всего должен вам сказать, что мы вам очень благодарны. Вы оказали большую услугу правительству. Вашей борьбой против марксистов...

Сегодня я понял, что должен был чувствовать великий критик, слушая эту похвалу».

И, написав это, Петр Петрович вскочил.

Кровь приливала у него к голове.

— Рано живого, живого еще, господа, хоронить хотите!

Он весь дрожал. Он не мог разжать зубов. А кулаки сжимались так, что ногти с болью впились в тело.

XIII

— Смертный приговор,— сказал весело, со смехом, Петр Петрович через неделю, возвращаясь домой,— смертный приговор, Аня!

Анна Ивановна постаралась улыбнуться.

— И приведен в исполнение: Антонида Ивановна Очкина при встрече со мной не ответила на поклон и отвернулась.

Антонида Ивановна Очкина говорила про себя:

— Наша губерния не вовсе отсталая. Есть передовые. Передовая — я и еще несколько лиц.

Другие определили ее так:

— Дети играют в крокет, и вдруг собачонка! Черт ее знает, откуда вылетит и начинает гонять шары. Избави боже, если Антонида Ивановна в серьезный момент на игру прибежит.

Она была народницей, марксисткой, сторонницей стачек, противницей стачек.

Чаще всего от нее слышали:

— Милая! Как вы отстали!

Убеждения и кофточки она носила только:

— Самые последние!

И угнаться за нею никто не мог.

Она везде была первая.

Когда вспыхнула война, Антонида Ивановна закричала первой:

— Будем щипать корпию!

— Да корпии теперь никто не употребляет. Теперь — вата.

— Ну, тогда подрубать белье. Это — наш долг.

Но она же вдруг объявила:

— Никакой помощи раненым оказывать не нужно.

И тоже добавила:

— Наш долг!

— Но почему? Почему?

— Как вы отстали! Протест против войны!

Месяц тому назад она носилась по городу радостно, читая в газете о каждом избиении:

— Чем хуже, тем лучше! Чем хуже, тем лучше!

Она говорила захлебываясь:

— Читали, как избили?! Бойня, настоящая бойня!

— Ужас! Чему вы?

— Ах, боже мой! Радуйтесь! Радуйтесь! Чем хуже, тем лучше.

Теперь она носилась по городу с равноправием женщин.

И страшно удивлялась, что никого из местных инициаторш движения не могла застать дома.

— Скажите мне, где подписать адрес? Где адрес? У кого адрес?

Адрес ходил по рукам, но когда к кому-нибудь из местных интеллигентных женщин, затеявших этот адрес, подкатывала коляска Антониды Ивановны, в доме поднималась суета:

— Скажите, что нет дома! Что все уехали!

И в доме молчали и старались не дышать, пока Антонида Ивановна, задыхаясь, говорила горничной:

— Скажите, что приезжала г-жа Очкина, чтобы подписаться под адресом! Ищут, мол, где адрес! Поняли? Очкина под адресом! Очкина под адресом!

На совещании она не была, о чем «даже плакали»!

Не приняла в нем участия:

— Всей душой! Всей душой!

Гордею Чернову написала письмо:

«Г. Гордей Чернов! Будьте добры ответить мне, каких вы держитесь убеждений:

а) о боге и о религиях вообще;

б) о первоначальном воспитании народных масс;

в) о применимости болгарской конституции к России;

г) о женской равноправности и вообще о роли женщины в будущей истории.

По выяснении этих кардинальных вопросов я попрошу вас возложить меня на алтарь борьбы».

При встрече с Петром Петровичем она сочла своим долгом не ответить и отвернулась.

— Гильотинирован!

Анна Ивановна вскочила с места:

— Публично? Я удивляюсь, как ты можешь смеяться. Как можно так относиться? Ох, как же она смела?! Я сейчас же заеду к ней...

— Тсс...

Петр Петрович взял жену за руку и посадил рядом.

— Не надо. Ты этого не сделаешь. Нам надо с тобой поговорить. Я знаю, Аня, ты волнуешься. Ты ездишь, споришь за меня, защищаешь...

— Ты об этом уже знаешь?

— Аня, нас больше не тревожат телеграммами по утрам. А если я получаю, они начинаются словами: «Неужели действительно вы...» Я рву их, не читая, и не отвечаю. Аня, я не получаю больше писем, подписанных десятками имен. Письма, которые я получаю, анонимны. В них или брань, площадная брань «изменнику», «отступнику», «перебежчику», даже «продажному человеку», даже «Иуде», или благодарности: вы поступили «чесно». «Честно»,— через «ять». И я не знаю, какие получать больней. Меня извещают обо всем, и обо всем на самой грязной подкладке. Аня! Я получаю анонимные письма,— как же ты хочешь, чтобы я не знал, что моя жена ездит по городу и «агитирует» за меня? Я знаю, почему ты так поступаешь, и благодарю тебя. Но этого не надо... не надо... не надо этого!..

Кудрявцев вскочил, сжав кулаки, сверкая глазами, и заходил по комнате:

— Я не хочу, чтоб по твоей милости еще сказали, что Кудрявцев прячется за женскую юбку!

— Петя...— услыхал он голос словно раненого человека.

И от этого голоса у него перевернулось сердце.

— Прости!

— Но кто же посмеет? Кто! Про кого? Про Кудрявцева!

Анна Ивановна плакала.

— Аня. Вспомни, в Париже, за церковью Мадлены, есть памятник знаменитому химику Лавуазье. Он был казнен во время великой французской революции. За что? Кто-то сказал, что он изобрел средство подмачивать табак, чтоб был тяжелей. И «врага народа» гильотинировали. Отрубили голову, а потом поставили памятник... Аня, мы живем в смутное время: чтоб думать, рассуждать, чтоб взвешивать, нужно спокойствие. В смутное время не думают, не рассуждают, не взвешивают. Смутное время — время летающих по воздуху клевет. Всевозможных. Как тополевый пух в весеннем вихре, крутится и летает в воздухе клевета и на все садится. Сначала отрубят голову, а потом уж, на досуге, рассудят: можно ли было верить.

— Но не могу же я... не могу... не могу молчать...— рыдала Анна Ивановна, припав к его плечу,— когда мы столько боролись, мучились, перестрадали... вынесли все на себе... И вдруг приходят какие-то Зеленцовы... Плотниковы... Плотниковы какие-то, мальчишки, дрянь...

— Аня! Аня! — с испугом воскликнул Петр Петрович.— В нашем доме не должно, чтоб это раздавалось. В кудрявцевском доме. Я сам страдаю этим,— продолжал он, понизив голос, словно исповедуясь, словно боясь, что кто-нибудь подслушает то, в чем он сознавался,— я сам ловлю себя... Я часто теперь, читая в газетах что-нибудь страшное, думаю с радостью, со злорадством, Аня, я думаю: «Ага, мальчишки!» И ловлю себя на этой мысли и зажимаю рот своей душе. Хуже! Минутами мне даже хочется, чтоб «они» ничего не сделали, чтоб они погибли, погубили других. «Пускай». Я комкаю те радикальные газеты, на которые я же сам подписался и для которых теперь «Кудрявцевы» — чуть не позорная кличка отсталых: «Мерзавцы! Мальчишки!..» И... вчера, чтоб забыться, я читал Чехова... Его «Скучную историю»... Тихого Чехова... И знаешь что? Даже Чехов обжег меня своим кротким взглядом, как огнем. Я прочел, как старый профессор кричит, когда вот так же раздается: «мальчишки».— «Замолчите, наконец! — кричит профессор.— Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями! Довольно!» И мне послышалось, Аня, что это на меня крикнул профессор. Не надо, Аня. И я показался себе такой же жабой. Нам не должно быть жабами и отравлять воздух своими дыханиями. Не говори этого. Никогда не говори!

И он поцеловал в губы свою жену, словно желая закрыть ей уста этим поцелуем.

— Ты знаешь, Аня, что я чувствую? На днях, говоря с губернатором, я вспомнил фразу из «Короля Лира».

— Я слышала об этом... И что говорит губернатор...

— Вот видишь! И тебе все передают обо мне! Все неприятное! Так вот я чувствую себя после того заседания, после этого разрыва,— смейся! — королем Лиром...

— Еще бы! Неблагодарность!..

— Нет! Не Лиром, которого выгнала Гонерилья. Не Лиром, которого прогнала Регана. А просто Лиром, который разорвал с Корделией. Мне кажется, что я, поссорившись, расстался навек со своими собственными детьми... И потерял их.

Теперь Анна Ивановна обняла его, грустного, убитого, поникшего, с состраданием:

— Ты очень страдаешь, Петя?

Он покачал головой.

— Нет. Теперь нет. Словно упал с Эйфелевой башни.

Теперь у меня просто все болит и ноет. Но на душе спокойно: ниже падать некуда!

И при этих словах и при этом тоне у Анны Ивановны перевернулась душа.

— Но что же, что же переменилось? Разве ты не тот же?

— Аня, мы вместе пережили жизнь. Ты была мне женой и другом. В самые трудные минуты, тогда даже, когда ты не понимала, что происходит,— ты смотрела на меня с верой. Я тот же, Аня, и, что бы ни происходило кругом, с такой же верой смотри,— ты можешь смотреть на меня.

— Но я привыкла не только верить,— гордиться тобой.

— Тщеславиться мной, Аня,— с мягкой, нежной улыбкой поправил Петр Петрович,— видеть кругом общее поклонение мне. Этого, только этого больше не будет. А гордиться своим мужем ты можешь. Разве можно перестать гордиться человеком, который откровенно сказал, что он думает, как он верит. Верь, Аня, среди всего, что я сказал «там», не было ни одного слова не продуманного, не выстраданного, за которое я не пошел бы на плаху. Так-то, Аня. Мы много пережили и вынесли вместе. Перенесем же и это последнее несчастье,— видит бог, тягчайшее изо всех,— так, как должно добрым, умным, честным,— пусть смеются над этим словом! — двум «либеральным» людям.

XIV

Новая репутация Петра Петровича Кудрявцева, как масляное пятно, расходилась по стране.

«Гражданин» писал:

«Средь наших Равашолей произошел раскол. П. П. Кудрявцев, «тот» Кудрявцев, «знаменитый» Кудрявцев, кто бы это мог подумать еще месяц тому назад? — оказался недостаточно сумасшедшим для наших радикальных болтунов. Не знаю, да и мало интересно знать,— как мало интересны поступки буйных больных,— чем именно провинился «лидер» перед его стадом. То ли он не пожелал отдать половину России инородцам, то ли смел не согласиться, чтобы для большого привлечения нашей неучащейся молодежи в университеты им посадили во время лекций на колени по стриженой барышне. Но факт совершился. «Знаменитому» провозглашена либеральная «ана-

фема», самая свирепая из анафем, куда более свирепая, чем та, которую возглашает протодьякон Гришке Отрепьеву и ему подобным. Конечно, по человечеству, я радуюсь выздоровлению г. Кудрявцева, как радуются каждому выздоровевшему в сумасшедшем доме. Но позволяю себе спросить у г. Кудрявцева и его совести: зачем же он, немолодой человек, столько лет морочил голову тем самым несчастным мальчишкам и девчонкам, которые теперь ему же изрекают «анафему»? Зачем насаждал тот «радикализм», от которого в решительную минуту он столь благоразумно бежал под «сильную руку» власти, в лице местного губернатора? А впрочем... В том сумасшедшем доме, который называется теперь Россией, все возможно, и я на старости лет, вблизи от конца жизненного пути, ничуть не удивлюсь, если услышу, что г. Кудрявцева прочат чуть не в министры. Ничему не удивляться — привилегия старости и психиатров, живущих в сумасшедшем доме».

И словно в ответ на это, все газеты облетела неизвестно откуда взявшаяся телеграмма:

«По слухам, известный деятель П. П. Кудрявцев назначается на высокий административный пост».

В «Московских ведомостях» появилась корреспонденция:

«Событием нашего города,— писал какой-то «истинно русский человек»,— служит крамольное собрание, устроенное без дозволения властей в доме застарелого в преступном либерализме г. Семенчукова. Что только делалось на этом «собрании» крамольников, изменников, торговцев своей родиной и прочих интеллигентных тварей! Говорили зажигательные речи, плясали бесстыдные пляски (участвовали и дамы из породы «интеллигенток») под дирижерством известного политического преступника г. Зеленцова. Особым неистовством в этой преступной вакханалии, в пении и плясках (это происходило в субботу, под праздник!) отличались какой-то малый в мундире техника и некий г. Плотников, на преступную политическую деятельность которого, надеемся, хоть после этого обратит внимание местное начальство в лице нашего уважаемого губернатора, который, как говорится, шутить не любит. Православные люди, идучи от всенощной и проходя мимо ярко освещенного дома г. Семенчукова, искренно возмущались безобразием. И мы сами слышали от многих и многих почтенных людей такие пожелания:

«Разорвать бы их на клочья, сквернавцев».

Россия была бы продана иноземцам собравшимися крамольниками. Но тут случилось истинное чудо, которое мы можем приписать только справлявшемуся на следующий день празднику. Чудо просветления вечной истиной слабого человеческого разума! Долгое время ошибочно считавшийся «либералом» дворянин Петр Петрович Кудрявцев не вытерпел продажных разговоров о разделе между иноземцами земли русской. Вскипело его русское сердце, и возговорил болярин и отделал интеллигентную шушеру так, что она, как говорится по-русски, до новых веников не забудет. Как некий новый болярин князь Пожарский, болярин Петр Петрович Кудрявцев разбил врагов России в пух и перья, за что, как мы слышали из верных рук, он получил уже благодарность со стороны начальства. Теперь все благомыслящие люди нашего города любят и благословляют доблестного болярина Кудрявцева, а крамольники его чураются. Крамольное собрание, наверное, закончилось бы избиением изменников, и не на словах только, но бдительная полиция явилась вовремя и, закрыв преступное сборище, переписала негодяев по именам, чем и спасла их от ярости народной. Теперь среди благомыслящих людей нашего города только и разговоров, что следует крамольников качнуть так, чтоб от них только клочья полетели и, по русскому выражению, дух из них вылетел, а болярину П. П. Кудрявцеву, который стал всем вдруг дорог и мил, словно родной,— честь и слава во веки веков!»

Шарапов прислал ему «Пахаря» и еще какую-то мерзость.

А радикальная печать...

С прямолинейностью и жестокостью молодости она клеймила «постепеновца», «примиренца», «отсталого» и «перебежчика».

«Из какой могилы, какого давно сгнившего восьмидесятника поднялся этот смрад, который называется г. Кудрявцевым?» — в каком-то истерическом припадке писал один из самых ярых радикалов.

Имя «Кудрявцева» снова было нарицательным.

Но с каждым днем оно становилось все более ругательным и обидным.

Петр Петрович молчал и только глядел широко изумленными, полными ужаса глазами, словно наяву перед ним проносился кошмар.

— Минутами мне кажется, уж не сошел ли я с ума и

не кажутся ли мне в галлюцинациях чудовищные, невозможные вещи?!

Анна Ивановна задыхалась среди всего этого:

— Отвечай! Опровергай!

— Кому? Кого? Бегать по всему городу? Ездить по всей России? Бросаться на шею одним: «Я ваш!» Бить других: «Вы лжете,— я не с вами!» Кому отвечать, когда все, кого я считаю своими друзьями, считают меня своим врагом? Кто будет меня слушать? Что сказать? Что, что я им скажу? Свое «верую»? Я его уж сказал. Видит бог, есть ли в нем что-нибудь похожее и на все это, на все, что пишут, говорят, что слушают, чему верят.

— Что же делать? Что же делать?

— Одна из тех обид, на которые можно жаловаться только истории. Она разберет и вынесет приговор. Единственная инстанция!

— После нашей смерти! Но теперь-то, теперь?

— Приникнуть к земле и лежать, и не дышать. Когда несется ураган, остается одно: приникнуть к земле и лежать, и ждать, когда ураган пронесется и вновь засветит солнце. Тут часто в несколько минут окоченеешь, и счастлив, кто живым переждал ураган и уцелел: их согреет солнце.

В городе происходили заседания.

Петр Петрович не получал на них приглашений.

Он слышал только, что Зеленцов с каждым собранием «развертывается» все шире, шире:

— Как он развертывается! Властитель дум! — говорили, захлебываясь.— Да-с, видно, было время человеку многое обдумать во время трехмесячных якутских ночей!

— Русские — странный фрукт. Они лучше всего зреют на крайнем севере.

Но зато Петр Петрович получил известие, которое его ошеломило.

В городе образовалось какое-то «отделение общества истинно русских людей».

Под председательством выгнанного из сословия за растраты клиентских денег бывшего присяжного поверенного Чивикова.

И первое же заседание «общества» было посвящено ему, Кудрявцеву.

Была постановлена резолюция:

— Благодарить уважаемого П. П. Кудрявцева за его

истинно патриотический подвиг и горячий отпор крамольникам страждущей от измены земли русской.

Петр Петрович нервно вздрагивал при каждом звонке:

— Они?

Но, вероятно, возымело действие сказанное им в клубе:

— Всякого мерзавца, который осмелится явиться ко мне с благодарностью, лакеям прикажу спустить с лестницы!

Благодарность постановили, но принести ее не посмели.

Чувство гадливости, чисто физическое чувство тошноты охватывало Петра Петровича:

— Меня отталкивают одни, меня тащат к себе за рукава другие!

Он чувствовал себя в положении человека, которого мажут какой-то отвратительной зловонной грязью.

XV

— Это возмутительно! Это уж бог знает что! — вбежала однажды в кабинет мужа взволнованная Анна Ивановна.

Она была в пальто и шляпке, только что вернулась от знакомых.

— Ты слышал, что вчера произошло у Плотниковых? Я Плотникова не люблю. Но это уж превосходит всякую меру.

— Что? Что?

— Представь себе. Вчера... У Плотниковых собрались. Был Зеленцов. Говорил свои знаменитые речи: «Значит!» «Значит!»

— Аня! Аня!

— Я их всех не люблю за тебя. Я их ненавижу! Ненавижу! Но это... Представь, к дому явилась толпа. Вот эти, вновь образованные. «Истинно русские»-то. Черная сотня. Осада. Настоящая осада! Бросали камни в окна. Кричали: «Выходи!» Ломились в двери. Гости должны были прождать до трех часов ночи, пока явилась полиция. Вывели под конвоем. Плотникову попали камнем в голову. Он теперь лежит.

— Ужас! Возмутительно! Безобразие.

— Ты себе представить не можешь, что делается. Я взволнована. Не могу тебе рассказать подробно. Но

ужас! Ужас! Один ужас! Я сейчас видела madame Плотникову. Она была, где я,— у Васильчиковых. Показывала письма, какие они получают ежедневно. Безграмотные. С угрозами смерти. Какие-то приговоры. «Мы, истинно русские люди и патриоты своего отечества, постановили покончить с тобой и с твоими щенятами». И все это безграмотно, каракулями. Страшно! Какой-то тьмой веет. Веришь ли, самое ужасное в этих письмах, это — их безграмотность. Я не могу видеть этой буквы «ять», которая по ним прыгает,— словно удар дубиной,— куда ни попадя. Madame Плотникова говорит: «С тех самых пор, как муж тогда в собрании сразился с Петром Петровичем, мы не знаем секунды спокойной...»

Петр Петрович вскочил:

— Я еду к полицмейстеру. Мне не хотелось бы обращаться к губернатору, но если придется, я поеду и к нему. Я поеду куда угодно...

— Да ты же здесь при чем?

— Ах, матушка! Не желаю же я, чтобы, рассказывая грязные, отвратительные, ужасные истории, в них упоминали имя Кудрявцева. Только этого еще недоставало. Только этого!

И Петр Петрович поехал к полицмейстеру.

Полицмейстер принял Петра Петровича, «ввиду теперешних отношений губернатора», немедленно, стараясь быть как можно «корректнее»...

Он любил говорить:

— В нашем деле корректность — это все.

Полицмейстер «самым корректным образом» указал Петру Петровичу на стул и пододвинул ему серебряный ящик с папиросами:

— Дюбек выше среднего. Не угодно ли?

XVI

— Благодарю вас! — Петр Петрович мягко отодвинул серебряный ящик с папиросами.— Я приехал к вам по чрезвычайно неприятному делу. Вам, конечно, известно, что вчера черная сотня...

Полицмейстер сделал безумно удивленное лицо:

— Виноват-с! Как вы сказали?

— Черная сотня!

— Не слыхал-с!

Полицмейстер с недоумением пожал широкими плечами:

— Приходилось, действительно, в некоторых бьющих на сенсацию уличных листках видеть такое название. От некоторых бьющих на популярность адвокатишек, докторишек, учителишек...

Петр Петрович добродушно улыбнулся:

— Ну, милый г. полицмейстер, нельзя же требовать, чтобы все люди были полицейскими! Можно позволить, чтоб люди были и докторами, и адвокатами, и учителями. Я не знаю, как вы называете. Но «черной сотней» эти банды зовет не несколько листков, а все русские газеты, за исключением трех-четырех. Точно так же зовут их не некоторые доктора,— или «докторишки», на полицейском языке,— а вся Россия, опять-таки за редкими исключениями... Не перебивайте меня. О названиях мы спорить не будем. Я не за тем, конечно, к вам приехал. Так вот... Вам, конечно, известно, что эти «хулиганы» или «джентльмены»,— это все равно,— что толпа этих господ произвела вчера возмутительное безобразие у дома г. Плотникова...

— Мне известно это, как все, что случается в городе! — с достоинством ответил полицмейстер.

Он решил «дать урок» этому господину.

— Я вас поздравляю.

— Не с чем. Этот же случай известен мне в особенности, так как только благодаря чинам вверенной мне полиции сообщники г. Плотникова, собравшиеся к нему под видом гостей, остались невредимы и избегли негодования возмущенной толпы. Это еще один случай, когда полиция, именно полиция...

Полицмейстер снисходительно улыбнулся.

— ...спасла врагов существующего порядка.

И он с гордостью выпалил:

— Странная аномалия, похожая на парадокс!

— Однако при этом парадоксе Плотникову проломили голову.

— Могло кончиться и хуже! — наставительно заметил полицмейстер.

— И полиция явилась только в три часа ночи!

— Полиция является на помощь, когда ее призывают. Полиция не может насиловать людей своей помощью!

— Но им, может быть, нельзя было выбраться из дома, чтоб послать за помощью.

— Мне об этом ничего не известно. Вы говорите: «мо-

жет быть». Значит, и вам положительно ничего не известно. Оставим говорить о том, чего мы не знаем, и перейдем к фактам. Мне очень прискорбно, что вам — именно вам — эта история передана, очевидно, в совершенно превратном освещении.

— Почему же «именно мне»?

— Ввиду отношений к вам г. начальника губернии, его превосходительства. Если я имею удовольствие видеть вас потому, что вы явились жаловаться на действия полиции,— я свой взгляд на это уже изложил. Я вижу в этом только новый случай спасения полицией врагов существующего порядка. Только! Так я и доложил по начальству. На основании проверенных фактов.

— Речь идет о шайке...

— Позвольте-с! Вот вы изволите выражаться: «шайка». Но позвольте-с! Если есть люди, которые позволяют себе кричать разные там «долой», то на каком основании я должен запрещать людям, которые кричат: «да здравствует»? Я — полицейский. Не более! Но и не менее! Ни-ка-ких «долоев» во вверенных мне районах я кричать ни-ко-му не дозволю-с! Пресеку, и в самом начале. И об этом объявлено. Но если, несмотря на объявление, тем не менее позволяют себе кричать, то у других может явиться совершенно естественное желание кричать «да здравствует». Кажется, логично? И что тут может поделать полиция? И как гг. либералы протестуют против этого,— решительно не понимаю. Кажется, по законам либерализма прежде всего-с: свобода!

— Речь идет не о крике, а о камнях.

— До за до-с, как говорится-с. И к этому гг. поклонники свободы должны быть приготовлены. На днях, в собрании «истинно русских людей» присяжный поверенный Чивиков...

— Бывший!

— Он ведет дело о восстановлении его в сословии. Присяжный поверенный Чивиков очень дельно и толково сказал: «Что ж они думают? Мы не выстроим консервативных баррикад?» Выстроят!

— Мы отвлекаемся от предмета.

— Позвольте-с. Нет-с. Позвольте мне изложить программу. Развернуть, так сказать. Тогда вы наглядно увидите, что вы, извините меня, ошибаетесь. Не по своей воле! Я не говорю! Вас ввели в заблуждение злонамеренные лица.

— Благодарю вас за оправдания, я в них не нуждаюсь,— вспыхнул Петр Петрович,— и попрошу вас быть поосторожнее в выражениях. Мне сообщило обо всем этом лицо, о котором я не позволю... моя жена!

Полицмейстер «корректно» склонил голову.

— Мое уважение вашей почтенной супруге. Но аудиятура алтера парс? Плотников должен был знать. Я полицию поставил как? Обыватель благонамеренный, раз он не мутит,— должен видеть от полиции чистоту, предупредительность и уважение. Последнее не требуется, но я отдал приказ: своему обывателю, известному, делай под козырек! Подзывает тебя прилично одетый человек с извозчика: «Где дом такой-то?» — делай под козырек. Если обыватель, как обыватель,— не мутит. Он должен жить спокойно и в возможном почете.

— Это делает вам честь, а обывателям, конечно, удовольствие, но...

— Такова политика!

— Но ваша внутренняя политика...

— Это политика не моя, а высших лиц. Я только исполнитель. А ежели обыватель ведет себя не как следует и мутит,— прошу не прогневаться. И г. Плотников должен был это знать. Я приказал полиции быть корректной к обывателю. Всякий обыватель почтенен. Но, дорожа честью того учреждения, в котором я имею честь служить и мундир которого я имею честь беспорочно носить,— я не могу приказать вверенным мне чинам делать под козырек врагам существующего порядка и лишать благонамеренных и добрых граждан покровительства законов и полицейских постов,— для того, чтобы чины полиции неотлучно находились при господах Плотниковых и охраняли их неприкосновенность издавать возмутительные клики или говорить зажигательные речи. Извините-с, полиция не за тем поставлена!

— Но вы не можете же,— вы, вашей властью,— объявлять людей вне закона!

— Я поступаю по закону-с. Составляю протокол обо всяком безобразии, и если находятся виновные, они передаются в руки подлежащего ведомства. Осмелюсь, однако, спросить, почему именно вас столь касается означенное обстоятельство? Вас, кажется, ведь у г. Плотникова быть не могло.

— Не дело полицейского, г. полицмейстер, как бы он высоко ни стоял: городовой, околоточный, полицмейстер,

пристав,— разбирать вопрос, где я «могу» быть, и где не могу. Г. Плотников — мой противник. Мой враг, быть может, по вашей терминологии...

Г-н полицмейстер корректно наклонил голову:

— Знаю-с. С истинным удовольствием слышал о вашей речи, произнесенной на собрании...

— Это мне все равно,— с удовольствием, без удовольствия.

— И с благодарностью. Большую услугу оказали нам. Разбили сплоченность. Полиция больше всего не любит сплоченности.

— И это мне все равно! — почти крикнул Петр Петрович, чувствуя, что у него краснеют даже ноги.— Мое имя замешивают... что с тех пор... и я не хочу... вы понимаете?

Он поднялся.

Поднялся и полицмейстер:

— Не волнуйтесь. Чтоб доказать вам, до чего полиция корректна к благонамеренным гражданам, извольте-с... Против дома Г. Плотникова будет поставлен городовой. День и ночь. Нарочно с угла пост переведу.

— Я понимаю вас! — говорил полицмейстер, провожая Кудрявцева из кабинета.— Великодушие к врагу. Я сам такой! Ваше возмущение тем более почтенно, что вам-то, собственно, этой, как вы изволите выражаться, «черной сотни» бояться нечего.

Петра Петровича словно арапником ударили вдоль спины.

У него захватило дух.

А вечером он писал в своих «записках», и слезы стояли у него на глазах:

«В грязь втоптали, в грязи утопили, и теперь даже полицмейстер ногой наступил. Брр...»

XVII

Страшно удивленный, не успел еще Петр Петрович ответить лакею, подавшему ему визитную карточку,— как портьеры раздвинулись, и в дверях появился довольно полный человек, среднего роста, с волосами до плеч, с издерганным лицом, с сильной проседью в бороде.

— Позволите?

— Извините, я...

Вошедший сделал уже шаг в кабинет.

— Отошлите лакея, прошу вас. Не надо при лакее...— каким-то ужасным французским языком сказал он.

Кудрявцев повернулся:

— Степан, иди.

Пользуясь этим моментом, вошедший успел сесть и смотрел теперь на Петра Петровича с ясной и светлой улыбкой:

— Простите, я вошел, не дожидаясь ответа на визитную карточку. Пустая формальность! Ответ был известен заранее: «Не принимать».

— Тем более, г. Чивиков!

— Меня зовут Семен Алексеевич.

— Тем более, г. Чивиков!

Это был он, председатель местного отделения «Союза истинно русских людей», выгнанный присяжный поверенный Чивиков.

— Тем более, г. Чивиков!

— Тем не менее я попрошу вас уделить мне полчаса вашего дорогого времени. Только полчаса. Всего полчаса.

Он умоляюще показал полпальца.

Г-н Чивиков не терял своей ясной и светлой улыбки.

— Я позволю себе быть назойливым, потому что одушевлен самыми лучшими намерениями. Мне пришла в голову, пускай, странная мысль: я хочу, чтоб вы меня знали!

Петр Петрович усмехнулся.

— Это напоминает анекдот про одного известного русского писателя. Он пришел однажды к другому русскому писателю, с которым они были врагами. Тот был удивлен. «Я пришел, чтоб рассказать вам происшествие, которое со мной случилось. Сегодня утром я был в квартире один и услышал на лестнице детский плач. Я вышел. Плакала девочка, ученица соседки-портнихи. Хозяйка ее страшно высекла и выбросила на лестницу. Я взял девочку к себе, раздел ее, чтоб помазать хоть маслом рубцы, ссадины, чтоб утишить боль. Вид исстеганного детского тельца пробудил прилив сладострастия, и я... я изнасиловал бедную девочку». Писатель вскочил, полный отвращения: «Зачем вы рассказываете мне такие мерзости?» — «Погодите! Потом меня охватил прилив раскаяния и ужаса перед тем, что я сделал. Я подумал: «Как сильнее наказать мне себя? Какую казнь для себя выдумать?» Я решил пойти к человеку, которого я ненавижу и презираю больше всех, и рассказать ему про себя эту мерзость. И вот я пришел

к вам». Если вам теперь угодно, г. Чивиков,— я вас слушаю!

Г. Чивиков все время слушал его внимательно, с горящими глазами, и затем снова улыбнулся ясной и светлой улыбкой.

— Остроумно, как всегда! Итак, я продолжаю. Мне хочется, чтоб вы меня знали. Вам, конечно, известно, что я исключен из почтенного сословия присяжных поверенных за систематическую растрату клиентских денег. Что, если я скажу вам: я исключен не за это?!

— Ради бога! У вас есть свои советы, палаты. Оправдывайтесь перед ними! Меня это не касается!

— Если вы спросите меня,— как ни в чем не бывало, продолжал г. Чивиков,— растрачивал ли я клиентские деньги, я, прямо глядя вам в глаза, отвечу: «да». И скажу правду. Если вы тот же вопрос зададите большинству моих так называемых «коллег», они вам, так же прямо глядя в глаза, ответят: «нет» — и солгут. В этом и вся разница. Растрата казенных денег среди нашего брата явление столь же распространенное, как ношение адвокатского значка с надписью «закон»!

— Вы лжете, г. Чивиков!

— Делается это обыкновенно так. Какое-нибудь неожиданно быстрое получение. Клиент зайдет еще недели через две. Позаимствуешь временно на собственные надобности двести, пятьсот, тысячу, несколько тысяч. Глядя по калибру адвоката. Ничего дурного! Просто какой-нибудь спешный платеж. Является клиент, ему пополняется из денег другого клиента. Другому — из денег третьего. А попутно перехватываются еще суммы. Тоже какие-нибудь платежи по дому, жене платье, в карты проиграл, временная заминка в делах,— мало ли что! Надежды: вот скоро должен получить крупный гонорар, сразу все прорехи заткну. Начинается вожденье клиентов: еще не получил. И вертится так раб божий, пока в один прекрасный день не попадет на какую-нибудь каналью, беспокойного клиента, который ночей не спит и сам везде бегает, нюхает. Есть такие крысы, сна на них нет! «Как не получали денег, когда еще две недели тому назад вам внесены?» И испекся! Болезнь, повторяю вам, общая...

— Вы клевещете, г. Чивиков!

— И карать за нее одного... Есть подмосковное село такое, Большие Мытищи. Все население, поголовно, наследственно даже, больно дурной болезнью. Так там, знае-

те, человеку не иметь носа — не такой еще порок! И исключен я... Вы не изволили читать в отчете «совета присяжных поверенных» постановление о моем исключении?

— Не интересовался и не интересуюсь!

— Прочтите. Очень назидательно. На шестнадцати страницах. На протяжении печатного листа люди доказывают, что тратить чужие деньги нехорошо. Словно сами себе это внушить хотят! Для человека зрячего сказать: «свет есть свет»,— и довольно. И только слепому надо целый день об этом говорить, да и то он не поймет! И исключен я совсем не потому, что страдал общей болезнью, а потому, что другой общей болезнью не страдал. Из Уфы в Киев, из Киева в Пермь, из Перми в Варшаву и из Варшавы в Севастополь на защиту стачечников не метался. Вызвать в качестве свидетелей Максима Горького и Сергея Юльевича Витте не ходатайствовал. С председателями по этому поводу в пререкания не вступал. И зал заседаний демонстративно не покидал. Словом, вышвырнут я за борт из либеральной профессии за то, что я «негодный консерватор». И обезглавлен я, гильотинирован за убеждения. Позвольте же-с протестовать во имя свободы!

— У нас больше всего кричат о свободе «Московские ведомости» и «Гражданин». Какая свобода? Делать мерзости? И «свобода насилия»?

XVIII

— Мнение свободно. Убеждение не может быть наказуемо. И если гг. либералы требуют свободы для мнений социал-демократических, социал-революционных, анархических, то как же-с вести на эшафот за мнения консервативные? А между тем, пред вами жертва собственного консерватизма! Я казнен за убеждения. Лишен, правда, не жизни. Но того, чем жизнь красна. Что дороже жизни. Без чего жизнь превращается в сплошной позор и мучение. Я лишен чести. Как я не лишил себя ненужной жизни в эти страшные минуты? — спросите вы. Не спорю, мысль о самоубийстве первой пришла и мне в голову. Самые твердые умы несвободны от минуты слабости. Но я поехал в Кронштадт... Вы можете улыбаться.

— Я ничему не улыбаюсь.

— Но я человек верующий. Глубоко верующий. Наивно верующий. И я прибег к нашему, к простому, к народному, к «домашнему» русскому средству: я поехал в Крон-

штадт. И там молился. И по молитве моей свершилось чудо. Я был исцелен от греха самоубийства и, вернувшись сюда из Кронштадта, просветленный, основал здесь отделение «Союза истинно русских людей».

— Не кощунствуйте, г. Чивиков! Неужели вы не понимаете, что вы кощунствуете,— кощунствуете, приплетая религию к вашим грязным, к вашим мерзким делишкам!

— Браните меня! А я вам отвечу спокойно:

«Браните меня, глубочайше уважаемый Петр Петрович, я не рассержусь на вас, ибо это брань незнания». Итак, свершилось чудо: человека утопили, а он вылез на берег и брючки одел-с. Как в древнем русском сказании. Стенька Разин с размаха кинул в Волгу красавицу татарскую княжну, а она выплыла к его лодке русалкой, посеребренной лунным светом, и запела еще слаще, чем певала татарская княжна! Человека с одного берега бросили с камнем на шее в воду, а он нырнул и на другой берег вынырнул и кричит: «Вот он я! Я еще и к вам, други милые, приду!» Не чудо? Вы спросите у меня, что у меня за народ в моем «Союзе истинно русских людей» или, как вы изволите называть, в «черной сотне»? Между нами разговор,— откровенно, как я и все откровенно говорю вам, положа руку на сердце, скажу вам: неважный народ! Темный народ. У меня Клепиков есть, домовладелец. Он из-за сына пошел. Сын у него «бунтует». Сын говорит как-то: «Я на сходку иду!» Знаете, что ему жена Клепикова, мать, нашлась сказать: «А у нас, Степа, нынче оладьи. Твои любимые. Право, остался бы!» Не трогательно? У меня Семухин есть, у него портняжное заведение. Он из-за керосина. Из-за керосина-с «истинно русским человеком» сделался. Факт! О керосине помянуть,— в зверство впадает. «Вешать,— кричит,— их, подлецов, мало. Жилы из них тянуть надо. Да всенародно. Чтобы все видели, как мучатся. Чтоб никто не смел бунтовать. Чего правительство только глядит!» Заведение большое. Керосина требуется много. «Из-за них, подлецов, керосин только с каждым днем дорожает». Какой народец-с! Если им сказать, чтоб за полтинник «народные права» купить,— не дадут-с. Полтинник им дороже. Какова гражданская зрелость?!

— И это ваша «политическая партия», г. Чивиков.

— И сила-с! Домовладельцы, лавочники! Избиратели! И что, если я вам скажу, глубокоуважаемый Петр Петрович, что я собрал эту силу для того, чтоб к вашим ногам ее положить? Будете вы удивлены или нет? Вот он какой,

Семен Алексеев Чивиков, которого вы сразу решили в сердце своем: «Не принимать!» Ваш единомышленник!

— Новость! И скажу: из неприятных!

— То-то и оно-то! — воскликнул г. Чивиков, без внимания скользнув по второй половине фразы.— Все мы, русские люди, словно в одиночном заключении, в камерах, друг от друга каменными стенами отделены, содержимся. Сами себя содержим! До того в «одиночках» одичали, что даже и видеть друг друга не желаем! Я, Семен Алексеевич Чивиков, создал огромную силу и сжал ее в могучий кулак для чего? Для того, чтоб поддерживать то, что и вы недавно в собрании изволили излагать: Государственную думу в дарованных размерах. Вот и я, с одного берега утопленный и на другом берегу чудом вынырнувший, вновь на ваш либеральный берег переплыл и руку вам подаю: «Здравствуйте!» А господа крайние пусть на островке посередь реки одни посидят. Оба берега наши!

— Какое-то уж виртуозничество предательства, г. Чивиков! От либералов к консерваторам и среди консерваторов тайным либералом!

— Отнюдь! Я прямо — я вам все, как на духу.... Спросите меня: «Что у тебя, Чивиков, внизу надето?» — Покажу! Я вам прямо говорю: я консерватор! Я чистейшей воды консерватор! Мне никаких политических требований, расширений не надо! Вы спросите меня: зачем же я иду в Государственную думу? «Нелогично, а ты, брат, человек умный». Я прямо вам отвечу: из всей программы Государственной думы меня интересует один пункт. Последний! «Государственной думе предоставляется обсуждать учреждение акционерных предприятий, если при сем требуется изъятие из существующих законов». Вот! Я деятель практический. Сделать законы, жесткие и твердые как камень, законами гибкими и эластичными и из прокрустова ложа превратить их в широкую, двуспальную, пружинную, мягкую, удобную постель, на которой Россия могла бы родить грандиозную промышленность! Какая задача для реформатора! Создать «изъятиями» везде удобные условия для возникновения новых, новых и новых предприятий! Создать грандиозную промышленность, накормить миллионы ртов, наполнить десятки миллионов рук живой, прибыльной работой. Создать несметную армию труда и прогресса. Да, прогресса! Чему мы обязаны тем, что имеем? Откуда взялись эти армии стачечников, поддерживающие всеми забастовками политические требования? Их дала развив-

шаяся промышленность. Еще вчера Толстой во «Власти тьмы» говорил: «Мужик в казарме или в замке чему-нибудь научится». Сегодня мы к этим старым народным университетам — казармам и тюремному замку — прибавляем еще фабрику! Создать тысячи «народных университетов» и в них призвать к политическому сознанию миллионы людей! Какая задача экономическая, политическая. Какая высота, на которой кружится голова!

— И все при помощи «изъятий из законов»?!

— Изъятий. Здесь мы будем сильны-с. И наша партия...

— «Партия изъятелей».

— Партия изъятелей будет сильна, с нами будут считаться, за нами будут ухаживать, мы будем ценны,— мы, экономическими, настоящими, интересами связанные с Думой. Не мальчишки какие-нибудь, не беспочвенные мечтатели, а серьезный, деловой, практический народ, не за химерами, а за пользой пришедший в Думу. Такие люди желательны. С такими людьми приятно иметь дело. На таких людей положиться можно.

— Еще нет парламента, а вы уже готовите Панаму!

Г. Чивиков улыбнулся.

— Остроумны, как всегда.

— Что ж вам угодно, собственно, от меня?

— В двух словах. Наш город избирает двух представителей. Одним буду я, другим, хотите, вы? Я не хочу узурпировать Думу в пользу одних консерваторов. Я хочу дать вам возможность работать. С вами к нам придут умеренные, и мы будем иметь большинство. От нас будет зависеть назвать двух представителей.

— Другими словами, вы являетесь ко мне, чтобы я поставил свой бланк... Свое чистое, честное, в общественном смысле кредитоспособное имя на вашем сомнительном векселе?

— Зовите, как хотите. Вы получите возможность работать, заниматься деятельной политикой, проводить ваши идеи. Взамен? Взамен вы будете поддерживать нас. Не понимаю, что тут предосудительного? Политическое соглашение. Делается во всей Западной Европе. К тому, у вас, в имении, тоже есть руда. Мы можем...

— Подкуп! Знаете, г. Чивиков! У вас скарлатина появляется на свете раньше, чем ребенок!

— В двух словах. Я все сказал. Согласны вы или нет? Я вам предлагаю свою силу...

— Знаете, что я вам скажу? Ужасно, когда нам в лицо плюют те, кого хотели бы мы поцеловать. Но еще ужаснее, когда целуют те, кому мы хотели бы плюнуть в лицо. Вот мой ответ.

Чивиков посмотрел на Кудрявцева с удивлением.

— Значит, вы совсем отказываетесь от политической деятельности? Сходите со сцены? С «теми» вы разошлись, с нами не желаете сойтись. Подумайте.

— Я больше не хочу вам отвечать ни на что и потому вас не задерживаю!

У Петра Петровича от последних слов Чивикова сжало сердце.

Чивиков поднялся.

Взгляд его стал насмешливым и презрительным.

Он пошел было к выходу, но обернулся и оглядел Петра Петровича с ног до головы.

— Я думал, что иду к живому человеку. А пришел уже к покойнику, которому только остается поклониться до земли и поцеловать его в лоб «последним целованием» и сказать: «был»!

— Вон!..

На шум через минуту вошла Анна Ивановна.

Чивикова уж не было.

Петр Петрович шагал по кабинету огромными шагами.

— Что случилось? Ты кричал?

Петр Петрович остановился перед ней и рассмеялся злым и больным смехом:

— Только что совершилось мое отпевание!

— Ты с ума сошел?

В эту минуту лакей подал новую карточку.

— Час от часу не легче! — воскликнул Петр Петрович.— Аня, оставь нас.

И подал ей визитную карточку:

«Мефодий Данилович Зеленцов».

— Проси!

XIX

Зеленцов вошел как-то боком. По тому, как он беспрестанно поправлял очки, беспрестанно запахивал сюртук, видно было, что он страшно конфузится.

Он сунул холодную и влажную руку Петру Петровичу.

Петр Петрович глядел на него с интересом и волнением.

Зеленцов сел, закурил папиросу, ткнул ее в пепельницу, закурил другую, снова ткнул, закурил третью.

Лицо его дергалось. Он улыбался неприятной улыбкой.

И, наконец, заговорил хриплым, странным, не своим голосом:

— Трудно, значит, объяснить, зачем, собственно, значит, я к вам пришел. То есть оно, значит, мне-то понятно, но с вашей, значит, точки зрения...

Он помолчал, словно собираясь с духом.

— Видите. Раз... Это было в Якутской области. Шел второй месяц ночи. Как у вас, значит, говорят: «Второй час ночи»,— так там, мы: «Второй месяц» ночи. Я сидел у себя в юрте, как вдруг дверь отворилась, и вошел мой бывший товарищ. Бывший, значит... Мы ненавидели друг друга, как во всем мире могут ненавидеть друг друга только два русских интеллигента... из-за разниц во взглядах на какую-нибудь эрфуртскую программу! Я кинулся, значит, его обнять. Он сурово отстранил меня рукой. «Я пришел к тебе не в гости. Ради этого я не пошел бы ночью в сорок градусов мороза в пургу за пятьдесят верст, рискуя замерзнуть». Он жил, значит, в другом улусе. «Я много думал в эти двадцатичетырехчасовые ночи, и чем больше думал, тем больше приходил к убеждению, что ты не прав. Даже в Якутской области не вечно длится ночь. Если мы до тех пор не сгнием от цинги...» Он сгнил. «Если мы до тех пор не сгнием, значит, от цинги, мы, быть может, встретимся. Ты во главе одного отряда, я — во главе другого. И знай, что я буду тебя тогда проклинать, потому что я буду уверен, что ты ведешь свой отряд к гибели. Вот то, что я хотел тебе сказать». Повернулся и ушел, рискуя замерзнуть. Продолжать, значит?

— Я вас слушаю.

— Нам, может быть, придется встретиться на митингах, на собраниях, в Государственной думе, значит, в нашей,— он ударил на этом слове,— Государственной думе, вы, быть может, захотите протянуть мне руку для примирения,— я хочу избавить вас, значит, от этого бесполезного труда. Быть может, теперь вы захотите воспользоваться появлением этого «блажного детища хаоса» Гордея Чернова, который страшен всем,— чтобы предложить соединиться... Подсылы были.

— Я никого не подсылал.

— Г. Мамонов...

— Прошу меня не смешивать с Семеном Семеновичем. Я желаю быть казненным отдельно. Отрубите мне голову, но на другой плахе. Простите мне эту брезгливость. Но даже на одной плахе я не хочу лежать с ним головами.

— Так вот, значит. Я пришел сказать вам, что не только пред лицом опасности,— пред лицом самой смерти между нами примерения нет. И не может быть. Во избежание недоразумений я считаю долгом, значит, сказать вам. Я вас ненавижу. Ненавижу и...

Петр Петрович съежился, словно над ним повис удар. Он чувствовал слово, которое произнести не поворачивался язык Зеленцова.

Зеленцов тяжело дышал.

— Ненавижу. Довольно!.. Вам, может быть, не интересно почему. Я вас оскорбил в вашем доме. Вы вольны встать, значит, и крикнуть мне: «Вон!» Это ваше право.

— Говорите! — глухо и покорно сказал Петр Петрович.— Я знаю и вижу, что между вами и мною непроходимая, бездонная пропасть. Но кто ее вырыл? Какое землетрясение ее образовало? Я не знаю. И клянусь вам, что, несмотря на ваши оскорбления, мне тяжелее этот разлад с вами, чем ссора с Семеном Семеновичем, который старается быть моим единомышленником. Объяснимся же, быть может...

— Ничего не может быть. Я ненавижу, значит, в вас все. Потому что ненавижу ваше барство... А вы весь состоите из барства. Я ненавижу ваш голос, походку, улыбку,— благовоспитанные голос, походку, улыбку. Я ненавижу ваше красноречие. Все для вас повод к красивой фразе. Вы все, значит, облекаете в красивую фразу. И все,— жизнь, мученья, страданье,— размениваете на красивые фразы. Вся жизнь для вас — повод быть красноречивым. Я ненавижу улыбку, с которой вы подходите ко всему. У вас на все есть анекдот, острота, смешок, благовоспитанная улыбка, с которой вы говорите о всем, чтобы все смягчить и чтобы людей ничто не пугало. Когда я вернулся из ссылки... И до нас, значит, туда доносилось имя Кудрявцева. Когда я вернулся из ссылки, я, прежде всего, заинтересовался: что этот Кудрявцев? Мне рассказали тысячи ваших bons-mots, ваши шпильки губернатору, пикировку с министром. Как подвиги! Ваши не пропускаемые цензурой — какое страшное гонение! — речи на банкетах в московском «Эрмитаже», в трактире, где стены покрыты, как пылью, налетом либерального гулкого зво-

на. Где колонны скучают, заранее зная, что кто из гг. либеральных ораторов станет за сорок лет в тысячный раз повторять. «Все?» «Все!» — И я, значит, возненавидел вас. И я сказал себе: «Вот вреднейший из вредных людей. Он принес и приносит зла больше, чем кто-нибудь. Он приучал общество к пустякам, к бирюлькам. Он обесценил подвиг! Он остроту, bon-mot возвел в общественный подвиг и отвлекал внимание общества от тех, кто жизнь свою в это время...» О, боже! Когда я вспомню казематы, сквозь стены которых слышался сумасшедший смех сошедшего с ума соседа, тундры, беспросветную ночь и цингу. У меня был, значит, товарищ. Он мне рассказывал о своей матушке, высчитывал часы разницы, представлял ее в своих мечтах: «Что она сейчас делает». И через два года узнал, что мать его два года тому назад как померла. Он думал о ней, как о живой, когда она сгнила. У меня был товарищ. Он был бы, значит, светилом науки. Он жаждал знания. И этим знанием и своими открытиями осчастливил бы мир, человечество. Он был на пороге великих знаний. И его оторвали с этого порога. И он сидел в якутской юрте перед огнем, борясь с охватывавшим его безумием. И пал. От светильника ума я услышал идиотский смех. От светильника, померкшего светильника, я услышал чад и смрад. И что же вы, значит, сделали? Вы отняли у этих мучеников последнее, на что они имели право: внимание общества, преклонение пред их подвигом. Вы отвлекли в другую сторону внимание общества вашими фальшфейерами, вашими шутихами, вашими бенгальскими огнями. Вы подменили подвиг! Вы подвигом сделали bon-mot, остроту, каламбур, пикировку,— притом безопасную. Вы не камер-юнкер?

— Нет. Мамонов камер-юнкер.

— Жаль. Я попросил бы, значит, вас сняться в камерюнкерском мундире и напечатал бы ваш портрет: «Глава русской либеральной оппозиции в полной парадной форме!» Понимаете вы, почему я возненавидел вас, вашу салонную оппозицию, ваши, значит, перевороты, которые вы делаете в гостиной за чаем и печеньем. Дайте мне воды!

У Зеленцова зубы стучали о стакан.

— Мы гибли. Мы гнили. Вы смеете говорить о том, что вы перенесли! Вы напоминаете мне барыню, которая, значит, рассказывала, как на ее глазах пожарный сорвался с крыши и упал в огонь и сгорел: «Я так перепугалась, я так перепугалась, мне ударило в виски». Как будто все

происшествие состояло в том, что у нее расстроились нервы. Я ненавижу вас за вашу барскую замашку,— она у вас в крови,— за крепостную замашку пожинать то, что сеяли другие. Перевороты ведь совершаются не блестящими bons-mots. Все, к чему мы стремимся, все, чего мы достигнем,— все ведь это сделано, значит, не вашими остротами. Это сделано стачками, забастовками, голодовками, добровольными голодовками, тем, что люди подставляли грудь, свою грудь под залпы. Что сделали для этого, значит, вы? Вы в испуге твердили проклятие, положенное Пушкиным на все будущие попытки всякого русского освободительного движения: «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Да! Шестьдесят лет тому назад Пушкин писал, что русский бунт — беспощадный и бессмысленный... Бессмысленный? — А теперь вся Западная, значит, Европа, главари движений, передовые вожди дивятся организованности, обдуманности, планомерности, целесообразности, порядку русского освободительного движения. Кто снял это проклятие с русского освободительного движения? Вы или мы? Вы вашими безопасными пикировками с министрами,— ведь вас тронь — сейчас прошение выше, ведь у вас целый Петербург тетушек, которые, тронь вас, зашумят и загудят, значит, как встревоженный пчелиный улей. Вы или мы, работавшие над этим каждую секунду под грозой крепости и тундры? И вот, когда эти дикие кони объезжены, идут ровной крупной рысью,— вы желаете сесть на облучок, взять в свои руки вожжи и барски править? И покрикивать: «тпру!» Вы продадите нас и народ, ливший свою кровь. Барски продадите то, что сеяли другие. Вы явитесь к встревоженному другими правительству и скажете ему: «Вот какие мы благонравные и паиньки. Какие у нас умеренные требования». И, по барской привычке, представите себя к реформочкам, как к кресту, значит, или награде. «За благонравие». А нас, неблагонравных, заработавших кровью и жизнью ваши «реформочки»? Вы объявите нас первыми врагами. «Дали,— и они все мутят!» И будете расстреливать нас, как врагов, с либеральной точки зрения, но не менее метко. С привычной, барской, наследственной, в крови вашей текущей неблагодарностью, с тою неблагодарностью, с какой отец, дед ваш продавал за стаю, значит, гончих медвежатника, спасшего ему жизнь. Я знаю вашу теорию. Вы ее, быть может, так ясно себе не формулируете,— по барской лени, вам лень даже думать,— на которой вы держитесь. «Уме-

ренным либеральным партиям отказываться от помощи крайних бессмысленно, как войску отказываться от артиллерии». Я знаю ваш расчет: для успеха всякого передового движения нужны два параллельных течения: крайнее и умеренное. Крайнее запугает. Требования у него велики, оно запрашивает страшно много. И потому поспешат войти в соглашение с умеренными. «Выгоднее. Меньше требует». Пусть мы обстреливаем для вас позиции, штурмуем,— идущие позади, держащиеся благородно вне линии огня и попаданья, следующие в обозе, вы, значит, по нашим вы трупам войдете на нами взятую позицию. И не по трупам. По живым еще, по раненым, по истекающим кровью,— и прикажете «похоронить»! Мы больше не нужны. «Это трупы». Нет-с! Вы устроите что-нибудь на взятой нами позиции? Обозная команда,— вы заключите мир, что бы вам ни дали. Ведь не свою, значит, кровь вы лили! Вам разве жаль? Вы, по наследственности, охранительный элемент. Вам нужна свобода? Полноте! Еще заговорили только полусвободно. Еще под свист казачьих нагаек, еще лицом к лицу с солдатскими штыками,— а где же г. Кудрявцев? Всероссийски знаменитый, передовой, первый г. Кудрявцев? Вам нужна приятная, мягкая полусвобода, среди которой ваши мягкие, несильные, умеренные голоса, без особых для вас последствий, звучали бы как громы. И вам воздавались бы, значит, божеские почести: «какой он смелый!» Электрические лампочки вы, — вам нужен сумрак, чтобы вы сияли. А при свете солнца кто вас заметит? И какая масса ваших либеральных репутаций полетит теперь верхним концом да вниз! Вы, значит, ленивы. Вы исторически привыкли все получать даром. Вы хотите власти именем народа? Нет. Власть, это — ответственность. Вы хотите с вашими «совещательными» думами теперешнего же режима, но мягко связанного какими-то лентами. И ответственность будет на режиме. Вы будете советовать, правительство будет не принимать. Вам слава за «смелые» советы, правительству вина за все непорядки. Вы хотите остаться кумирами. Чистенькими пройти среди брызг крови. И остаться дворянами в революции. Мы за «эволюцию». Мы помним-с, и в наших сердцах вырезано то изречение, которым заканчивает, значит, Иоганн Шерр увертюру своей «Комедии всемирной истории». Она великолепно выражает общую ошибку всех западных конституций. «Когда два титана, государь и народ, ринувшись друг на друга и израненные, истекающие кровью, упали

на землю, тогда явился маленький карлик, парламентаризм, и ограбил и того и другого». Мы этого не хотим-с. И у нас этого, значит, не будет. Или не будет совсем ничего. Нам нужна широчайше-демократическая конституция и никакой другой. И никакой другой! И никакой другой! Она нам нужна, как первый этап, как военная база для дальнейшего похода вперед. И вы, которые кричали нам, сидя в обозе, своими пискливыми голосами: «Впелед! Впелед!» — вы, предоставлявшие нам подставлять свои груди,— вы нам не нужны. Вы противны нам. И пропасть, которая нас разделяет,— отвращение к вам! Такой пропасти не перешагнешь. Или можно? Идите сейчас. Пользуйтесь моментом, пока не поздно. Быть может, завтра, значит, выстрелы стихнут. Спешите. Идите в толпу рабочих и подставьте вашу грудь под пули. Вы умрете нашим или вернетесь нашим. Вы останетесь в вашем кабинете,— мое вам почтение. Это все, что я хотел вам сказать.

Зеленцов встал, круто повернулся и пошел из кабинета.

Петр Петрович молча сидел в кресле.

Около портьеры Зеленцов остановился, повернулся и страшно сконфуженно сказал:

— Извините меня за то, что я вам сказал. Я это все принципиально!

Петр Петрович улыбнулся убитой улыбкой:

— Принципиально?.. Сделайте одолжение.

Зеленцов вышел.

XX

Петр Петрович отправился на похороны застреленных рабочих.

Накануне толпа забастовавших рабочих, шедшая по главной улице с красным флагом, встретилась с батальоном солдат.

Толпа пела.

Полицмейстер фон Шлейг потребовал залпа.

Залп был дан.

Толпа с воплем кинулась назад.

Впереди на земле лежало в крови 38 человек.

36 шевелились, стонали, вопили, бились, пытались встать.

Двое, мужчина и женщина, лежали неподвижно.

Мужчина скорчившись.

Женщина раскинув руки и ноги.

— Безобразие! — сказал, утирая пот с лица, молодой поручик, с гримасой, передернувшей все лицо, смотря на раскинувшуюся бабу.

Что он этим хотел сказать,— бог его знает.

Шестеро умерло в городской больнице во время операций и после.

Из раненых едва дышало еще десять.

Губернатор приказал похоронить убитых ночью.

Но в городе происходило что-то еще небывалое.

«Кровь — сок совсем особенного сорта».

Царил ужас.

Рос и откуда-то поднимался все выше и выше.

Словно на дне огромного котла кипело, клокотало. Поверхность воды дрожит и содрогается. Вот-вот все поднимется и закипит горячей пеной.

— Откройте клапан! Дайте выход! — бледный и трясясь говорил губернатору Семенчуков, явившийся к нему по поручению почтеннейших граждан.— Пусть все это разрядится там, за городом, на кладбище. А не здесь. Пусть взрыв произойдет не среди нас. Дайте этому пару выйти, ваше превосходительство. Со свистом и шипеньем, но без катастрофы. Пусть они там поют, говорят. Но там, там! Мы дрожим в наших жилищах.

— Вы не должны бояться!

— Ваше превосходительство! Вы нам запрещаете даже бояться! Но это не в силах сделать никто!

— Вы говорите, как бунтовщик-с!

— Ваше превосходительство! Я говорю, как отец пятерых детей, которых мне ведь безразлично видеть: растерзанных толпой или застреленных шальной пулей. Мне ведь от этого не легче.

Полицмейстер фон Шлейг вошел к губернатору, как он выразился, с особым соображением и вышел от него с выражением удовольствия и полной победы на лице.

— Можете передать всем вашим добрым знакомым,— сказал он, энергичнее, чем обыкновенно, пожимая руку чиновнику особых поручений Стефанову,— что граждане могут быть спокойны. Никаких «долоев» больше не раздастся. Завтра в последний раз.

Похороны были разрешены публичные.

— Предупреждаю,— говорил губернатор всем и каждому,— если полюбопытствуете пойти... Считаю долгом предупредить, что полиции не будет. Подумайте: идти или нет.

Город в немом ужасе ждал похорон.

Половина города ушла на похороны. Другая половина заперлась в своих домах.

На улицах, по которым ехал Петр Петрович, не было ни души.

Нигде не дребезжала даже пролетка извозчика.

Среди белого дня было еще более жутко, чем в глухую полночь.

Казалось, окна домов, в которых не видно было ни человека, с ужасом смотрели на улицу, замерли и ждали.

Петру Петровичу вспомнилась картина. Траншея. Огоньком горит и, очевидно, крутится упавшая бомба. Вот-вот разорвется. И с ужасом искаженным лицом, впившись в землю скорченными от ужаса пальцами, замер, лежит турок и широко раскрытыми, безумными глазами смотрит на крутящуюся перед ним бомбу, которая вот-вот разорвется.

Пустые окна пустых домов показались ему похожими на глаза этого турка.

Городская больница помещалась на краю города.

Дорога к кладбищу шла по пологим холмам.

Был ясный, светлый осенний день.

Когда Петр Петрович выехал на простор из города, холмы чернели от народа.

По дороге, извивавшейся среди холмов, несли покойников.

Над толпой, каждый развернутый на двух палках, плыли два красных флага.

На одном была надпись:

«Российская социал-демократическая партия».

На другом:

«Русская социал-революционная партия. Да здравствует социализм».

На третьем флаге, черном, крупными буквами было написано:

«Героям борьбы за свабоду».

С ошибкой:

— За свабоду.

«Словно нотариальное засвидетельствование руки! Что писали им не интеллигенты-подстрекатели, не пресловутые агитаторы. Что писал собственноручно неграмотный русский народ!» — подумал Петр Петрович.

Полиции, действительно, не было.

И кругом было радостно и светло.

Словно все дышали глубоко и широкой грудью.

Всю несметную толпу окружала, взявшись за руки, цепь собственной охраны.

Рабочие, гимназисты старших классов с красными бантиками на левой стороне груди.

Ни крика, ни лишнего возгласа.

От колоссальной толпы веяло мощью и каким-то великодушием.

Словно лев шел.

«Словно победители!» — подумал Петр Петрович. У него почему-то слегка кружилась голова при этом зрелище и щекотало в горле.

Он был одет попроще, чтоб его не узнали и «не потребовали еще речи, пожалуй».

Он сошел с экипажа и подошел к цепи.

— Не пропустите ли меня, господа, внутрь?

— Товарищи, разомкнитесь. Пропустите! — сказал мягко молодой рабочий с красной перевязкой на руке, очевидно, один из распорядителей охраны.

Цепь разомкнулась и сомкнулась снова.

Идти в тридцатитысячной толпе было свободно, словно он шел по дороге один.

Если же кто-нибудь, торопясь и обгоняя, задевал его слегка плечом или локтем, оглядывался.

— Извините, пожалуйста! Я нечаянно!

Петру Петровичу вспомнилась парижская толпа, где толкают, ходят по ногам, облокачиваются на плечи, и никому не приходит в голову сказать:

— Пардон!

«Медовый месяц, даже первый день свободы и без призора. Лакомятся и даже объедаются вежливостью после «осади назад»,— с улыбкой подумал Петр Петрович.

А из груди что-то поднималось все выше и выше, подступало к горлу и щекотало все сильнее и сильнее при виде этой невиданной русской толпы «мастеровщины».

Подвигаясь поближе к гробам, Петр Петрович обогнал группу людей с белыми перевязками, с красным крестом на левой руке.

Петр Петрович узнал двух знакомых докторов городской больницы. Три студента несли коробки с ватой и бинтами, склянки с жидкостями.

Это был организованный рабочими летучий отряд «скорой помощи».

Впереди шествия шел оркестр реалистов и играл похоронный марш:

«Не бил барабан перед смутным полком...»

Толпа пела:

> «Вы жертвами пали борьбы роковой,
> Любви беззаветной к народу...»

Заканчивали здесь, начинали там.

Запевали звонкие женские голоса, подхватывали мужские.

И песнь, не смолкая, перекатывалась, неслась над толпой.

Петр Петрович слушал с удивлением.

Как все знали слова. Как все знали мотив. Как стройно пели.

Словно спевались годами.

Перед входом на кладбище толпа разделилась.

Среди убитых было пять русских и трое евреев.

Часть пошла за одними, часть — за другими.

— Я за еврейчиками!

— Я к еврейчикам приду потом!

Услышал Петр Петрович сзади себя, невольно улыбнулся и оглянулся.

Говорили двое рабочих. Старый и молодой. Оба с серьезными, угрюмыми лицами.

А к солдату, которого вели под руки впереди него двое рабочих, все обращались:

— Солдатик!

В воротах кладбища у Петра Петровича болезненно сжалось сердце.

Близ церкви, у самой дороги, как раз на пути тридцатитысячной толпы — их семейное «место».

Могилы его отца, его матушки, могилка его сына, которую весной жена сама убирала цветами.

«Их уж, вероятно, топчут сейчас».

И возмущение поднялось со дна его души, и он уже ненавидел эту толпу, ее пение, ее «знамена».

«Какое мне дело до ваших движений, революций. Не топчите моего горя! Не топчите моего сердца! Не топчите того, что мне дороже всего на свете!»

Вот и их «место».

Проходя мимо, Петр Петрович вынул платок и, делая вид, что сморкается, несколько раз вытер глаза.

Могила его сына, вся в цветах, стояла нетронутая, словно ветерок только дышал вокруг нее.

Толпа осторожно, деликатно обходила решетки, памятники, деревянные кресты, могильные холмики, и ничья рука не протянулась, чтоб сорвать хоть один цветок.

Цветы стояли свежие и нетронутые, и теплились, мигая, лампадки перед маленькими образками в крестах.

Петру Петровичу вспомнились похороны Чехова, на которых он был в Москве.

Самые поэтичные из похорон, которые когда-либо гдолибо происходили.

Но когда интеллигентная толпа ушла с кладбища, после нее осталось месиво из растоптанных могил, поломанных крестов, втоптанных в грязь цветов, поваленных решеток, даже сдвинутых памятников.

За всю дорогу Петр Петрович видел одного пьяного.

С огромной черной бородой и бледным видом, он махал рукой и кричал:

— Я говорю, пусть поют так, как пели первые, и им ничего не будет! Пусть поют так, как пели первые! И ничего не будет! И ничевошеньки не будет!

Его окружали рабочие с красными значками на груди, что-то говорили. Группа, скрыв пьяного в средине, пошла куда-то в сторону, и все стало тихо.

Под белые глазетовые гроба с венками из живых цветов поддели полотенца.

Задребезжал старый голос священника.

— Вечная память! Вечная память! — могуче полилось кругом могил.

А другая огромная толпа вдали слушала ораторов и пела русскую марсельезу.

И на фон доносившихся издали возгласов марсельезы могучими аккордами лилось:

— Вечная память!

Под светлым, ясным золотом солнечных лучей.

Вдали на холмах был виден город, казавшийся скучным и будничным.

А тут звенела марсельеза и гремела вечная память.

Петр Петрович пошатнулся.

Было что-то странное, страшное, торжественное, новое, чем наполнялась грудь, чем наполнялся воздух кругом, что поднималось выше, выше к небесам, разливалось шире, шире по земле.

«Вечная память» вокруг могил умолкла.

Только издали доносился мотив марсельезы.

Раздались рыданья.

Крик:

— Сыночек мой! Сыночек мой!

— Перестаньте! Не плачьте! — раздался вдруг отчаянный, истерический голос.— Не расстраивайте всех! Клянемся, мы и так расстроены все! Мы и так едва стоим.

— И личное горе,— какое горе! — вдруг стихло и смолкло.

Петра Петровича охватил ужас: перед ним свершалось какое-то чудо.

XXI

— Вековые рабы! Граждане! Товарищи! — раздался сильный, молодой, звенящий голос, и все кругом замерло.

Слепой сказал бы, что на кладбище нет ни души.

— Кто это говорит? — шепотом спросил Петр Петрович у соседа, старого рабочего.

Им с пригорка был виден махавший рукой молодой человек с маленькими бачками.

— Котельщик он! — сказал, присматриваясь к оратору, рабочий.

«Глухарь! Что-то надумал он в непрестанном гуле, заклепывая котел изнутри!»

— Ни крика! Ни стона! Ни вопля! Стисните зубы! Копите в сердце вашу ненависть! Граждане! Братья! Качается и рухнуть готова старая стена, которая отделяла нас от солнца, света, счастья и свободы! То, что мы завоевали, еще только первые камни, упавшие со старой поколебленной стены! Первые, говорю я. И эти жертвы, которых мы хороним, еще только первые жертвы в нашей дальнейшей борьбе. Там под старой, качающейся уже стеной стоит бюрократический строй, уже раненный, уже в крови. Первые, упавшие камни стены уже ранили его в голову. Вперед, товарищи! От этих могил, со стиснутыми зубами, вперед! Обрушим на него, на этот бюрократический строй, всю стену. Скорее! Ногами ему на грудь. Руками вопьемся в горло. И рухнет старая стена, и свет, ослепительный свет ударит нам в глаза. Товарищи!

Он зашатался и упал, его подхватили.

Кругом раздались истерические вопли.

Петру Петровичу стало страшно.

«Сейчас посыплются проклятия «буржуям». И что тогда будет?»

Он был зол на себя:

«И зачем я пошел? Как мальчишка...»

Человек с черной бородкой замахал шляпой на месте оратора, которого, рыдающего, в припадке, унесли на руках.

— Товарищи! Братья!

— Хвармацет он! — сказал старик рабочий.

— Я с других похорон. Там ваши товарищи хоронят евреев, убитых вместе с русскими. Бок о бок, в одном ряду, в первом. Они вместе, в одну и ту же минуту, уходят в землю, как вместе, рука за руку, шли на бой за свободу. За свободу для всех. В этом бою нет русских, нет евреев! Есть один рабочий класс!

— Верно! Верно! — раздались взволнованные голоса.

— Верно! — раздался крик десятков тысяч голосов.

И Петр Петрович с изумлением глядел кругом.

— Товарищи! Боевые братья! Братья по смерти! Братья по будущей победе! Вы не поверите, если скажут вам: это жиды все! Вы скажете: жиды шли вместе, рука об руку, не отставая, нога в ногу, с лучшими нашими братьями.

— Верно! Верно! — загремело кругом.

— Товарищи! Братья! Ужасно то, при чем мы присутствуем! Это похороны жертв произвола и несправедливости. Но есть одно утешение. Всевышний все же сохранил справедливость, даже допуская несправедливое дело. На пять русских убито три еврея. Это процент хороший!

Он разрыдался.

— Больше я не могу говорить!

— Правда! Правда! Верно! — кричали кругом.

Петр Петрович думал:

«Ущипнуть себя? Сон?»

Откуда взялось все это?

Откуда взялась эта манера махать рукой, обычная у опытных уже ораторов за границей, чтобы обратить внимание, чтоб указать, куда смотреть, откуда слышать, когда говорили в многотысячной толпе?

Откуда взялась самая манера говорить? Выкрикивать с силой, не торопясь, не комкая, по слову, чтоб каждый звук успел разнестись по воздуху и врезаться в слух, в воображение, в душу?

Откуда взялось это уменье говорить и уменье слушать?

У глубоко взволнованной толпы чисто парламентская привычка прерывать речь криками, только когда оратор закончил фразу и мысли?

И Петр Петрович чувствовал, словно кто-то новый и неизвестный, могучий и колоссальный вырастал перед ним.

И все же думал с тоской и тревогой:

«Когда же они про «буржуев»?»

Но то, что звучало перед ним, было полно добра и великодушия.

Какого-то великодушия победителей.

И от самых страстных речей над могилами жертв веяло великой добротой народа-великана.

У Петра Петровича глаза были полны слез.

И он с изумлением твердил себе:

— Я бы так не мог! Если б у меня убили сына, я бы так не мог.

— Из токарей он! — сказал старик рабочий.

— Граждане! Гражданки! То, чего мы добились добровольными голодовками, нашею пролитой кровью, есть только узенькая щель в той старой стене, о которой говорил товарищ. Узенькая щель, через которую откуда-то еще издали мерцает нам небо и свет свободы и счастия. Но, товарищи, несомненно, что эта узенькая щель превратится в огромные ворота, через которые мы все войдем в обетованную землю лучшего будущего. Сделает это общественное мнение, которое проснулось, сознало свои права и мощно, властно потребует своих прав. Товарищи! Борцы! Мы должны в нашей самоотверженной борьбе иметь за себя этого могучего союзника — общественное мнение. С ним мы сильны. Это понимают наши враги, и их первое желание, чтоб нас, борцов за общее благо и общее счастье, смешали с негодяями и хулиганами. Это клевета на рабочих! Не дадим же этой клеветы прилепить к нам. Товарищи, сами будем охранять себя и охранять общество от хулиганов, чтоб нас не смешивали с ними. Товарищи! Если вы встретите человека, который кричит: «бей жидов», или «бей армян», или «бей поляков», или «бей магазин»,— втроем, вчетвером остановите его и спросите: «На каком таком основании надо бить? Что в этом такого патриотического? Или хорошего?» И вы услышите от него в ответ, товарищи, одни хулиганские возгласы и крики. И вы увидите, что это не рабочие, которые всегда были честны, а злейший враг наш, болячка, которой мы не больны, и ко-

торую нарочно хотят прилепить к нам. Тогда, товарищи, общими силами, как и подобает во всяком общем деле, охраните.

В эти минуту раздался крик.

Общий вопль.

Страшный, безумный.

— Казаки!

Толпа кинулась к стене, и вмиг ее не стало.

Петр Петрович понял в эту минуту, зачем вблизи него люди подбирали с земли камни и складывали их в кучу.

В то время, как одни, падая, расшибаясь, словно обезумевшие, бросались в пролом рухнувшей стены,— другие со стиснутыми зубами и искаженными лицами разбирали кучку сложенных камней.

Петр Петрович кричал что-то, подняв кулаки и потрясая ими.

Что,— он не помнил сам.

XXII

— Что с тобой?!

Анна Ивановна отшатнулась, когда увидела мужа.

— Что с тобой сделали? — в ужасе закричала она.— Что? Там, говорят, происходят ужасы!

Он посмотрел на нее безумным взглядом.

— Ничего... ничего... Мне жаль, что по мне не прошлась казацкая нагайка!

— Петя! Петя! Опомнись, что ты говоришь!

Петр Петрович бегал из угла в угол кабинета, хватался за голову, стонал.

Анна Ивановна, в слезах, ломая руки, бегала за ним.

— Что с тобой? Ради господа бога! Ты болен? Доктора! Доктора!

— Никаких докторов! Никаких докторов! — диким голосом завопил Петр Петрович и треснул кулаком по письменному столу.— Я убью всякого, кого увижу!

Он упал на диван, зарыдал.

У него был какой-то припадок.

— Почему? Почему меня не ударили нагайкой? Я бы научился так же ненавидеть, как они. Без этого нельзя, нельзя так ненавидеть!

Он вскочил.

— Нет! Я не мог бы так... В моих жилах течет кровь

дедов, которые насмерть задирали на конюшне! В их крови терпение, вековое терпение! У них больше слез, чем крови! Я бы не мог так... над могилами братьев... сына... Я потребовал бы виселиц, палачей, плетей, крови! Крови! Клочьев мяса!

Это были вопли, рыданья.

У него сдавило горло.

Он разорвал на себе воротник.

— Петя! Петя!

— Ты слушай... Ты помнишь, когда Паша... Паша... умер.... тебе бы сказали: «Не плачь, не плачь, расстраиваешь других...» Ты бы... ты бы... отвечай... отвечай... послушалась? Послушалась?

— Петя! Петя!

— Перестала? Перестала? По Паше? По Паше?

— Петя! Паша! Петя! Я с ума сойду!

— А они... а они... затихали... сами... сами в обморок падают... и ни слова... ни крови...

И он вдруг завыл.

Дико завыл:

— И их!.. Их же!.. Почему меня, меня не ударили нагайкой вместе с ними! Я ненавидел сильнее! Сильнее!

— Да что же?.. Боже!.. Да что же, что с тобой?

— Ты помнишь... Семенчукова старшего сына... студент!.. застрелился который потом... застрелился... Когда в университете был... Помнишь, когда ворвалась полиция... я ходил еще... помнишь?.. Студент один... разбил кулаком стеклянную дверь... в крови.... выскочил на балкон... «Нас бьют!..» Прыгнул с балкона... Публика стояла, смотрела... и я... Казаки... войска... бросился с балкона... о мостовую... В толпе, в толпе... я встретил Семенчукова сына... Белоподкладочник... Он плакал, трясся. «Что с вами?..» — «Почему я не там, с ними?.. Почему я не могу там с ними?.. Сходка была...» Ему сказали... «Вам, г. Семенчуков, с нами... с нами, конечно, делать нечего...» Он повернулся и ушел... «Дрянь! Хамово отродье! Жиды! Мы мундир носим!...» Ты помнишь, как он всегда... про мундир... про обязанности студента... а тут... Он застрелился, когда тот... прыгнул который... о мостовую... в больнице умер... застрелился сын Семенчукова... застрелился!..

Анна Ивановна в тревоге, в ужасе огляделась:

«Где Петр Петрович держит револьвер?»

И как ни велика, ни страшна была ее тревога, она не могла не подумать:

«Господи! Время, время какое! С мальчика, с гимназиста почти, Кудрявцев... один из первых в России... деятель... пример может взять!»

— Но с тобой-то? С тобой? Скажи о себе!

— Ничего... Видишь!.. Ничего!..

— Как тебя бог спас...

— Бог!

Он рассмеялся горьким смехом:

— Пристав этот... или помощник... Как его?.. Вот что у нас... Он!

И снова на него налетел прилив бешенства!

— Налетели они... спрятаны где-то были... Неужели ты не понимаешь? Лучше казацкая плеть, чем прикосновение полицейской руки!.. Появился он откуда-то, узнал, должно быть... схватил меня... потащил... тащили кто-то много... в формах... я отбивался... ничего не помню... только в экипаж бросили...

Петр Петрович помнил, действительно, только, что кругом были вопли, крики, какие-то лошадиные морды, как страшным ветром дунуло ему в лицо... что-то грохнуло... залп.

А кругом него городовые говорили:

— Ваше превосходительство!.. Ваше превосходительство!..

А пристав Коцура кричал:

— В экипаж его! В экипаж! И скорей назад! Скорей сюда!

Петр Петрович закрыл глаза руками:

— Ужас!

Он еще слышал, видел все.

Анна Ивановна стояла над ним и думала, мучительно думала:

«Где он держит револьвер? Где?»

Но припадок отнял все силы у Петра Петровича.

Наступала реакция.

Он сидел теперь просто разбитый и утомленный.

Просыпался обычный Петр Петрович, облекающий все в красивую фразу.

Проплакавшись, он отнял руки от лица и притянул к себе Анну Ивановну.

— Успокойся, Аня! — сказал он ей, слабо и печально улыбаясь.— Ничего! Я только был в ужасе, как человек, видевший чудо. Я видел воскресшего из мертвых. Я видел новый русский народ.

XXIII

— Вам-то уж стыдно и грешно! — чуть не со слезами говорила Семену Семеновичу Мамонову Анна Ивановна в своей гостиной.

Это было через четыре дня после похорон.

— Наконец-то вы появляетесь! Я тут с ума схожу! Пойдите, пойдите скорей к Петру Петровичу! Поговорите с ним! Вы увидите, что это он! Все тот же Петр Петрович! Пойдите!

— Анна Ивановна, милая! Не беспокойтесь. Ручаюсь! Через полчаса я его воскрешу! Через полчаса я выведу его к вам в гостиную, как Лазаря. Как Лазаря!

И, войдя в кабинет, Семен Семенович сказал таким живым и радостным голосом, который «сразу должен был оживить беднягу Петра»:

— Здравствуй, Петр Петрович!

Но даже Семен Семенович смолк, увидав Петра Петровича.

Перед ним сидел пожелтевший, осунувшийся, постаревший Петр Петрович, в бороде, в голове которого было вдвое больше седин.

Петр Петрович улыбнулся ему слабой улыбкой:

— А?! Здравствуй... спортсмен... От Зеленцова ко мне? Во сколько секунд ты сделал этот «конец»?.. Да, кстати, скажи: кто тебя просил бегать парламентером от меня к Зеленцову?

— Ну его к дьяволу! — сердито воскликнул Семен Семенович.— Этих генералов от радикализма! Удивительная страна! Населена урожденными аристократами! Все аристократы. Русские люди — самая аристократическая нация. Все чем-нибудь, да аристократы. Кроме разве дворян, которые одни, кажется, стыдятся пользоваться своими привилегиями...

— Кроме одной: брать за пособием пособие. Продолжай!

— Вот, ей-богу! Все дерут нос. Исключительное занятие. Страна с поднятыми носами! Даже Силуянов какой-нибудь, и тот: «Потому, как, стало быть, мы, купцы, еще на что согласимся...» Мужик дерет нос: «Без нас, без мужиков, нешто возможно?» Рабочий дерет нос: «Мы — рабочие!» Словно это невесть какая привилегия, что он слесарем там где-то! Первая гайка в государстве?! Зеленцов этот... Что он там по крепостям шлялся, в Якутской обла-

сти цингою, что ли, болел, чем там еще... Так я-то тут при чем? Ради бога!.. Так ему все должны в ноги кланяться, его грязные ноги целовать. Тьфу! Это у них называется свободой. Это тирания, а не свобода. Это хуже всякой тирании. Каждый русский в душе автократ!

— Оставим. Что тебя привело ко мне, мой друг?

— Дело. Вот странный вопрос: что привело? Сначала желание тебя видеть, а потом дело. Слушай, Петр. Теперь или никогда. Ты понимаешь, какой момент. Теперь или никогда. Ты должен стряхнуть с себя хандру. Теперь хандра — преступление. Измена! Да, да! Кто хандрит, тот изменяет! Мы должны встать. Мы должны надеяться. Мы, друзья порядка! Мы, друзья умеренности! Мы, друзья коренного прогресса! История требует нас.

История создала момент для нашего появления. История говорит нам, как режиссер актеру: «Ваш выход!» И мы не должны пропустить своего выхода. Иначе вся пьеса рухнет! Иначе — занавес! Нас послушают! Это наш момент! Мы появимся во имя России! Во имя спасения родины! Во имя покоя граждан! Гг. Зеленцовы показали, куда они ведут Россию. Я говорю об этой «бойне за бойнями». Ты знаешь!

— Один вопрос. Ты был там, на похоронах?

— Я?!

— Отвечай. Где был ты?

— Мы были у Семенчукова. Он перед этим ездил к губернатору...

— Просить, чтобы делали все, что угодно, но только за городом?

— Какие ты предполагаешь гнусности! Извини, гнусности! Я удивляюсь, как ты можешь...

— Стой. Отвечай. Отвечай. Вы знали, что готовится там, на кладбище?

— Откуда...

— Вы знали или нет? Вы слышали или нет?

— Стефанов болтал... Ну да, именно, болтал направо и налево... что полицмейстер сказал, что это «последний долой», как он называет... Но мало ли, что болтает Стефанов... мальчишка...

— Полицмейстер не мальчишка. Ты с ним виделся потом?

— То есть... не говорил... так... на улице...

— И кланялся?

— Но...

— И кланялся?

— Было бы странно, если б я не стал кланяться с человеком, раз, хотя бы и к несчастью, знаком. Мы не в дикой стране. Мы не дикари.

— Оставим в стороне вопрос: дикари мы или хуже. Итак, вы сидели и мирно возмущались в гостиной и говорили — даже тут только говорили! — хорошие слова.

— Петр, ты не похож на себя!

— Это все равно. Я был там. На кладбище. В это самое время, как вы сидели за чаем, завтракали,— быть может, за вином,— они, morituri, которых должны были с вашего ведома избить, заботились о вашем спокойствии, хотели привлечь к себе ваше «общественное» мнение! Наивные, наивные, милые герои и глупцы! Слушай же теперь! Кроме гражданина,— а ты «политикана» смешиваешь часто с гражданином,— кроме «политикана», есть еще человек. И этот человек, который сидит во мне, вот здесь, во мне, говорит мне: «Пусть те, другие, наделают ошибок,— бесчестно пользоваться ошибками других. Пусть те, другие, будут побеждены. Поражение — несчастье. Бесчестно пользоваться несчастием других! Не трогайся, чтоб не наступить на труп...»

— Но почему? Почему? Хотя бы для того, чтобы прекратить в дальнейшем возможность таких. Извини меня, я в твоих словах вижу много нервов. Но, извини меня, я не вижу логики.

— Тебе логика нужна? Логика? Так слушай. В этой тридцатитысячной толпе, несшей свои знамена, хоронившей своих для них «героев», говорившей и слушавшей речи, я не узнал тех, о которых думал...

— Внешность, Петр Петрович! Клянусь тебе: внешность! Стыдись! Как при твоем уме...

— Ты был на кладбище? Ты видел?

— Не был, но...

— Мы все говорим о том, чего не знаем, и судим о том, чего не видели. Мы, истинно, ленивы и нелюбопытны. Но приговоры выносить любим. На основании того, что нам «кажется». Кажется,— так перекрестись. Или посмотри,— еще лучше. А я был и видел. «Внешность», ты говоришь. Но можно подделать: красные флаги, надписи на них, «свободу» написать нарочно с ошибкой, через «а»,— ведь подделывают и нотариальные документы,— пусть думают, что простой народ написал. Но самого народа подделать нельзя.

— Отлично-с! Отлично! Ты все это и скажи нам. Партии, к которой ты принадлежишь. Созови нас и скажи. Ты не знаешь, другие, может быть, знают и объяснят! Но так нельзя. Ты не имеешь права. Ты — имя.

— Было!

— Сейчас оно опять воспрянет, как лозунг разумной умеренности и прогресса! И это имя создал как ты, так помогли создать тебе и мы. Ты не смеешь так... Ты лидер!

— Оставь, пожалуйста, глупые слова! Извини меня, но ты напоминаешь мне нашу горничную Акулину. Она «ужасно как рада» тому, что происходит,— потому что солдаты по улицам ходят так ровно, хорошо и «бесперечь музыка играет!».

— Оскорбляй меня!

— Я не оскорблять тебя хочу. А только сказать: мы друг друга никогда не поймем. Для тебя всегда и все ясно. Если б Пилат тебя спросил: «Что есть истина!» — ты ответил бы ему: «резолюция». В данную минуту «резолюция», как в другую минуту ответил бы, быть может: «предначертания министра». Ты спортсмен. Во всем владелец конского завода! Помнишь, когда мы ездили в Москву на учительский съезд, ты, захлебываясь, спрашивал меня у Тестова: «Ты сколько учителей привез? Я сорок. Мои, брат, вот как подобраны. Один к одному! Все, как один. В один голос голоса подавать будут». Словно ты привез стаю гончих. Спортсмен! И ты не виноват. В тебе только говорит кровь твоих предков, они подбирали гончих по голосам. Ты во всем видишь охоту!

— Я не имею причин стыдиться моих предков.

— Ты сказал об этом Зеленцову, когда просился у него в подъесаулы?

— Ты невыносим!

— И я не уговариваю тебя стыдиться своих предков. Избави бог! Они выше всего ставили честь, и ты по наследственности выше всего ставишь честь. Она для тебя дороже всего. Без нее ты действительно не можешь жить. Необходимый продукт. И потому делаешь ее себе из всего. Когда ты был предводителем, ты с гордостью говорил: «Уж даже если мы, предводители дворянства, выступаем с требованиями...» Что ты этим хотел сказать? Самое ли это важное сословие, или уж такое никуда не пригодное, что, мол, «если даже и оно поняло». Не разберешь! Но, во всяком случае, ты делал себе из этого честь! Когда тебя за «крайний либерализм» забаллотировали, ты из этого сде-

лал себе честь: «Теперь, когда я не являюсь представителем узких сословных интересов!..» Ты камер-юнкер. Если тебя произведут в камергеры,— ты будешь гордиться ключом. Если лишат камер-юнкерства, будешь гордиться: «независимый человек!» Если тебя выберут в Государственную думу,— ты будешь очень гордиться: «представитель народа», но если забаллотируют,— гордости твоей не будет границ: «Мы, оппозиция!» Ты спортсмен. Наездник. И везде прискачешь первым. Я несколько не таков. Извини меня.

Семен Семенович поднялся весь красный:

— Петр Петрович, вы...

Но не выдержал:

— Значит, ты теперь без партии?

— Я наедине со своей совестью! Оставь меня, пожалуйста, в покое. Прощай!

Семен Семенович, как бомба, вылетел из кабинета.

— Он у вас с ума сошел. Пошлите за психиатром! — выпалил он, на ходу целуя руку у Анны Ивановны.

Та так и застыла на месте.

XXIV

И вот Петр Петрович Кудрявцев стоял у входа в свою, «кудрявцевскую», гостиную, где г. Стефанов молодым, бесконечно веселым и радостно-задорным голосом сравнивал Россию, залитую кровью и борющуюся Россию, с прокисшей бутылкой кваса.

Кто-то из гостей хотел зачем-то пройти в соседнюю комнату, открыл портьеру.

— А, Петр Петрович!..

Пришлось войти и улыбаться дамам.

Не успел еще Петр Петрович сделать общего поклона, как перед ним уже стоял и шаркал г. Стефанов.

— Его превосходительство просил приветствовать вас и поздравить глубокоуважаемую Анну Ивановну! Его превосходительство страшно сожалеет... Но такое время! Такая масса неотложных дел!.. Его превосходительство крайне сожалеет, что принужден ограничиться только посылкой через меня этих цветов...

В углу стояла колоссальная корзина чайных роз.

— И не мог явиться сам, чтоб засвидетельствовать свое почтение вам и поздравить глубокоуважаемую Анну Ивановну...

Петр Петрович покраснел и виновато взглянул на жену.

«За всеми этими делами» только он позабыл, что сегодня день рождения его жены.

— Благодарю его превосходительство... Слишком... право, слишком любезно.

И, перездоровавшись со всеми присутствующими, он сказал, насколько позволяли обстоятельства суше, такому любезному гостю жены:

— А подходя, я невольно слышал, как вы изволили острить относительно России. Я хотел сказать вам по этому поводу...

Анна Ивановна смотрела на него умоляюще.

— Впрочем, нет... Я только хотел сказать, что очень завидую вам: вы можете шутить в такие минуты.

— Слово в слово слова его превосходительства! — радостно воскликнул г. Стефанов и даже чуть ли не всплеснул руками.— Его превосходительство говорит, что шутить не время. Необходимо повсеместно военное положение. Предоставление губернаторам неограниченной власти. Чтоб все повиновалось и шло в ногу. А то помилуйте! То ведомство не подвластно, это не подвластно. Все в разброде. Печать врет, хотя бы... До чего распустили. О том, например, собрании...

Петра Петровича передернуло.

— Позволяют себе печатать: «разошлось не по своему желанию». Насмешка! Или пишут об этих похоронах: «Вчера казаки выезжали за город». И только! Издевательство? Публика ни о чем об этом не должна знать.

— Но весь город...— тихо вставил кто-то.

— Верьте мне, одни знают, а другие даже какой сегодня день не знают! А тут все узнают. Его превосходительство вызывает цензора. Тот: «Ничего в этом не вижу нецензурного. Казаки выезжали — и выезжали. Не война, что о передвижении войск нельзя сообщать». Как вам это нравится? Его превосходительство, могу сообщить вам это пока конфиденциально, послал в Петербург представление о немедленном введении военного положения.

— Ох, дал бы бог! — молитвенно вздохнула одна из дам.

— Нам с Аней это все равно! — каким-то хриплым голосом сказал Петр Петрович.— Мы уезжаем за границу.

Жена смотрела на него с изумлением.

Он улыбнулся ей:

— Разве ты еще, Аня, не сказала гостям, что мы решили на днях ехать за границу?

Начались «ахи», «охи».

— В такое время? Теперь?

— Его превосходительство будет страшно сожалеть! Страшно! Уверяю вас, страшно!

— А мы думали, вы в Думу!

— И в Думу не будете? Как?

— Куда?

— В Италию... в Испанию... Еще не решено... Сначала в Вену.

— И с детьми?

— И с детьми.

— Надолго?

— Право, не знаю...

* * *

Через три дня Петр Петрович и Анна Ивановна уехали.

— Возьмите все эти цветы! Бросьте куда-нибудь! — сказала Анна Ивановна кондуктору, когда поезд прошел платформу с толпившимся на ней губернским «мондом».

В соседнем купе шумели дети, радостно возбужденные поездкой.

— Я рада,— сказала Анна Ивановна,— всей душой рада, что мы уезжаем! Ты столько перемучился здесь в последнее время, что я ненавижу этот город так же, как раньше его любила. А все-таки, знаешь ли, в глубине души, если исповедаться тебе как следует, мне грустно. Уезжать из России теперь. Настают такие дни. Мы так их ждали. Мне кажется, словно мы уезжаем из дома перед самым светлым праздником.

— Мы не постились, Аня, и нам нет такого праздника. Мы говели так, для виду. Ели на масле, на мясном бульоне. Шутя. А «они»,— они говели семь недель. По-настоящему говели. Им праздник.

— Хорошо сказано! — сказала Анна Ивановна, любуясь мужем, его сединой, его грустной улыбкой.— Ты у меня умник, хорошо говоришь.

— Говорят, что твой муж ни на что больше, кроме красивой фразы, и не способен, Аня... Ну, да бог с ними!

И с той же грустной улыбкой он привлек ее к себе, по-

ложил ее голову к себе на плечо и закончил, глядя в окна на серые, бесконечные, унылые, угрюмые и мрачные в надвигающихся сумерках, словно грозные поля:

— Хорошо, Аня, жить в той стране, где уже была революция.

ДЕМОН

Тебя, болвана, не спросились!

— Ты душу из меня, негодяй ты этакий, вынуть хочешь? Душу? — кричал Иван Иванович.

Петр Сидоров, сапоги бутылками, стоял — к-к-каналья! — отставив ногу, и «довольно спокойно» говорил:

— Ругаться есть воля ваша, потому как вы губернаторы и человек военный. А только и я, как, стало быть, председатель местного отдела «Союза русского народа», дозволить не могу...

— Я «Анатэму» тебе запретил. Сделал удовольствие. Теперь ты до «Демона» добираешься, борода твоя...

— Да бога-то, твое превосходительство, помнить надоть. Аль его совсем из Россеи выселить?

— Ты голоса не возвышай!

— И возвышу, потому я говорю по-божьему. Черное слово поминать грех али нет? А тут черт,— прости меня господи,— цельный вечер перед глазами торчит. И какие слова говорит! Андрееву в лоб не влетит. Вы поглядеть извольте!

Петр Сидоров помуслил палец и открыл либретто.

— «И будешь ты царицей мира». Нешто возможно?

— Ну, это переделать можно. «И будешь ты губернаторшей мира»,— петь будут.

— «Ты хочешь послушанья, а не любви. Любовь горда, горда, как знанье». На галерке гимназисты сидят. А вы им этакие мысли во все горло внушаете? Да он, постреленок, пойдет завтра классному наставнику нагрубит. Почему? В театрах пели, чтоб не слушаться. Вы этаким манерам, ваше превосходительство, юношество воспитываете? Вы что же? Бомбу на себя готовите?

— Гимназистам можно запретить посещение оперы.

— А ангела куда вы денете? Ангела можно на посмешище выводить? Чтоб их демоны переспаривали.

— Ангела нет. Врешь. Есть «добрый гений»!

— В газетах пишут: «Г-жа Толстоногова — приличный ангел». А? «Приличный ангел»! Да ведь за этакие слова повесить мало!

— Газету можно закрыть!

— Ангела не закроете. Баба лет сорока. Ей бы по всему, что у ее видать, в купеческом доме в кормилицах быть. А она в этаком виде ангела представляет. Через это большой поворот в религии может выйти.

— Надо сказать, чтоб передали певице потоньше.

— Да ведь как тонка ни будь, все же женскую прелесть видать будет у подлой! Дальше взглянуть извольте. Действие второе. Князь только что угоднику помолился, а его татары и зарезали.

— Да ведь кавказский князь! Что тебе? Революционеров жалко?

— Не в князе дело. А что ж это? Помолился, и зарезали? Бесполезность молитвы святым угодникам доказывается? А желаете вы, мы сейчас на представление всем отделом явимся? Патриотическую манифестацию сделаем. «Не сметь убивать князя! Потому он угоднику помолился!»

— Ну, ну!

— Опять на фамилью извольте внимание обратить. Куда гнуть! «Синодал» — фамилия. Это какие же такие намеки? Синодальная молитва, стало быть, до бога не доходит, позвольте вас спросить?

— Фамилия действительно опрометчивая. Мы его в Гегечкори переделаем.

— Чтоб Гегечкори богу молился? Нешто возможно? Опять, последнее действие. Где? Женский монастырь! Обитель! И вдруг — мужчина! Целуются! Нет, уж как вам будет угодно. Этакой морали на обители допущать не можем. Пущай Тамара эта на курсы идет,— там и целуется. А обители на смех выставлять не дадим.

— Да ведь классическое произведение! Черт!

— А нам наплевать.

— Да ведь кто написал?!

— И это нам довольно известно. Что г-н Лермонтов Столыпиным родственником приходился. Потому и написал. Ежели он министру сродственником приходится, так ему и этакие вещи писать возможно: «Бог?» — «На нас не кинет взгляда: он занят небом, не землей». К министрам-то прислуживаетесь, а про бога забыли, ваше превосходительство? Оченно даже хорошая корреспонденция

в «Русское знамя» может выйти: «До чего дошло при Столыпине прислуживанье господам министрам».

— Да ведь на казенной сцене играют! Дуботол! Идол! Ведь там директора для этого!

— Это нам все единственно. Нам еще не известно, какой эти самые директора веры. Тоже бывают и министры даже со всячинкой!

— Ты о министрах полегче!

— Ничего не полегче. Министры от нас стерпеть могут. Потому, ежели какие кадюки или левые листки,— тем нельзя. А нам можно. Наши чувства правильные. Мы от министров чего? Твердости! Ну, и должон слушать. А только я вам прямо говорю. Ежели, как мы, стало быть, постановили, «Демона» вы не снимете,— извините, ваше превосходительство, в «Земщине» вас процыганить придется.

— То есть как это?

— Очення просто. Вот, мол, и губернатор! С немкой в незаконной связи находится, и сам в хлысты перешел. Толстых баб ангелами выставляет.

— Запрещу. Иди. Ска-а-тина!

— Прощенья просим. Премного благодарствуйте.

Через два часа его превосходительство говорил очень худому человеку, оперному антрепренеру.

Говорил сердито, но стараясь на него не смотреть:

— Ну, время ли теперь «Демона» петь? Ставьте «Аскольдову могилу». Чем не опера?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Удивляюсь я вам, господа! Откопаете вы всегда что-нибудь этакое... не современное!

На афишных столбах висели анонсы:

«По непредвиденным обстоятельствам вместо объявленной оперы «Демон» дана будет известная, знаменитая опера «Аскольдова могила».

А в первом же акте...

Неизвестный, выйдя из лодки, орал, махая руками:

Люди ра-а-атные не смели
Брать все да-а-ром на торгу...

В партере раздался звон шпор.

Ротмистр расквартированного в городе драгунского полка Отлетаев, звеня шпорами и гремя шашкой, демонстративно вышел из театра.

— Оскорбление чести мундира.

Опера «Аскольдова могила» была снята с репертуара:

— Ввиду того, что в ней затрагивается военное сословие.

В театре открылся кинематограф.

А местная газета уведомила:

«В следующем году наш оперный театр будет сдан интендантству и переделан на вещевой склад».

ИСТИННО РУССКИЙ ЕМЕЛЬЯН

> На днях в Уфу прибыл минский мещанин Тополев, который, явившись ко мне, заявил, что он командирован в Уфу «Советом Союза русского народа». Мною было предложено полицеймейстеру оказать всякое содействие г. Тополеву... Но он содействие полиции отклонил на том лишь основании, что уфимский полицеймейстер — католик. Будучи направлен к полицеймейстеру, Тополев ушел от него и напился пьяным до бесчувствия, так что с улицы был взят в полицейский участок для вытрезвления. Протрезвившись, он снова напился и снова был взят в участок...
>
> Ввиду всего происшедшего, я вынужден был по телеграфу запросить Совет Союза, действительно ли Тополев командирован Советом. Глубоко сочувствуя «Союзу русского народа» и так далее.
>
> *Из донесений г. уфимского губернатора г. Пуришкевичу.*

К сожалению, название губернии не разобрано. Но настоящий дневник, принадлежащий перу одного из губернаторов, получен нами из самых достоверных рук: от одного экспроприатора. Так что никаких сомнений в подлинности!

2 января

День прошел благополучно.

И я жив, и злоумышленники все живы.

Ни одного покушения, ни одной казни.

(Название не разобрано) губерния должна быть признана исключительной по благополучию.

3 января

В город прибыл мещанин Емельян Березкин.

Член «Союза русского народа»!

Узнал об этом совершенно случайно.

Слава богу, он сделал скандал.

Вечером в трактире купца Власова один посетитель напился водки, наелся семги, а когда с него потребовали деньги,— начал бить посуду, зеркала, посетителей и кричать:

— Что? Измена? Да вы знаете — кто я?

— Да я член «Союза русского народа»! Из Петербурга прислали! Да я Дубровину! Да я Пуришкевичу! Подать мне сейчас телеграфную бланку! Бейте телеграмму на казенный счет!

Да по морде всем, да по морде!

Полиция донесла полицеймейстеру:

— Что делать?

Полицеймейстер мне.

Черт знает что такое!

Губернатор, словно муж: узнает обо всем последним. Этакое лицо в городе! А я не знаю.

Хорошо, что он в первый же день скандал сделал.

Каналью-трактирщика приказал оштрафовать на 500 рублей.

Мещанина Емельяна Березкина перевезли в лучшую гостиницу в городе. Поместили в номере, где останавливался в прошлом году проездом персидский принц.

Спит.

4 января

Сегодня утром был у мещанина Емельяна Березкина с визитом.

Долг службы.

Был в полной парадной форме и при всех орденах.

Принял благосклонно. Жаловался на головную боль. Наружность значительная.

Волосы такие рыжие и во все стороны. Лицо тоже красное. В бороде остатки пищи. Справа двух зубов не хватает.

Говорит:

— Потерял в борьбе со внутренними врагами.

Положил зубы на алтарь, так сказать.

Пригласил его обедать. Но с дороги он несколько запылился.

Предложил:

— Не угодно ли, по русскому обычаю, сначала посетить баню?

Согласился.

— Давненько,— говорит,— собираюсь.

Курьер, который его мыл,— нарочно ему курьера послал, хорошо, подлец, парит! Пусть видит, до чего губернатор — русский человек, каких курьеров при себе держит! — курьер говорит, что мещанин Березкин какие-то знаки в бане на теле показывал.

— А после бани, в предбаннике,— говорит,— изволили одним духом две бутылки водки выпить и двух холодных жареных гусей съесть. Сразу видать, что истинно русский человек!

5 января

Сегодня сам убедился.

Несмотря на сочельник, начались торжества в честь мещанина Березкина.

Сделал для него смотр пожарным командам.

Проезжали по частям. Сначала шагом, потом во весь карьер. В заключение проходили церемониальным маршем, как после пожара.

Брандмейстер на фланге. Фланг впереди. Вестовой замыкающим.

Мещанин потребовал водки и тут же на площади пил за здоровье команды из пожарной каски.

Положительно в нем есть что-то богатырское!

И вдруг полицеймейстер, возвратясь, мне говорит:

— А все-таки не мешало б из него удостоферений на лишность потребовайт.

Только посмотрел на него.

— У вас, Карл Карлович, в городе бомбы, как вареники, в каждом доме делают. Вы бы за этим лучше следили.

Он тебе покажет «удостоферений на лишность»!

6 января

Так и случилось.

Сегодня мещанин Березкин поставил мне на вид, что у меня полицеймейстер лютеранского вероисповедания.

Действительно, недоглядел.

— Ежели,— говорит,— об этом Дубровин узнает, он, брат, лютеранства не потерпит.

Предложил полицеймейстеру изменить веру.

Послал даже за соборным протоиереем.

Вообразите, в амбицию вломился:

— Всякий каждый фон-дер-Шнель-Клопс был,— говорит,— лютеран и умирал лютеран. Я,— говорит,— Лютер на всякий мещанин не меняй.

Скажите, как из Лютера держится!

Приказал полицеймейстера отставить.

Без прошения.

7 января

Торжества в честь мещанина Березкина продолжаются.

Сегодня вечером был в театре.

Давали «Марию Стюарт».

В последнем акте Емельян приказал:

— Не сметь казнить Марию Стюарт. Пущай живет.

Поднялся в ложе и кричал:

— Она королева! Я люблю королев!

Потом приказал, чтобы Мария Стюарт на радостях русскую плясала.

— Я,— говорит,— тебе жизнь пощадил. Веселись.

Мария Стюарт плясала вприсядку.

Дежурные полицейские кричали — ура!

Хотел послать почему-то телеграмму королеве Вильгельмине. Но я кое-как отговорил.

8 января

Емельян — трудный человек.

Во-первых, говорит мне «ты».

— «Вы»,— говорит,— слово немецкое. А тебе,— говорит,— по-русскому буду! Ты.

Оно, действительно, больше по-русски. Но все-таки я губернатор. И губернатор — слово нерусское.

Просил его, чтобы хоть звал меня:

— Ты, воевода.

Слава богу, согласился.

Сам обращаюсь к нему:

— Уж ты гой еси!

Все-таки не так фамильярно.

Сегодня у меня был в честь Емельяна большой обед, а вечером бал.

Были тосты.

Емельян, как он говорит:

— Себя не выдал!

Особенно, когда какой-то оратор в пылу красноречия упомянул:

— Заложим жен и детей...

— Верно! Сию минуту! Воевода! Бери жену в охапку, понесем ее к жиду! Заложим, а деньги пропьем!

Жена была в обмороке.

Но Емельян кричал:

— Ничего, что в обмороке! Тащить способнее!

И стащил со стола скатерть, чтобы завязать жену в узел и нести.

Уложил Емельяна в нашей спальне, чтобы отдохнул.

На балу тоже вышел инцидент.

Все шло как следует.

Как вдруг в середине котильона Емельян воодушевился, прибежал из буфета на середину зала и скомандовал:

— Ноги вверх...

— Это,— говорит,— революционеры кричат «руки вверх», а по-нашему — «ноги».

Произошло смятение.

Старался объяснить истинно русской шуткой.

Однако барышень увезли с бала в обмороке. Досадно. Но сами виноваты. Зачем барышень на бал возить!

9 января

Емельян — подозрительный человек.

Сегодня, встретивши на площади соборного псаломщика, заподозрил его в принадлежности к магометанству.

Заставил его тут же всенародно читать молитвы и, стоя в снегу, бить поклоны.

Потом отпустил. Было много народу.

10 января

Это уж бог знает, что такое!

Положим, он член «Союза русских людей». Но все-таки.

Емельян сегодня отправился в часть, приказал поднять шары, звонить в звонок и с пожарными, сам на трубе, поскакал в женскую гимназию.

Командовал:
— Качай!
Приказывал качать проходящим.
Подставлял к окнам лестницы, кричал:
— Ломай переплеты! Двери! Потолки!
И поливал выбегающих гимназисток водой.
Многие обледенели.
Чтобы выйти из неловкого положения, должен был телеграфировать в Петербург:
«В женской гимназии вспыхнули волнения, грозившие государству. Удалось погасить, не прибегая к помощи воинских частей».
Ах, Емельян!

11 января

Сегодня Емельян меня осматривал.
На предмет принадлежности к иудейству.
— Ты,— говорит,— мне подозрителен, кто тебя знает!
Велел раздеваться.
Разделся.
Емельян похвалил мое сложение.
— Ничего еврейского в тебе не нашел. Можешь одеваться.
Потом хотел осматривать также мою жену.
— А может, ты на жидовке женат? Почем я знаю.
Умолил его, доказывая, что... предмет щекотливый... Вообще, признаков не бывает.
Согласился.
Только взял ее за волосы. Дернул несколько раз.
— Не ходит ли в парике? — говорит.
Дочь — ничего.
Дочь у меня все это время в погребице сидела.
Печку ей там железную поставил, чтобы не замерзла.
Девушка молодая. Из института. Требований патриотического момента не понимает.
Может нагрубить.

12 января

Сегодня мне пришла ужасная мысль.
Я вставал, она была еще в постели.
И вдруг она мне:
— А вдруг,— говорит,— твой Емельян самозванец. Весь город свидетельствует, а может быть, он в жизнь

свою не видел ни Дубровина, ни Пуришкевича! Знаки на теле! А может быть, его секли. Арестант беглый!

Я кинулся и накрыл ей голову подушкой.

Себя не помнил от ужаса.

Тогда пустил, когда хрипеть начала.

— Ты,— говорю,— с ума сошла! Такие слова говорить! Прислуга может услышать! До него дойдет!

Полузадушенная, а свое твердит.

Вот женщина.

Уши затыкал.

Пилит:

— А ты пошли! Пошли!

Допилила.

Послал.

С ужасом жду ответа.

Вдруг Дубровин:

«Не усматривая в вас достаточной веры, предлагаю немедленно оставить должность и сдать ее Емельяну».

Ночь, а не сплю.

Жду.

13 января

Батюшки!

Что ж это?

Свидетельствовал... Полицеймейстер... Мария Стюарт вприсядку пляшет... Емельян... Гимназистки... Самозв...

Тут чьей-то рукой было приписано:

«У Аммоса Ивановича отнялся язык, правая рука и правая нога, правый глаз стал стеклянным, а левый светится безумием».

К дневнику подшиты два документа:

1) Телеграмма:

«Губернатору такому-то. Никакого Емельяна Березкина Союзом не командировалось. Проверке списков членов такой фамилии не оказалось. Пуришкевич».

2) Форменная бумага:

«Первый департамент Сената. Ввиду того что постановление об исключении статского советника Карла Карловича фон-дер-Шнель-Клопс со службы без прошения состоялось с соблюдением всех требуемых законом форм,— постановили: прошение об его обратном зачислении на должность полицеймейстера оставить без последствий».

ДЕПУТАТ III ДУМЫ

К Ивану Петровичу Огурцову, октябристу и члену Государственной думы, вошел согражданин.

— Требухин, Михайло Иванович. Не изволите помнить? Да где!

— Напротив. Вы, кажется, речь изволили говорить при моем избрании.

— Память-с имеете!

— Боже мой! Не помнить единомышленников?! Очень рад. Прошу садиться.

— В Петербург собираетесь?

— Да, знаете. Предстоящая сессия. Предварительные совещания комиссий. Встреча с товарищами-депутатами. Обмен впечатлений, настроений на местах...

— Известно. В столице веселей.

— ...взаимный обмен выслушанными мнениями, подмеченными взглядами, наказы избирателей.

— Вот и мы по этому самому делу!

Лицо Ивана Петровича приняло выражение священнодействующее.

— Слушаю!

— Я к вам, собственно... так сказать... от группы наших граждан... Все ваши избиратели-с!.. Конечно... вы, так сказать, по собственным заслугам... Но все-таки мы избиратели... Желательно бы нам теперь...

— Говорите!

И Иван Петрович величественно, но в волнении встал.

— Говорите! Смотрите на меня, как на свой орган! Да! Как на свою руку, ну там ногу, язык. Как на свою голову. В том то есть смысле, что вы можете повернуть меня, куда вам угодно. Что такое я? Один? Сам по себе? Огурцов,— каких тысячи. Но если за мной мой город, мои избиратели! Если за мной реальная сила! О, тогда! Мои желания — их желания, мои слова — их слова, мой язык — их язык. Если я говорю, требую, властно приказываю их именем! Я сила-с! Я могущество-с! И только приходя в соприкосновение с моими избирателями... Я как Антей! Хотите задушить меня, поднимите меня на воздух, оторвите от почвы,— да! И вы сделаете свое,— вы задушите меня!

— Помилуйте!

— Но, соприкоснувшись с моей почвой, с избирателями, я, как Антей, поднимаюсь с новыми силами, с новым

могуществом на борьбу. Говорите же! Приказывайте! Если вы потребуете от меня чего-нибудь неисполнимого, противоречащего всему складу моих мыслей, всему строю моих чувств,— я откажусь, я уйду, я сложу с себя звание вашего избранника!

— Помилуйте! Помилуйте! Зачем же-с!

— Но я знаю, что вы, мои единомышленники, мои дорогие избиратели,— вы ничего не потребуете от меня, что бы противоречило нашей программе, нашему политическому мировоззрению...

— Зачем же-с!

— ...нашему кредо. Я слушаю. Я повинуюсь.

Иван Петрович склонил голову покорно и как можно красивее.

Требухин, Михайло Иванович, помолчал.

— Дело... так сказать... по порядку: с себя начнем.

— Я вас слушаю.

— На Михаила архангела именинники мы.

— Заранее вас поздравляю, почтеннейший!

— Колбасный товар сюда из Москвы идет. Москва — колбасница известная. По колбасе город первый. Ну, икру тоже здесь найтить можно. Сардина — она везде одинакова. А вот насчет сига — нет-с! Нешто сиг сюда дойти может! Полено, а не сиг. Петербург вот, так сказать... столица сига! В Петербурге-с...

И Михайло Иванович подмигнул Ивану Петровичу.

— ...есть, говорят, рыбокоптильные заведения. В аквариумах, говорят, живая закуска плавает. На выбор! Плавает этакий па-адлец, от жабр до хвоста вершков четырнадцати. В плечах вершка полтора, до двух. Пальцем нажмешь — ямочка. Жиров нагулял, мерзавец этакий. Этакому-то, знаете, сигу, да живому, палку в рот да насквозь, чтоб не дергался. Да живенького его прокоптить, каналью. Да горяченького еще в лубочную корзиночку! По холодку дойдет за милую душу. Просил бы уж вас парочку сижков мне к именинам из Питера. Как вы наш депутат. Уповаю. Что будет стоить,— с благодарностью...

— Будет сделано. Переходите, переходите к мандатам избирателей!

— Иван Иванович Неплюев. Знать изволите? Избиратель. Дочку выдает. Лизаньку. Милая девушка. Так вот Матрена Степановна, супруга, насчет приклада просила. «Очень, говорит, прикладом здесь бьемся». В галантерейных здесь какой приклад может быть? Смотреть больно.

Прошлогодний товар. Заваль. А в Петербурге у вас Гостиный двор. И аграмант, и подкладки! Матрена Степановна прислала вам вот и образчики. К каким материям подобрать... Уж потрудитесь для избирателей. Девушка-то больно уж милая, да и жених хороший человек.

— Дальше!

— А дальше Безменов-с, Трофим Семенович. Тоже на вас, как на каменную гору. Избиратель. Граммофоны он любит. Только разве у нас настоящая пластинка может быть? Граммофонщики — жулье первостатейное. Раньше агентами по страхованию жизни были,— жульничали. Теперь по граммофонам жульничают. Продали Таманьо, десять рублей взяли, а он по-русски «Во лузях» поет. «Это, говорят, истинно русский Таманьо». Нешто возможно? А в Питере, говорят, такие пластинки. Конфетка, а не пластинки! Нельзя ли помоднее что выбрать? Плевицкую там или что? А? Для избирателя?

— Больше никаких наказов не будет?

— Вавилонов, Гаврила Куприяныч, просил. На журнальчик он подписался. Три рубля в год. Обещали в премию всего Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Щедрина, Шиллера. Еще кого, дай бог памяти? Шекспира. В переплетах и с книжными шкапами. А с генваря ничего не прислали. Не жулики? Гаврила Куприяныч хотел на них в полицию, да вспомнил: депутат у нас в Петербурге есть. Есть кому заступиться. Уж вы будьте добры: в редакцию к жуликам... Гаврила Куприяныч вам и доверенность даст на взыскание.

— Все?!

— Оно бы, положим, так сказать, все... Да уж если вы так добры...

— Говорите, говорите все. До конца!

— Дельце-то, того, щекотливое... Положим, я не для себя, куму подарить хочу... Он у нас любитель...

— Говорите!

— Фотографии есть такие... не дамского содержания... Такие бывают,— просто диву дашься: ну и выдумали!.. А оно с натуры! Оно, конечно, и здесь есть... Ассортимент не тот, фантазии нет, но имеются... Да мне, знаете... лицо известное... неловко... А вас кто в Питере знает? Отберите какие почудней! И самим удовольствие: посмотрите.

— Много вам?

— Дюжинки две. Да валяйте четыре. У нас разойдется!

— Больше никаких наказов от избирателей нет?

— Больше никаких-с.

* * *

Иван Петрович шел по Невскому мрачный и озабоченный.

И повстречался нос с носом с Охлестышевым, кадетом, депутатом.

— Ну что, политический противник? — улыбнулся Иван Петрович.— Давно ли в Питере? Как впечатления на местах? Наказы от избирателей получили?

— Д-да. Обыватель теперь стал удивительно как близок к депутату! — сказал Охлестышев, пожевав губами.

Иван Петрович посмотрел на него с завистью.

— Наказы получил удивительно точные.

Охлестышев взял его под руку.

— А скажите, дорогой,— хотя вы и политический противник. Не знаете ли вы, где здесь корсеты продаются? Поручили мне из Петербурга выслать. 85 сантиметров. Куда ни сунусь,— все смеются.

Иван Петрович просиял.

— Да, может, вам и сигов купить наказ дали?

— Шесть. А вам?

— Всего два. Так идем вместе.

В корсетном заведении они встретили Ошметкина, крайнего правого.

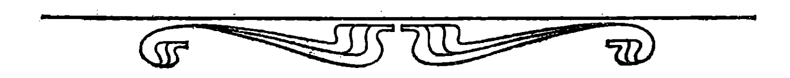
— Бандаж, батенька, заказываю. Для нашего предводителя. И мерку со своей грыжи дал.

А выйдя из корсетной, встретили Кинжалидзе, горного эсдека.

— В Думу?

— На молочную выставку идем. От избирателя наказ имеем: козу купить. Хороший козу купить велел. На племя. Разводить будет. «Будь, говорит, Кинжалидзе, во всем твердый и козу покупай! Твердо торгуйся!»

СТАРАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ МОСКВА



УГОЛОК СТАРОЙ МОСКВЫ

В темном углу, заросшем паутиной, с тихим шорохом отвалился кусочек штукатурки.

Разрушается старый дом. Разваливается. Жаль!

На днях, просматривая какой-то театральный журнал, я увидел портрет очень пожилого человека и подпись:

«Вейхель. Скончался такого-то числа».

Как? Умер Вейхель?

Осыпается дерево моей жизни.

Но неужели он был так стар?

Я заглянул в зеркало.

Печальная пора...

Когда зеркало говорит вам, как часы:

— Времени много.

С Вейхелем ушел один из последних «деятелей»:

— Секретаревского и Немчиновского театров.

Где были такие театры?

В Москве.

Вам, молодые люди 30—35 лет, эти имена не говорят ничего.

А вашим отцам они стоили много единиц по географии, по алгебре, по латыни и по греческому.

Это были любительские театры.

Правда, очень маленькие.

Театры-табакерки.

Но настоящие театры!

С партером, с ложами, с ярусами, даже с галеркой, с оркестром, с пыльными кулисами, с уборными.

Секретаревский помещался на Кисловке, Немчиновский — на Поварской.

Это были, вероятно, когда-то, при крепостном праве, домашние театры господ Секретаревых, господ Немчиновых.

Теперь они сдавались под любительские спектакли — что-то рублей за семьдесят пять, за сто, с правом устроить две репетиции.

Только две!

Остальные устраивались по домам.

Потому что,— вы понимаете,— тут главное дело было, конечно, в репетициях.

Тогда Москва была полна любительскими кружками.

Публики не было. Все были актерами. Все играли!

В каждой гимназии было по нескольку любительских кружков.

Мы учились больше в Секретаревке и Немчиновке, чем в гимназии.

Роли распределялись:

— По особенностям дарования.

Но и по тому:

— Кто сколько мог продать билетов.

И часто «старому актеру» пятого класса:

— Урожденному Расплюеву,

предлагали сыграть маленькую роль купчика:

— «Прикажите получить, Михайло Васильевич!»

Потому что Чулков Сергей мог продать билетов:

— На целых пятьдесят рублей!

— Но какой же он Расплюев? — плакал Иванов Павел,— когда я рожден Расплюевым. Вы понимаете: рожден! Моя коронная роль!

— Но для искусства, Иванов! Спектакль не состоится! Для святого искусства!

— Для искусства?.. Для искусства наш брат, актер, на все согласен! Идет!

Тогда гремел Андреев-Бурлак и волновал молодой Иванов-Козельский.

У Бурлака была толстая нижняя губа, он пришепетывал.

И все комики во всех гимназиях,— а какой гимназист тогда не был комиком! — все комики ходили с оттопыренной нижней губой.

Кусали ее, чтоб:

— Потолще была, проклятая!

И отвечали по географии, пришепетывая:

— Жанжибаршкий берег.

Настоящие Бурлаки!

А любовники, бреясь,— изобретательные парикмахеры находили, что у них брить,— испуганно говорили:

— Вот здесь, на родинке, волосы. Вы их, пожалуйста, не брейте! Избави вас бог, не брейте!

У «Митрофана Трофимовича» была около подбородка родинка, которую он не решался брить.

— Правда, я похож на Козельского?

И сейчас, боже, боже, сколько Бурлаков, сколько Козельских встречаю я по Москве!

Вот по коридору гражданского отделения суда бежит с измызганным портфелем под мышкой полысевший присяжный поверенный.

А, писарь из пьесы «На пороге к делу»!

— «Не человек, а чистая кукла!»

По улице бредет солидный господин с сыном, бородатым студентом.

А помните, как мы с вами ходили в Преображенский дом для умалишенных, готовясь читать «Записки сумасшедшего»:

— Как Бурлак.

И в трактир на Дьяковке:

— Наблюдать народные типы для «Не так живи, как хочется».

Как-то в день какой-то паники я посетил московскую биржу.

И здесь Борис из «Грозы» метался, крича:

— Масло! Масло! Продаю масло! Кто покупает масло?

Это для вас в Москве доктора, адвокаты, учителя, биржевые зайцы.

Для меня все Бурлаки, Бурлаки, Ивановы-Козельские.

Здесь, в этих маленьких театрах, Секретаревке и Немчиновке, как в комнате, на окне, под стаканом, пустили свои первые ростки растения, которые потом, пересаженные на настоящий театр, расцвели пышными и большими цветущими кустами.

Здесь играл корнет Сумского гусарского полка Пашенный.

Являясь на репетиции в красных рейтузах, в голубом мундире с серебряными шнурами.

Он щелкал шпорами и застенчиво кланялся на все стороны, когда его со всех сторон хвалили, особенно дамы:

— Превосходно, Николай Петрович! Превосходно!

Потом это был:

— Рощин-Инсаров.

Здесь начал свою артистическую деятельность мой:

— Учитель чистописания и рисования Артемьев.

Потом,— ваш друг, ваш любимец, незабвенный, дорогой и милый Артем.

— Дедушка Художественного театра.

(Ведь и сам Художественный театр вырос тоже из любительского кружка.)

Вы вспоминаете Артема чудесным Фирсом, трогательным «Нахлебником».

Я помню его превосходным Аркадием Счастливцевым.

И в моих ушах звучит его мягкий, укоряющий голос:

— Дорошевич Власий, сколько раз я вам говорил, чтобы вы, когда пишете, держали указательный палец прямо! Вы опять держите указательный палец не прямо!

Целое отчаяние в голосе!

Изо всей массы людей, которые меня «учили и воспитывали», это один из немногих, о которых у меня сохранилась теплая память.

Он был бесконечно добр.

Его рука никогда не поставила единицы, не вывела красивой и элегантной двойки.

Мы, конечно, злоупотребляли этой добротой.

— А я вчера был в Секретаревке. Видел вас в роли Кулигина!

Он конфузился:

— Ну, ну, пиши!.. Буква «Б». Большая. Пишется так. Круг, колесом, легко, не нажимая. Потом нажим, черта над буквой и опять пусти перо легко. Хвост кверху. Завитка не делать. Некрасиво и по-писарски!

Вы его помните. Видите, как живым.

Небольшого роста. Рябой. С дерганой бородкой.

— А la черт меня побери! — как называлось тогда.

Так тогда ходили:

— Все художники.

От него веяло художником и Училищем живописи, ваяния и зодчества.

Он держался со взрослыми гимназистами:

— Больше по-товарищески.

Здоровался за руку:

— Когда не видел надзиратель.

И, встречаясь в театре, угощал папиросами.

Он был старый, известный любитель.

Звезда Секретаревки и Немчиновки.

Как другой превосходный артист-любитель, князь Мещерский.

Артем играл:

— Уже за плату.

Получал пятнадцать рублей от спектакля.

И играл превосходно.

Коронной ролью его был Аркадий Счастливцев.

Тогда сводил с ума всю Москву в этой роли Андреев-Бурлак.

Островский, посмотрев его, сказал:

— Хорошо. Но я этого не писал. Уж очень этот Аркадий жулик. Даже прожженный.

Артем играл мягче.

И сколько я вспоминаю:

— Был лучше.

У него это была добродушная богема.

Целый день этот человек твердил то одним, то другим малышам:

— Буква «Г». Большая. Пишется так. Смотрите.

А вечером предавался творчеству.

Настоящему художественному творчеству.

На «блюдечке» игрушечного театра, с гимназистами.

Почему он тогда же не отдался призванию, таланту, а «тянул лямку» учителя чистописания?

Почему не пошел на сцену?

Мне кажется, что:

— По робости.

Отличительной чертой этого художника с шевелюрой «а la черт меня побери» была:

— Робость.

Робость перед жизнью.

Жизнь — страшная штука.

Вроде нависших скал на Военно-Грузинской дороге:

— Пронеси, господи.

Может быть, самое лучшее — пройти ее, зажмурясь.

Артем глядел на жизнь широко раскрытыми, испуганными глазами.

Маленького человека пугала эта огромная, нависшая над ним глыба — жизнь.

Вот-вот рухнет и раздавит.

— Служба, братец, это все-таки определенное. А сцена... и-и...

Он боялся пойти в провинцию.

Где не платят, где антрепренеры бегают, где сидят на мели.

Боялся частных театров.

— А вдруг прогорит!

А поступить на «настоящую» сцену, на казенную, на «образцовую», на великую, на Малую, тогда было:

— Нечего и мечтать.

На Малой сцене не могли и представить себе, что где-нибудь кто-нибудь может играть:

— Кроме них.

Самарин и вообще-то театром называл только Малый театр.

Кажется, даже решившись, наконец, поступить в театр,— в Художественный театр,— Артем все-таки продолжал преподавать:

— Буква «А». Большая. Пишется так!

Пока не дослужился до пенсии.

— На всякий случай!

— Мало ли что может случиться!

Мне приходилось слышать в воспоминаниях об Артеме, всегда нежных, всегда трогательных, всегда полных любви, добродушное подтрунивание:

— Дедушка был-таки скуповат!

Я думаю, что эта скупость была продиктована не жадностью,— о, нет,— не любовью к деньгам,— а той же боязнью перед жизнью.

— А вдруг!

— Мало ли что может случиться!

Жизнь — страшная штука.

Вдруг все лопнет!

С этой боязнью перед жизнью, с этой тревогой, мне кажется, он жил до последнего дня.

Мир его милой памяти!

Милый Артем!

Если бы Секретаревка и Немчиновка,— или, как их еще непочтительнее звали в старой Москве:

— Секретаревская и Немчиновская «дыры»,

дали русскому искусству только Рощина и Артема,— и тогда их заслуга не мала перед «настоящей» сценой.

Настоящие актеры режиссировали Бурлаками и Козельскими.

Особенно славился как режиссер Далматов.

Я познакомился с ним в Пушкинском театре Бренко.

Какое счастье! За кулисами.

Крошечная уборная:

— Писарева.

Полно народу.

Едва дыша, я сижу где-то в уголке, около таза, полного мыльной водой.

У гримировального стола сидит сам Модест Иванович и поющим баском что-то говорит.

Около Гла́ма-Мещерская, как произносят одни. «Сама» Глама́, как выговаривают другие. Красота, вся изящество, вся грация, вся женственность — Глама-Мещерская, про которую в Москве сложились стихи:

Будь ты хоть Гла́ма, хоть Глама́,
Ты все же нас свела с ума.

Тут же Бурлак,— настоящий Бурлак.

Рютчи, Козельский.

Собрание богов.

Идет какой-то спор.

И вдруг в средине спора в уборную влетает человек в «соединенных штатах»,— как говорилось тогда,— но совершенно без рубашки, с торсом атлета.

Далматов.

— Во-первых! — вступает он в спор, делая красивый жест рукой.

— Во-первых,— прерывает его г-жа Бренко,— Василий Пантелеймонович, оденьтесь!

— Parrrrrdon!

Общий хохот.

— У нас Вася пылкий человек! Ему всегда жарко! — пришепетывая, говорит Бурлак.

Мы захотели пригласить режиссировать:

— Самого Бурлака.

И явились депутацией к нему в Чернышевский переулок.

Он жил в чудесном особняке, какие есть только в Москве,— и который сейчас, кажется, ломают.

Мы попали на один из тех пиров, среди которых жег свою короткую жизнь этот необыкновенный,— быть может, гениальный,— артист.

И застыли в гимназических мундирах на дороге.

Я помню г-жу Ш., потом актрису, потом корреспондентку, потом антрепренершу, потом судившуюся за подлоги, потом деятельницу «Союза русского народа», шумев-

шую в Берлине, шумевшую в Петрограде, нашумевшую на всю Россию.

Я помню от нее только очень длинный шлейф и очень эффектную фигуру.

Помню молодого, талантливого музыканта Щуровского, который «подавал большие надежды», но, как это почти всегда бывает у нас, ни одной из них не осуществил до самой смерти.

Все знаменитости.

Бурлак перезнакомил нас со всеми этими богами и полубогами:

— Что, молодые люди? За карточками?

— Нет, мы хотели бы просить вас, Василий Николаевич... у нас... прорежиссировать...

Он посмотрел на нас.

— Что идет?

— «Свадьба Кречинского».

— Ого!

Поклонился.

— На это у нас Вася мастак. Василий Пантелеймонович! Иди! Молодые люди тебя княжить и управлять пришли просить.

Далматов величественно прошел с нами в кабинет.

— Всегда рад прийти молодым талантам на помощь моей опытностью стэ-э-эрого актера!

Нам немножко льстили актеры.

Ведь мы — та «галерка», которая вызывает «по двадцати раз».

Помню репетиции и Далматова, величественного, как молодой лев.

Он на авансцене.

Далматов сам великолепный Кречинский.

Его коронная роль.

И он учит, главным образом, Кречинского.

— Нелькин! Вы выбегаете из средних дверей. «Нежна? Кто нежна?» Больше испуга. Кречинский! Стойте! Плечом к Нелькину. Вот так! Поворачиваете голову. Медленно! Пауза. Сквозь зубы: «Скэ-э-э-тина». Вот так! Повторите!

— Кречинский! У вас в руках шапокляк. Подождите, не раскрывайте. Вы подходите к двери. Нажимаете донышко двумя пальцами. Пам! И ушли. Сделайте!

— Реквизитор! Чтобы был подпиленный кий! Вы играли с Лидочкой на бильярде. Вы входите. В левой руке

кий. Вы останавливаетесь. Берете кий и правой. Держите перед собой. Словно инстинктивно готовитесь защищаться. Поднимаете слегка правое колено. Р-раз! Кий пополам! — «Сэр-валэ-э-эсь!» Обе половины кия в правую руку. Бросаете вместе в угол. Шаг вперед. Сделайте!

Я глядел на искусство, как на глубокое, бездонное озеро. И я чувствовал, как будто бы я вошел и как будто бы это озеро только по колено...

Я невольно переживаю какое-то разочарование, первое разочарование в театре.

Воспоминания развертывают передо мною целую галерею.

— Любительских режиссеров Секретаревки и Немчиновки.

Костров, актер Пушкинского театра, с глухим и глубоким басом, он играет только какие-то зловещие роли.

Тень отца Гамлета, Неизвестного в лермонтовском «Маскараде».

И я вижу его, со скрещенными руками, выступающим из глубины сцены.

Слышу его голос, ровный, без повышений, без понижений, без какого бы то ни было выражения, без остановок, без передышек, без запятых:

— Казнит злодея провиденье невинная погибла жаль ах я ее видел но здесь ее ждала печаль а там ждет ра-а-дость.

Повертывается и уходит.

— До водочки!

Милый «трехэтажный»:

— Василий Васильевич Васильев.

Его зовут «трехэтажным» ввиду его имени-отчества-фамилии и потому, что ужасно смешно звать «трехэтажным» этого маленького, хворого человечка с лицом, как печеное яблоко.

Он подает крошечную ручку, слабую, как рука трехлетнего ребенка.

Дунь на него, кажется, и он улетит, как перышко.

А он в пылу спора кричал на огромного, на колоссального Писарева:

— Модест! Замолчи, или я тебя вышвырну в форточку!

Писарев от хохота задрожал всем своим могучим телом.

— Да я не пролезу, Василий Васильевич!

Тогда, в злобе бессилия, в истерике, со слезами, с визгом, Василий Васильевич впился Модесту зубами в ногу.

Он умен, очень начитан и:

— Если прав, если знает,— не уступит никому. Хоть Писарев, хоть Расписарев!

Он так и умер в бедности, всеми забытый, забегая только иногда попросить:

— Книжку почитать!

Хрустально-чистая живая душа на костылях.

Я вообще заметил, что самые умные и самые образованные люди среди актеров, обыкновенно, маленькие и неудачники.

Большим актерам и любимцам некогда читать: им все поклоняются. А слава и мысли о своем величии не оставляют места в голове ни для каких других мыслей.

Василий Васильевич Васильев был актером того же Пушкинского театра.

И держался только для одной роли:

Афони в «Грех да беда на кого не живет».

Был в ней великолепен.

Да он и в жизни, маленький, больной и умный, был Афоней.

Жил он, по бедности, у Писарева.

И большой Писарев очень любил его, несмотря на угрозы «вышвырнуть Модеста в форточку», укусы и брань, которой Василий Васильевич награждал его в спорах и за игру:

— Вы-с, извините-с меня-с, Модест Иванович-с, сегодня-с как сапожник-с играли-с! Разве-с такие-с бывают-с Иваны-с Грозные-с? Да и какая же-с Александра Яковлевна Глама-Мещерская-с Василиса-с Мелентьевна-с? — шипел он.

Критик, как все неудачники, он был жестокий.

Каково ему было смотреть наши детские ломанья!

Только иногда он отводил душу:

— Вы бы сказали этому барчуку, что ему не Анания Яковлева играть, а таблицу умножения учить! «Грифель!» — как говорит Несчастливцев. Пифагоровы штаны!

И он возился с «барчуками»:

— Если бы не бедность!

Отставной артист Александринского театра «дедушка» Алексеев всех находил:

— Талантищами.

— У тебя, брат, талантище! Прямо скажу, талантище! Смотри только, в землю не зарой! Ко мне приходи! Я тебе уроки давать буду!

— У вас, милая моя, дарование. Вам и сейчас бы в провинции 500 рублей в месяц и бенефис дали. Картавы вы только. «Р» не выговариваете. «Л» не выговариваете. Вместо «к» у вас «та» выходит. Но это не беда. Вы ко мне приходите. Я вам камушки такие дам. С камушками у меня говорить будете. В десять уроков все пройдет!

— Милый! Дай я тебя обниму! Тронул ты меня, старика, в этой сцене! За кулисами тронул! А в зрительном зале ничего не слышно! Голос у тебя слаб! Да это не беда! Ты ко мне приходи! Я тебе уроки дикции давать буду.

— Картинка ты! Прямо картинка! Только ко мне ходи, я тебе уроки давать стану!

Молодые актеры искали «карасей», как тогда называлось на актерском языке. Старики — уроков.

Но самое главное была, конечно, не сцена, а кулисы.

— Эти священные кулисы.

И я, как сейчас, помню лицо моей бедной матушки, когда я объявил ей:

— Мама, возьми меня из гимназии. Я пойду на сцену.

Она всплеснула руками:

— Как на сцену?

Я декламировал и «басил», как актер Несчастливцев:

— Не бывши артистом, нельзя судить об этом. Как дорого и священно все, что на сцене. И эта суфлерская будка священна, и эти пыльные, размалеванные декорации дороже мраморных колонн, и сама пыль их священна и дорога. Пыль кулис!

Матушка тихо плакала.

Отец сидел по-стариковски в шитой ермолке и курил трубку, сжимая длинный, до полу, хрипящий чубук, как сжимают поводья рвущегося в бой коня.

Играли не на сцене.

Играли за кулисами:

— Актеров.

Старых актеров!

Один, «как Бурлак»:

— Не мог выйти без коньяку!

— Понимаешь, не могу играть! Не могу! Ничего у меня не выходит!

Другие хлестали водку, закусывая вареной колбасой и огурцами, пока парикмахер раскрашивал им лица.

Что ж это за актеры, если не хлещут водку?

Именно:

— Не хлещут.

И были в восторге, когда режиссер приходил и говорил:
— А это что у вас? Колбаска? Самая актерская снедь!
Любовники пили мадеру:
— Для голоса.
— О-ро-ро! Налей-ка мне, братец, еще рюмашку! О-ро-ро! Насыпь еще баночку.
И потом воспоминания:
— О гастролях.
— Когда я играл в селе Богородском, скажу я тебе, братец ты мой...
— Когда мы играли в Пушкине...
— В Царицыне у нас было два спектакля. Сделали мы по тридцать пять рублей на круг.
И все это — «этаким басом».
Не следует думать, однако, что подмостки Секретаревки и Немчиновки были усыпаны одними только розовыми лепестками.
И что все здесь было только смешно и по-детски.
Тут случались трагедии и побольше единицы по латыни.
История этих театров-крошек запятнана и пятнами крови.

II

В моих воспоминаниях поднимается элегантная тень.
Я больше никогда не встречал этой женщины,— и гляжу на нее глазами шестнадцатилетнего мальчика.
Не сердитесь, если я скажу вам, что это была красавица и самая изящная женщина в мире.
Как остаются в нашем воспоминании все женщины, которые были близки и которых мы все-таки не достигли.
На самом деле, она была, вероятно, недурна.
Высокая, стройная, хорошая фигура.
Мелкая актриса какого-то театра.
Она работает в любительских кружках победнее.
Режиссирует на репетициях.
Три акта сидит в суфлерской будке.
На четвертый,— с быстротой молнии или актрисы переодевается, является в платье с длинным треном, в перчатках выше локтей, с цветами в волосах, играет какую-то светскую гостью.
Выпускает в водевиле:
— Приготовьтесь, ваш выход!.. Выходите!
И все это за десять рублей!

Все?

Идет «Жертва за жертву» Дьяченко.

У меня:

— Знакомых всего на пятнадцать рублей!

Я «ради искусства» приношу себя в жертву, играю «роль без ниточки», смотрителя, и исполняю обязанности распорядителя.

Смотритель *(глядя на дорогу)*. Ну и гон, прости господи! И куда это только их гонит? *(Уходит.)*

Вложим в эти слова столько комизма, сколько в них нет, я разгримировываюсь и сижу за кассой.

Раздаю оставшиеся семьдесят пять рублей парикмахеру, рабочим, оркестру, бутафорам.

В то время, когда «там» вызывают, выходят, кланяются, кричат:

— Занавес! Давай занавес! Не слышите, черти? Аплодируют!

Она входит последнею.

— Фу, устала! Ну что, все или подождать?

— Все!

— Давайте!

Я выдаю ей последние десять рублей, она расписывается.

— Едем!

Я смотрю на нее с недоумением:

— Поедемте!

Мы выходим.

— Ты хоть распорядился извозчика-то позвать?

Она перешла на «ты».

Я смущен.

— Н-нет... я н-не...

— Ах ты, господи! Ну, что ж мы? Пешком, что ли пойдем?

Я бегу на угол:

— Извозчик! Извозч-и-ик!

— Садись! Ах господи, да садись же! Экий нескладный! Ты сказал ему, куда ехать?

— Н-нет... Я н-не знал... А вы где живете?

— С ума сошел? Ко мне нельзя!.. Ну, что ж мы? Так стоять, что ли, будем? Ты куда меня везешь?

— Я... я... я н-не знаю... Я думал, вас до дому надо п-п-проводить...

— Фу, ты, черт! Хоть бы раньше предупредил! Я бы себе пожрать чего приготовила! Извозчик!

Она тычет его в спину.

— Поезжай сначала на Тверскую. Ты знаешь, около Страстного, против Корпуса, лавочка, где торгуют всю ночь?

И мы ныряем по тогдашним московским ухабам.

Я — смущенный.

Она — уткнувши нос в муфту.

— Да, вы скажите...

Она снова переходит на «вы».

— Вы — настоящий распорядитель?

— Я? Настоящий!

— Вы, может быть, так... Есть какой-нибудь другой распорядитель? Настоящий? Он рассердится, что я с ним не поехала. Вы говорите правду? Это ведь дело!

— Ей-богу, честное слово, другого распорядителя нет. А что?

— Ничего. Первого такого распорядителя вижу.

Мы снова молчим.

— Вы часто бываете распорядителем?

— Нет. Я — комик. Я играю. Это я только так... Согласился... В виде исключения...

— А!

И столько презрения в этом: «А!»

И в лавке, пока ей завертывают сосиски и мещерский сыр, она смотрит на меня.

Свысока. Улыбается уголками губ.

— Тоже... распорядитель!..

Я не знал, за что она сердится.

За то, что осталась без хорошего,— во всяком случае,— теплого, ужина в ресторане? За то, что на свои деньги должна покупать себе сосиски?

Но я чувствовал, что под зеленым лугом, по которому я иду, болото и трясина. Что сквозь траву проступает вода, и мои ноги проваливаются.

Как много обязанностей за десять рублей!

В старой Москве все было дешево: говядина, театр и человек.

В Секретаревке, этом «театре детских игр», разыгралась трагедия, лет тридцать пять тому назад взволновавшая всю Москву.

— Дело нотариуса Н.

Шел любительский спектакль.

В нем, в первый раз в жизни, играла на сцене молодая девушка, конторщица в маленьком журнальчике «Светоч».

К спектаклю имел какое-то отношение нотариус Н., известный в тогдашней Москве, как:

— Большой ходок по дамской части.

Молодая девушка имела большой успех. Ее много вызывали.

И нотариус предложил:

— Необходимо вспрыснуть первый артистический успех!

Решили ехать ужинать вчетвером.

Девушка, нотариус, комическая старуха и молодой человек — любитель.

Нотариус повез дебютантку на своей лошади.

Старуха и любитель поехали на извозчике.

Нотариус привез молодую девушку в известную в Москве гостиницу:

— Но с другого подъезда.

В «кабинете» был уже накрыт ужин на четверых.

— Они сейчас приедут. Ведь мы на своей.

Но старуха с любителем не ехали.

Девушка начала беспокоиться.

Она открыла дверь в соседнюю комнату.

Там была... кровать.

— Куда вы меня привезли?

Нотариус запер номер и ключ положил в карман.

Произошла гнусная сцена.

На следующий день молодая девушка кинулась к комической старухе:

— Что вы со мной сделали?

Старуха и любитель руками замахали:

— Мы-то при чем? Это все он! Мы приехали, да нас не пустили!

— Я этого так не оставлю. Я подам заявление прокурору.

Сообщники перепугались.

— Милая! Что вам за охота поднимать такой скандал! Пачкать в грязи свое имя! Подумайте! Ведь у вас есть отец. Старик! Это его убьет. Дайте мы с Н. переговорим.

— О чем же говорить? Жениться на мне он не может,— он женат...

— Дайте переговорим.

Переговорили.

— Милая! Прошлого не воротишь. Поднимать такую грязь,— пожалейте старика-отца. А вы вот что, вы напи-

шите ему письмо. Пусть заплатит вам десять тысяч, а то, мол, заявлю. Испугается, слова не скажет!

Девушка возмутилась.

Но ее стали уговаривать:

— Таких господ учить надо! Нельзя же его безнаказанным оставить. Да и вам деньги. Не век же в конторщицах сидеть.

Словом, несчастную закрутили так, что она написала письмо.

Тогда все переменилось.

— А! Шантаж? Доказательство налицо! Шантажное письмо! Пусть попробует подать жалобу! Да я сам обращусь в сыскную полицию. Пусть меня оградят. Я человек известный, с положением! Из Москвы в двадцать четыре часа вышлют!

Обесчестили — и ее же обвиняют в шантаже.

Позор, надругательство, впереди — сыскная полиция, высылка из Москвы.

На земле нет справедливости.

И молодая девушка застрелилась на паперти храма Христа Спасителя.

Написав в большом письме свою жалобу.

Самоубийство было так громко, что даже в тогдашней Москве, где все тушилось, что касалось «известных в городе лиц»,— поднялось дело.

Был громкий процесс при закрытых дверях.

Процесс, между прочим, интересный по необычной, неслыханной в летописях суда, экспертизе.

В качестве эксперта была вызвана блестящая московская актриса, красавица С. П. Волгина.

Она должна была свидетельствовать суду.

— О душевном состоянии, в котором находится артистка после успеха на сцене.

Нотариус Н. был осужден в ссылку.

Так детьми мы играли на лугу, под которым была глубокая трясина.

Но умолкни, болтливая старость...

Мы начали о Вейхеле.

Я не знаю, чем, собственно, его увлекла сцена.

Он играл — в свои «бенефисы»,— только одну роль:

— Акакия Акакиевича Акакиева.

В водевиле «Жена напрокат».

Все его сценические данные подходили только к этой забавной роли.

Но Секретаревка и Немчиновка увлекли его, как многих юношей.

Он был устроителем любительских спектаклей, а потом театральным библиотекарем.

Это был целиком:

— Человек театра.

Он и жил до конца дней своих в самом театральном московском переулке, в Богословском:

— Где Корш.

Кроме видных людей, драматурга, актера, театр требует еще целой массы невидных, незаметных деятелей, любящих театр, вечно остающихся за кулисами.

Один из них был покойный Вейхель.

Мир его праху!

Мир праху всего прошлого!

ШАЛЯПИН В «МЕФИСТОФЕЛЕ»

(Из миланских воспоминаний)

Представление «Мефистофеля» начиналось в половине девятого.

В половине восьмого Арриго Бойто разделся и лег в постель.

— Никого не пускать, кроме посланных из театра.

Он поставил на ночной столик раствор брома.

И приготовился к «вечеру пыток».

Словно приготовился к операции.

Пятнадцать лет тому назад «Мефистофель» в первый раз был поставлен в «Скала».

Арриго Бойто, один из талантливейших поэтов и композиторов Италии, долго, с любовью работал над «Мефистофелем».

Ему хотелось воссоздать в опере гетевского «Фауста» вместо рассыропленного, засахаренного, кисло-сладкого «Фауста» Гуно.

Настоящего гетевского «Фауста». Настоящего гетевского Мефистофеля.

Он переводил и укладывал в музыку гетевские слова.

Он ничего не решался прибавить от себя.

У Гете Мефистофель появляется из пуделя.

Это невозможно на сцене.

Как сделать?

Бойто бьется, роется в средневековых немецких легендах «о докторе Фаусте, продавшем свою душу черту».

Находит!

В одной легенде черт появляется из монаха.

15 лет тому назад «Мефистофель» был поставлен в «Скала».

Мефистофеля исполнял лучший бас того времени.

15 лет тому назад публика освистала «Мефистофеля».

Раненный в сердце поэт-музыкант с тех пор в ссоре с миланской публикой.

Он ходит в театр на репетиции. На спектакль — никогда.

Мстительный итальянец не может забыть.

«Забвенья не дал бог, да он и не взял бы забвенья».

Он не желает видеть:

— Этой публики!

Затем «Мефистофель» шел в других театрах Италии. С огромным успехом. «Мефистофель» обошел весь мир, поставлен был на всех оперных сценах. Отовсюду телеграммы об успехе.

Но в Милане его не возобновляли.

И вот сегодня «Мефистофель» апеллирует к публике Милана.

Сегодня пересмотр «дела об Арриго Бойто, написавшем оперу «Мефистофель».

Пересмотр несправедливого приговора. Судебной ошибки.

В качестве защитника приглашен какой-то Шаляпин, откуда-то из Москвы.

Зачем? Почему?

Говорят, он создал Мефистофеля в опере Гуно. А! Так ведь то Гуно! Нет на оперной сцене артиста, который создал бы гетевского Мефистофеля, настоящего гетевского Мефистофеля. Нет!

На репетиции Бойто, слушая свою оперу, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Мне кажется, в этой опере есть места, которые не заслуживают свиста!

Он слушал, он строго судил себя.

Он вынес убеждение, что это не плохая опера.

Но спектакль приближается. Бойто не в силах пойти даже за кулисы.

Он разделся, лег в постель, поставил около себя раствор брома.

— Никого не пускать, кроме посланного из театра!

И приготовился к операции.

* * *

Так наступил вечер этого боя.

Настоящего боя, потому что перед этим в Милане шла мобилизация.

* * *

Редакция и театральное агентство при газете «Театр» полны народом.

Можно подумать, что это какая-нибудь политическая сходка. Заговор. Лица возбуждены. Жесты полны негодования. Не говорят, а кричат.

Всех покрывает великолепный, «как труба», бас г-на Сабаллико:

— Что же, разве нет в Италии певцов, которые пели «Мефистофеля»? И пели с огромным успехом? С триумфом?

Г-н Сабаллико ударяет себя в грудь.

Восемь здоровенных басов одобрительно крякают.

— Я пел «Мефистофеля» в Ковенгартенском театре, в Лондоне! Первый оперный театр в мире!

— Я объездил с «Мефистофелем» всю Америку! Меня в Америку выписывали!

— Позвольте! Да я пел у них в России!

Все басы, тенора, баритоны хором решили:

— Это гадость! Это гнусность! Что ж, в Италии нет певцов?

— Кто же будет приглашать нас в Россию, если в Италию выписывают русских певцов? — выводил на высоких нотах какой-то тенорок.

— Выписывать на гастроли белого медведя! — ревели баритоны.

— Надо проучить! — рявкали басы.

У меня екнуло сердце.

— Все эти господа идут на «Мефистофеля»? — осведомился я у одного из знакомых певцов.

— Разумеется, все пойдем!

Редактор жал мне, коллеге, руку. По улыбочке, по бегающему взгляду я видел, что старая, хитрая бестия готовит какую-то гадость.

— Заранее казнить решили? — улыбаясь, спросил я.

Редактор заерзал:

— Согласитесь, что это большая дерзость ехать петь в страну певцов! Ведь не стал бы ни один пианист играть перед вашим Рубинштейном! А Италия — это Рубинштейн!

Директор театрального бюро сказал мне:

— Для г-на Скиаляпино [1], конечно, есть спасенье. Клака. Купить как можно больше клаки,— будут бороться со свистками.

Мы вышли вместе со знакомым певцом.

— Послушайте, я баритон! — сказал он мне.— Я Мефистофеля не пою. Мне ваш этот Скиаляпино не конкурент. Но однако! Если бы к вам, в вашу Россию, стали ввозить пшеницу, что бы вы сказали?

Секретарь театра «Скала» сидел подавленный и убитый:

— Что будет? Что будет? Выписать русского певца в «Скала»! Это авантюра, которой нам публика не простит.

* * *

Супруге Ф. И. Шаляпина, в его отсутствие, подали карточку:

«Синьор такой-то, директор клаки театра «Скала».

Вошел «джентльмен в желтых перчатках», как их здесь зовут. Развалился в кресле.

— Мужа нет? Жаль. Ну, да я поговорю с вами. Вы еще лучше поймете. Вы сами итальянская артистка. Вы знаете, что такое здесь клака?

— Да. Слыхала. Знаю.

— Хочет ваш муж иметь успех?

— Кто ж из артистов...

— Тенор, поющий Фауста, платит нам столько-то. Сопрано, за Маргариту,— столько-то. Другое сопрано, за Елену,— столько-то! Теперь ваш муж! Он поет заглавную партию. Это стоит дороже.

— Я передам...

— Пожалуйста! В этом спектакле для него всё. Или слава, или ему к себе в Россию стыдно будет вернуться! Против него все. Будет шиканье, свистки. Мы одни можем его спасти, чтобы можно было дать в Россию телеграмму: «Successo colossale, triumpto completto, tutti arii bissati».

---

[1] Так итальянцы читали фамилию «Шаляпин».

Заплатит... Но предупреждаю: как следует заплатит,— успех... Нет...

Он улыбнулся:

— Не сердитесь... Ха-ха! Что это будет! Что это будет! Нам платят уже его противники. Но я человек порядочный и решил раньше зайти сюда. Может быть, мы здесь сойдемся. Зачем же в таком случае резать карьеру молодого артиста?

И Спарафучилле откланялся:

— Итак, до завтра. Завтра ответ. Мой поклон и привет вашему знаменитому мужу. И пожелание успеха. От души желаю ему иметь успех!

На следующий день в одной из больших политических газет Милана появилось письмо Ф. И. Шаляпина.

«Ко мне в дом явился какой-то шеф клаки,— писал Шаляпин,— и предлагал купить аплодисменты. Я аплодисментов никогда не покупал, да это и не в наших нравах. Я привез публике свое художественное создание и хочу ее, только ее свободного приговора: хорошо это или дурно. Мне говорят, что клака — это обычай страны. Этому обычаю я подчиняться не желаю. На мой взгляд, это какой-то разбой».

* * *

В галерее Виктора-Эммануила, на этом рынке певцов, русские артисты сидели отдельно за столиками в кафе Биффи.

— Шаляпин кончен!

— Сам себя зарезал!

— Как так? Соваться, не зная обычаев страны.

— Как ему жена не сказала?! Ведь она сама итальянка!

— Да что ж он такого сделал,— спросил я,— обругал клакеров?

— Короля клакеров!!!

— Самого короля клакеров!

— Мазини, Таманьо подчинялись, платили! А он?

— Что они с ним сделают! Нет, что они с ним сделают!

— Скажите,— обратился ко мне один из русских артистов,— вы знакомы с Шаляпиным?

— Знаком.

— Скажите ему... от всех от нас скажите... Мы не хотим такого позора, ужаса, провала... Пусть немедленно помирится с клакой. Ну, придется заплатить дороже. Только

и всего. За деньги эти господа готовы на все. Ну, извинится, что ли... Обычай страны. Закон! Надо повиноваться законам!

И он солидно добавил:

— Dura lex, sed lex!

— С таким советом мне стыдно было бы прийти к Шаляпину!

— В таком случае пусть уезжает. Можно внезапно заболеть. По крайней мере, хоть без позора!

Певцы-итальянцы хохотали, болтали с веселыми, злорадными, насмешливыми лицами.

Вся галерея была полна Мефистофелями.

— Ввалился северный медведь и ломает чужие нравы!

— Ну, теперь они ему покажут!

— Теперь можно быть спокойными!

Один из приятелей-итальянцев подошел ко мне:

— Долго остаетесь в Милане?

— Уезжаю сейчас же после первого представления «Мефистофеля».

— Ах, вместе с Скиаляпино!

И он любезно пожал мне руку.

«Король клаки» ходил улыбаясь,— демонстративно ходил, демонстративно улыбаясь,— на виду у всех по галерее и в ответ на поклоны многозначительно кивал головой.

К нему подбегали, за несколько шагов снимая шапку, подобострастно здоровались, выражали соболезнование.

Словно настоящему королю, на власть которого какой-то сумасшедший осмелился посягнуть.

Один певец громко при всех сказал ему:

— Ну, помните! Если вы эту штуку спустите,— мы будем знать, что вы такое. Вы — ничто, и мы вам перестанем платить. Зачем в таком случае? Поняли?

Шеф клаки только многозначительно улыбался.

Все его лицо, глаза, улыбка, поза — все говорило:

— Увидите!

Никогда еще ему не воздавалось таких почестей, никогда он не видел еще такого подобострастия.

На нем покоились надежды всех.

* * *

— Слушайте,— сказал мне один из итальянских певцов, интеллигентный человек,— ваш Скиаляпино сказал то, что думали все мы. Но чего никто не решался сказать. Он молодчина, но ему свернут голову. Мы все...

Он указал на собравшихся у него певцов, интеллигентных людей,— редкое исключение среди итальянских оперных артистов.

— Нам всем стыдно,— стыдно было читать его письмо. Мы не артисты, мы ремесленники. Мы покупаем себе аплодисменты, мы посылаем телеграммы о купленных рецензиях в театральные газеты и платим за их помещенье. И затем радуемся купленным отчетам о купленных аплодисментах. Это глупо. Мы дураки. Этим мы, артисты, художники, поставили себя в зависимость, в полную зависимость от шайки негодяев в желтых перчатках. Они наши повелители — мы их рабы. Они держат в руках наш успех, нашу карьеру, судьбу, всю нашу жизнь. Это унизительно, позорно, нестерпимо. Но зачем же кидать нам в лицо это оскорбление? Зачем одному выступать и кричать: «Я не таков. Видите, я не подчиняюсь. Не подчиняйтесь и вы!» Когда без этого нельзя! Поймите, нельзя! Это так, это заведено, это вошло в плоть и кровь. Этому и посильнее нас люди подчинялись. Подчинялись богатыри, колоссы искусства.

Этому вашему Скиаляпино хорошо. Ему свернут здесь голову, освищут, не дадут петь,— он сел и уехал назад к себе. А нам оставаться здесь, жить здесь. Мы не можем поступать так. Нечего нам и кидать в лицо оскорбление: «Вы покупаете аплодисменты! Вы в рабстве у шайки негодяев!»

— Да и что докажет ваш Скиаляпино? Лишний раз всемогущество шайки джентльменов в желтых перчатках! Они покажут, что значит идти против них! Надолго, навсегда отобьют охоту у всех! Вот вам и результат!

Эти горячие возражения сыпались со всех сторон.

— Но публика? Но общественное мнение? — вопиял я.

— Ха-ха-ха! Публика!

— Ха-ха-ха! Общественное мнение!

— Публика возмущена!

— Публика?! Возмущена?!

— Он оскорбил наших итальянских артистов, сказав, что они покупают аплодисменты!

— Общественное мнение говорит: не хочешь подчиняться существующим обычаям,— не иди на сцену! Все подчиняются, что ж ты за исключение такое? И подчиняются, и имеют успех, и отличные артисты! Всякая профессия имеет свои неудобства, с которыми надо мириться. И адвокат говорит: «И у меня есть в профессии свои неудобст-

ва. Но подчиняюсь же я, не ору во все горло!» И доктор, и инженер, и все.

— Но неужели же никто, господа, никто не сочувствует?

— Сочувствовать! В душе-то все сочувствуют. Но такие вещи, какие сказал, сделал ваш Скиаляпино,— не говорятся, не делаются.

— Он поплатится!

И они все жалели Шаляпина:

— Этому смельчаку свернут голову!

* * *

Мне страшно, прямо страшно было, когда я входил в театр.

Сейчас...

Кругом я видел знакомые лица артистов. Шеф клаки, безукоризненно одетый, с сияющим видом именинника, перелетал от одной группы каких-то подозрительных субъектов к другой и шушукался.

Словно полководец отдавал последние распоряжения перед боем.

Вот сейчас я увижу проявление «национализма» и «патриотарства», которые так часто и горячо проповедуются у нас.

Но почувствую это торжество на своей шкуре.

На русском.

Русского артиста освищут, ошикают за то только, что он русский.

И я всей болью души почувствую, что за фальшивая монета патриотизма это «патриотарство». Что за несправедливость, что за возмущающая душу подделка национального чувства этот «национализм».

Я входил в итальянское собрание, которое сейчас казнит иностранного артиста только за то, что он русский.

Какая нелепая стена ставится между артистом, талантом, гением и публикой.

Как испорчено, испакощено даже одно из лучших наслаждений жизни — наслаждение чистым искусством!

Как ужасно чувствовать себя чужим среди людей, не желающих видеть в человеке просто человека!

Все кругом казались мне нелепыми, дикими, опьяненными, пьяными.

Как они не могут понять такой простой истины? Ша-

ляпин — человек, артист. Суди его как просто человека, артиста.

Как можно собраться казнить его за то, что:

— Он — русский!

Только за это.

Я в первый раз в жизни чувствовал себя «иностранцем», чужим.

Все был русский и вдруг сделался иностранец.

В театр было приятно идти так же, как на казнь.

Я знаю, как «казнят» в итальянских театрах.

Свист — нельзя услышать ни одной ноты.

На сцену летит что попадет под руку.

Кошачье мяуканье, собачий вой.

Крики:

— Долой!

— Вон его!

— Собака!

* * *

Повторять об успехе значило бы повторять то, что известно всем.

Дирижер г-н Тосканини наклонил палочку в сторону Шаляпина.

Шаляпин не вступает.

Дирижер снова указывает вступление.

Шаляпин не вступает.

Все в недоумении. Все ждут. Все «приготовились».

Дирижер в третий раз показывает вступление.

И по чудному театру «Скала»,— с его единственным, божественным резонансом,— расплывается мягкая, бархатная могучая нота красавца-баса.

— Ave Signor!

— А-а-а! — проносится изумленное по театру.

Мефистофель кончил пролог. Тосканини идет дальше. Но громовые аккорды оркестра потонули в реве:

— Скиаляпино!

Шаляпина, оглушенного этим ураганом, не соображающего еще, что же это делается, что за рев, что за крики, выталкивают на сцену.

— Идите! Идите! Кланяйтесь!

Режиссер в недоумении разводит руками:

— Прервали симфонию! Этого никогда еще не было в «Скала».

Театр ревет. Машут платками, афишами.

Кричат:

— Скиаляпино! Браво, Скиаляпино!

Где же клака?

Когда Шаляпин в прологе развернул мантию и остался с голыми плечами и руками, один из итальянцев-мефистофелей громко заметил в партере:

— Пускай русский идет в баню.

Но на него так шикнули, что он моментально смолк.

С итальянской публикой не шутят.

— Что же «король клаки»? Что же его банда джентльменов в желтых перчатках? — спросил я у одного из знакомых артистов.

Он ответил радостно:

— Что ж они? Себе враги, что ли? Публика разорвет, если после такого пения, такой игры кто-нибудь свистнет!

Это говорила публика, сама публика, и ложь, и клевета, и злоба не смели поднять своего голоса, когда говорила правда, когда говорил художественный вкус народа-музыканта.

Все посторонние соображения были откинуты в сторону.

Все побеждено, все сломано.

В театре гремела свои радостные, свои торжествующие аккорды правда.

* * *

Пытки начались.

Прошло полчаса с начала спектакля.

Арриго Бойто, как на операционном столе, лежал у себя на кровати.

Звонок.

— Из театра.

— Что?

— Колоссальный успех пролога.

Каждые полчаса посланный:

— Fischio повторяют!

— Скиаляпино овация!

— Сцена в саду — огромный успех!

— Ecco il mundo — гром аплодисментов!

Перед последним актом влетел один из директоров театра:

— Фрак для маэстро! Белый галстук! Маэстро, вставайте! Публика вас требует! Ваш «Мефистофель» имеет безумный успех!

Он кинулся целовать бледного, взволнованного, поднявшегося и севшего на постели Бойто.

— Все забыто, маэстро! Все искуплено! Вы признаны! Публика созналась в ошибке. Все забыто! Забыто, не так ли? Идите к вашей публике. Она ваша. Она вас ждет!

— А Мефистофель? — спрашивает Бойто.— Это не такой, каких видели до сих пор? Увидали, наконец, такого Мефистофеля, какой мне был нужен? Это гетевский Мефистофель?

— Это гетевский. Такого Мефистофеля увидели в первый раз. Это кричат все.

— В таком случае я завтра пойду посмотреть в закрытую ложу.

И Бойто повернулся к стене:

— А теперь, дружище, оставьте меня в покое. Я буду спать. Я отомщен.

МЕФИСТОФЕЛЬ

Последнее представление «Фауста», в бенефис Донского, представляло для тех, кто любит глубоко и серьезно талант Ф. И. Шаляпина, особый интерес.

С этим Мефистофелем Шаляпин едет великим постом в Милан.

Хотелось еще раз проверить:

— Что везет артист?

Представлялся театр «Скала». Первое представление. Итальянская публика.

— Явится ли «Фауст» достойным продолжением триумфа «Мефистофеля»?

«Родина художников» сразу усыновила русского артиста.

«Шаляпино» в Италии — имя не менее популярное, чем в России «Шаляпин».

Когда в Неаполе давали торжественный спектакль в честь английского короля и хотели блеснуть оперой, дирекция театра Сан-Карло пригласила Шаляпина спеть пролог из «Мефистофеля».

Довольно пошлое,— но в наше время — увы! — действительное мерило успеха,— «открытки» с портретом Шаляпина в Италии так же распространены, как и у нас.

Это по части наружного успеха.

По части внутреннего —

Гастроли Шаляпина оставили глубокий след в итальянском искусстве.

На артистическом языке в Италии появилось новое определение:

— Что это за артист?

— А! Это вроде Шаляпина.

То есть.

— Человек, который не только «поет ноты», но стремится и пением, и игрой дать полный художественный образ.

Дирекция «Скала» после триумфов Шаляпина в мало популярном «Мефистофеле» Бойто захотела показать его в той же роли в популярной опере Гуно.

И Шаляпин едет гастролировать в Милан при условиях, совершенно исключительных.

«Скала» — оригинальный театр с оригинальными традициями.

По правилам театра, после каждого сезона все декорации обязательно уничтожаются. И на каждый новый сезон все декорации пишутся новые.

Даже для одной и той же оперы.

В прошлом году шел «Фауст», в этом году идет «Фауст».

Но все прошлогодние декорации должны быть уничтожены и написаны новые.

Это делается для поощрения художников-декораторов.

Но «Скала» — театр рутинный, с прочно, раз и навсегда установившимися традициями.

По традиции, новые декорации должны быть написаны точка в точку так, как старые.

Поощряются художники, но не поощряется искусство.

Искусство идет вперед, но оно проходит мимо театра, где все застыло, закаменело, остановилось.

Маргарита там продолжает жить в том же самом английском коттедже, в котором жила 20 лет тому назад, а Мефистофель появляется из того же самого трапа, из которого появлялся на первом представлении.

Постоянный ход в ад!

Во главе «Скала», однако, стоят, в отличие от некоторых других театров, люди, понимающие искусство.

Им не могло не броситься в глаза, что шаблонная, рутинная, мертвая обстановка и такой оригинальный, своеобразный, живой артист, как Шаляпин, являются диссонансом.

Шаляпин не только превосходный певец и удивительный актер,— в нем сидит еще живописец и скульптор.

Он лепит из своего тела. Обдумывая роль, он рисует себя на фоне декораций.

Он не представляет себя иначе, как в полной гармонии со всею обстановкой, с игрой других действующих лиц.

И дирекция «Скала» решила показать Шаляпина в такой обстановке, какая ему нужна.

Пусть вся обстановка гармонирует с его замыслом.

Декорации для «Фауста» будут написаны по рисункам Коровина, которые вышлет Шаляпин.

Костюмы сделаны по тем рисункам, которые пришлет Шаляпин.

Шаляпин не только поет Мефистофеля. Он ставит «Фауста».

И на этот раз сможет осуществить мечту своей артистической жизни.

Дать тот образ Мефистофеля, который стоит у него перед глазами.

Шаляпин — это Фауст.

За ним неотступно следует по пятам Мефистофель. Мефистофель не оставляет его ни на минуту. Мефистофель, это — не только его любимая роль. Это почти его мучение. Его кошмар.

В первый раз Мефистофель явился к нему когда-то давным-давно, в самом начале карьеры.

К Фаусту он явился в костюме странствующего схоластика.

К Шаляпину — в костюме артиста странствующей труппы.

Забавно смотреть теперь на тогдашний портрет Шаляпина в роли Мефистофеля.

Традиционная «козлиная бородка». Усы — штопором. Франт. Если к этому прибавить еще широкое в складках и морщинах трико, — получается совсем прелесть.

Обычный Мефистофель, грызущий сталь в сцене с крестами,— обычной странствующей оперной труппы.

Но рос и становился глубже артист, рос и глубже становился его Мефистофель.

Каждый спектакль он вносит что-нибудь новое, продуманное и прочувствованное в эту роль.

Каждый спектакль к Мефистофелю прибавляется новый штрих.

Мефистофель растет, как растет Шаляпин.

И вся артистическая карьера Шаляпина — это работа над Мефистофелем.

Сколько работает Шаляпин?

Публика любит думать, что ее любимцы не работают совсем.

— Вышел и поет.

Как бог на душу положит. И выходит хорошо.

— Потому — талант!

Шаляпин работает только столько часов, сколько он не спит.

За обедом, ужином, в дружеской беседе он охотнее всего говорит, спорит о своих ролях. И из ролей охотнее всего о своем кошмаре — Мефистофеле.

Только «Демон», главным образом за последний год, немного сжалился над ним и отвлек его от своего коллеги.

Как часто друзья просиживали с Шаляпиным ночи напролет где-нибудь в ресторане, не замечая, как летит время.

Публика заглядывала.

— Шаляпин кутит!

Назавтра рассказывали:

— Кутил ночь напролет!

И ночь действительно проходила напролет.

«Светлела даль, перед зарею новой ночная мгла сходила с неба, и день плелся своей чредой».

А забытая, давно уж переставшая шипеть, бутылка выдыхалась и теплела.

Ночь проходила в разговорах, спорах не о ролях, а о художественных образах.

Часы за часами улетали в рассказах Шаляпина, как он представляет себе Мефистофеля, как надо спеть ту, эту фразу, каким жестом где что подчеркнуть.

Я не знаю артиста, который бы работал больше, чем этот баловень природы и судьбы.

У него нет свободного времени. Потому что все свое «свободное время» он занят самой важной работой: думает о своих художественных творениях.

И среди них первый — Мефистофель.

Так, как сейчас его играет и поет Шаляпин,— для него, взыскательного артиста,— почти законченный образ.

В Милане, где ему предоставлена полная возможность показать своего «мучителя» в той обстановке, в которой Мефистофель стоит перед его глазами, Шаляпин, нако-

нец, сыграет, споет, нарисует, вылепит того Мефистофеля, каким тот рисуется ему.

Каким выносил его в своем уме, в своей творческой фантазии, в своей душе художника.

И, глядя на Шаляпина, думалось, что эти его гастроли в Милане впишут новую, блестящую, победную страницу в летописи русского искусства.

ДЕМОН

Безлунная ночь. Сумрачный предрассветный час. Сквозь легкую дымку тумана светятся снежные вершины горного хребта. Светятся тускло, уныло, как светится снег сам от себя в безлунные ночи.

На темной скале мерещится огромная фигура. Одна рука протянута по скале. Другая жестом, полным муки, закинута за голову.

Словно прикованный Прометей.

Фигура неподвижна.

С неба, с земли доносятся, перекликаются голоса, то испуганные, то радостные.

И в позе, полной отчаяния, тоски и муки, внимает им черный призрак, прикованный к скале.

Но вот по нему мелькнул луч света.

Синеватого, холодного, жуткого. Таким зловещим кажется лунный свет ночью на кладбище.

Словно луч лунного света, украденный с кладбища.

Измученное, исхудалое лицо. С прекрасными чертами. С гордым профилем. Глубоко ввалившиеся и горящие глаза. Как змеи, вьются брови. Черные, как смоль, волосы беспорядочными кудрями падают на плечи.

От рук, голых, мускулистых, железных, веет мощью и силой.

Его истрепали ураганы, там, на вершинах диких скал.

Черный флер его одежды лохмотьями висит на нем. И из-под этих обрывков одежды падшего ангела — тускло светится при лунном блеске золотой панцирь прежнего архангела.

От всей фигуры веет могуществом, и на лице написано мученье.

Раздается могучий голос.

И провозглашает проклятие миру.

— Проклятый мир!

Вы помните скучающего Демона, каким видели его десятки раз, лежащего на скале, усталого, унылого и разочарованного.

Вы входили в его положение:

— Бедный Онегин!

Так молод и так уже разочарован!

И вдруг вы слышите не скуку, а трагическую тоску. Не разочарование, а отчаяние.

Шаляпин искал этих звуков тоски и отчаяния, от которых веяло бы ужасом, еще в «Манфреде». И нашел их теперь, в «Демоне».

И от каждой позы, и от каждого жеста веет мощью, презрением и страшной мукой.

Звуки, пластика, взгляд — все слилось в одну симфонию отчаяния, ненависти и страданий.

Эта протянутая могучая рука с искривленными пальцами. Словно Демон хочет поднять весь мир и посмотреть на него еще раз с мучительным вопросом:

— Чем он хорош?

И видит его, и бескровные губы сложились в гримасу презрения и злобы.

Вы в первый раз слышали и видели в «Демоне» пролог.

Оказалось,— через 20 лет,— что это сцена, полная силы, красоты, выразительности.

И что в звуках пролога рисуется действительно титанический образ.

В споре с ангелом, в могучих и страстных захватывающих звуках, вы в первый раз услыхали сатанинскую, настоящую сатанинскую, гордость. Купленную ценою страданий. Это слышится в голосе.

Мираж растаял. Залитая розоватыми лучами заходящего солнца картина Грузии.

Вдали широкое каменистое ложе, по которому, словно небрежно брошенная лента, бесчисленными изгибами вьется Арагва.

Угловая башня. Полустертые ступени лестницы, вырубленной в скале.

И когда Тамара смеется своими звонкими, резвыми трелями, словно сливаясь со скалой, освещенный своим мертвенным светом, огромными горящими глазами на бледном, измученном лице смотрит на нее Демон.

И в этом безмолвном взгляде была такая музыка, чи-

талась такая поэма, что театр замер. Лермонтовский, настоящий лермонтовский Демон впервые вставал на сцене во всей красоте и во всем ужасе своих мучений.

Но приближался страшный момент.

Артист пел больной. Он кашлял.

Приближалось:

— И будешь ты царицей мира.

Всякий знает, что в «Демоне» «главное»: «И будешь ты царицей мира».

— Это надо взять-с!

Если б Шаляпин сорвался с басовой партии, всякий сказал бы:

— Нездоров. Случайность.

Потому что всякий из газет знает, что у Шаляпина бас.

Но если бы что-нибудь случилось в «Демоне» —

Об этом страшно подумать.

Публика не любит смельчаков. Обыватель сам робок. Смелость ему кажется дерзостью и оскорблением. И когда смельчак режется,— для публики нет большего удовольствия.

Публика из газет знает, что у Шаляпина не баритон.

Ее не проведешь!

И это был поистине страшный момент.

Момент экзамена.

Публика сидела и думала:

— Это, брат, все отлично! Мимика, пластика. Ты вот мне «мира» как подашь?

Артист был болен.

И, вероятно, не у одного из тех, кто любит этого великого артиста, захолонуло сердце, когда он запел:

Возьму я, вольный сын эфира,
Тебя в надзвездные края...

И вдруг пронеслось и раскатилось по театру чарующе, и властно, и увлекательно. Могуче, красиво, свободно:

И будешь ты царицей мира...

Можно было перевести дух.

Вопрос о «Демоне» был решен.

Публика, как голодная стая, которой бросили кусок, которого она ждала, была удовлетворена.

Те, кто понимает в музыке, говорили в антрактах уже спокойно:

— Он споет Демона!

И это говорили даже те, кто ничего не понимает. А это в театре очень важно.

Антракт был полон разговоров о Демоне, которого увидели в первый раз.

— Это врубелевский Демон!

— Врубелевский!

— Врубелевский!

И при этих словах, право, сжималось сердце.

Позвольте вас спросить, что ж говорили вы, когда этот безумный и безумно талантливый художник создавал свои творения?

За что же вы костили его «декадентом» и отрицали за ним даже право называться «художником»?

Я не знаю, отравляли эти отзывы тяжкие минуты борьбы с недугом несчастного художника, резали ему крылья в минуты вдохновения или он держался единственного мудрого для художника правила:

— Никогда не читать того, что пишут про искусство в газетах. Никогда не слушать того, что об искусстве говорит публика.

Но за что же критики, бездарные, невежественные ничтожества, ругали художника?

За что те, для кого пишутся все эти картины, оперы, поэмы,— публика, как стадо баранов за глупым козлом, шла за этими «критикашками»?

За что?

За то, что он смел писать так, как он думает? А не так, как «принято», как «полагается», как каждый лавочник привык, чтоб ему писали?

Вы говорите о тяжести цензуры. Вы самые безжалостные цензоры в области творчества, с вашим:

— Пиши, как принято!

И если Шаляпин дал «врубелевского Демона»,— это был вечер реабилитации большого художника.

Итак, Врубель заменил на сцене Зичи. Красивого, академичного Зичи.

До сих пор Демона играли по Зичи. И у прозаичных баритонов, «лепивших из себя Демона Зичи», выходил больше послушник с умащенными и к празднику расчесанными волосами.

Шаляпин имел смелость показать врубелевского Демона.

И создание несчастного и талантливого художника сразу обаянием охватило толпу.

Ущелье, заваленное снеговым обвалом. Дикое и мрачное.

Решительно Коровин недаром проехался по Дарьяльскому ущелью.

От его Кавказа веет действительно Кавказом, мрачным, суровым. И среди этих скал действительно мерещится призрак лермонтовского Демона.

Нам кажется только, что Демона, когда он показывается в скале, не надо так ярко освещать.

Пусть он будет больше призраком. Меньше выделяется от серой скалы.

Не то его видно, не то это галлюцинация.

Это будет больше в тоне всей картины, таинственной, суровой, жуткой.

В этой картине,— с князем Синодалом,— Демону петь мало.

Но и здесь прозвучало нечто оригинальное, глубокое и интересное.

— Ночная тьма бедой чревата, и враг твой тут как тут.

Сколько Демонов мы с вами переслушали, и никому из них не приходило в голову принять этого «врага» на свой счет.

Демон появлялся, как «человек», докладывающий, что сейчас выйдут татары на четвереньках.

«Враг» — это были татары.

И вдруг с глубокой, страстной ненавистью прозвучало:

— Враг!

Да ведь это Демон про себя говорит.

Он торжествует над Синодалом:

— Я, твой враг, здесь!

Какая рутинная область искусства — сцена!

Первому, кто пел эту оперу, не пришло в голову. Да так двадцать лет никому в голову и не приходило!

Всякий пел, как другие.

Свойство Шаляпина — создавать художественные произведения из того, что у других проходит бесследно и незаметно.

И из безмолвного появления Демона над умирающим Синодалом Шаляпин создал картину. И какую картину!

Прямой, неотразимый, как судьба, бесстрашный,— словно огромный меч воткнут в землю,— стоит Демон над Синодалом.

Какой контраст между мучащимся смертным и спокойным, холодным, торжествующим бессмертным духом.

Каким властным, спокойным, величественным движением, настоящим движением ангела смерти, он поднимает руку, чтоб этим прекратить и жизнь, и борьбу за нее.

От этого медленно всколыхнувшегося над Синодалом черного одеяния Демона веет действительно веянием смерти.

Наконец-то мы увидали на сцене настоящий замок Гудала. Не те балетные декорации с цветами, величиной в юбку балерины, какими любовались много-много лет.

А настоящий кавказский замок владетельного князя.

Сторожевую башню, из-за которой светил бледный серп молодой луны. Суровые стены замка, из окон которого с любопытством глядели женщины. Огни, которыми трепетно освещен сумрак двора, где под открытым небом происходит пир.

Мрачностью и чем-то жутким веяло от темного двора. Что-то зловещее, казалось, носится уже в воздухе. И было в тоне всей картины, когда над коленопреклоненной толпой, в ужасе шепчущей молитвы, медленно-медленно выросла гигантская черная фигура.

«Не плачь, дитя, не плачь напрасно» — единственное, что слегка транспонировано Шаляпиным в Демоне.

Но красота арии от этого ничего не потеряла.

Красиво, скорбно звучала песнь Демона.

И,— мне кажется,— лучшее место этой арии — «он слышит райские напевы» — прозвучало увлекательно, картинно, как никогда ни у одного из певцов.

Какая чудная мимика и пластика в «Не плачь, дитя», «На воздушном океане» и «Лишь только ночь своим покровом».

Уста, почти готовые улыбнуться. Вдохновенные глаза. Увлекательный жест художника, развертывающего чудную картину. Взглядом и лицом, движениями, звуками Демон рисовал картину за картиной.

Я спросил в антракте у одного из художников,— настоящих художников,— пения, считающегося лучшим Демоном:

— Откровенно, что вам нравится больше всего в исполнении Шаляпина?

Он ответил с восторгом:

— «На воздушном океане». Это превосходно.

А «На воздушном океане» — это образ Демона.

Он носится в оркестре, как воспоминание. И когда, в

келье, Тамара тоскует, и перед ней рисуется в неясных мечтах образ Демона, оркестр поет ей:

— «На воздушном океане»...

В образе этой мелодии ей представляется Демон.

И спеть «На воздушном океане» — значит дать образ Демона.

А это было спето удивительно.

Звуки лились друг за другом, из звука родился новый звук, и казалось, что это один и тот же звук дрожит, тает, умирает и снова родится в очарованном воздухе.

Звуки — как «облаков неуловимых волокнистые стада».

Это был почти не человеческий голос. Вы не слышали перерывов для дыхания, ударений.

Это был «райский напев».

Какая-то чудная гармония «нездешней стороны».

«Самое красивое место русской поэзии» было передано действительно поэтически и полно неописуемой красоты.

Могущественно, красиво прогремевшим из-за кулис повторением: «К тебе я стану прилетать», заканчивается лирическая часть «Демона».

Подошло самое грозное. Трагедия.

Двор монастыря. Зима.

Яркая, лунная ночь. Оголенные стужей пирамидальные тополи кидают от себя длинные тени.

Декорация превосходна.

От нее веет горной ночью и ранней зимой.

Но нам кажется, что луна могла бы на момент зайти за тучу, когда между деревьев скользит тень Демона.

Эта скользящая между деревьев тень красиво задумана артистом.

Но свет луны слишком ярок. И в полусумраке появление было бы таинственнее и производило бы впечатление сильнее.

Не будем говорить, как было спето «Обитель спит». За все время существования рубинштейновской оперы впервые вся эта сцена была повторена.

«Я обновление найду»,— прозвучало восторженным гимном.

И сатанинской гордостью и торжеством раздалось:

«И я войду!»

Всегда, когда я слушал Демона, мне казалась странной эта сцена.

Ну, отлично. «Я обновление найду». Ну, раскаялся Демон, и конечно, кажется?

Что же еще-то останавливает его «добрый гений»?

И только когда это прозвучало сатанинской гордостью: «я войду», сатанинской дерзостью переступить священный порог,— стало понятно появление на страже «доброго гения».

— Кто ты?

Издали, как сквозь сон, донесся напев:

Спит христианский мир...

— Кто ты?

Простучала и замерла в ночной тиши колотушка сторожа.

— Кто ты?

Торжественно, тихо, жутко прозвучали трубы.

И тихо, нежно, робко, почти умоляюще запел чарующий голос:

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине...

Запел, закрадываясь в душу:

Я тот, кого никто не любит,
И все живущее клянет...

Тамара отступила шаг назад от страшного пришельца. Она схватилась за голову. Она поняла, кто перед ней.

И Демон с ударением, твердо повторяет ей:

Да, тот, кого никто не любит,
И все живущее клянет!..

Пусть знает его таким, каков он есть.

И становится понятным, и естественным, и красивым повторение фразы, повторение которой, признаться, в исполнении наших Демонов было совершенно не мотивировано и непонятно.

Вспомните, с какой слезой всегда пелось это:

— Никто не любит!

Словно Демон тоже артист, которого особенно, вдвойне, огорчает нерасположение к нему публики.

И видишь,— я у ног твоих.

Эти заломленные руки, поза Демона, готового пасть во прах,— именно во прах, таково это движение,— полны у Шаляпина необыкновенной красоты.

Но самая сильная сцена во всем «Демоне» у Шаляпина... клятва.

Та самая клятва, которая пропадала всегда и у всех.

Спросите первого попавшегося интеллигентного человека:

— Знаете вы «Демона»?

— Ну, еще бы! «Клянусь я первым днем творенья»...

Это самое популярное место поэмы.

И когда на первом еще представлении «Демона» публика шла в театр, она ждала больше всего клятвы.

Потом уже стали в фаворе «Не плачь, дитя», «На воздушном океане», отчасти «Я тот, которому внимала». Но тогда ждали клятвы.

Но клятва тогда прошла незамеченной. Клятва оказалась самым слабым местом оперы.

И все были разочарованы:

— Рубинштейн не справился с «Демоном». Помилуйте, даже из «Клянусь я первым днем творенья» ничего не сделать!

Что, если бы эта клятва при первой постановке была спета так?!

Быть может, и все отношение к Рубинштейну, как к оперному композитору, было бы иным...

Какая это чудная, могучая, захватывающая вещь!

Каким трагизмом отчаяния веет от нее!

— Отчаяния.

В этом вся тайна клятвы.

Не величественно, как пробуют это сделать господа Демоны.

Величия в этой музыке нет.

Не страстным любовником, извивающимся у ног возлюбленной. Это не Демон.

И в музыке, и в Демоне отчаяния много в эту минуту. Ведь нельзя же так легко расставаться с тем, что носил века в своей душе, с тем, из-за чего когда-то пожертвовал раем.

Это, оказывается, чудная по музыке сцена.

— А наказанье, муки ада?

— Так что ж, ты будешь там со мной!

Это «со мной» надо произнести. С такой силой, с такой страстью, с такой радостью, с таким могуществом.

Рубинштейн после этого дает долгую-долгую паузу.

Только в оркестре робко дрожат звуки.

Это должно заставить затрепетать, и ужаснуть, и посулить какое-то неведомое блаженство.

Проходит долго, пока Тамара робко, дрожащей мелодией начинает:

— Кто б ни был ты, мой друг случайный...

От Демона требуют клятвы.

— Клянусь... клянусь...— звучит торжественно два раза.

И с отчаянием он произносит свое клятвенное отречение от всего, чем жил и дышал.

Чем клясться?

«Небом, адом»... С отчаянием он призывает все в свидетели своего отречения.

— Волною шелковых кудрей...

Как Шаляпин рисует своим пением красоту Тамары!

И вот, наконец, самое страшное отречение:

Отрекся я от старой мести,
Отрекся я от гордых дум...

В этом, полном трагического ужаса «отрекся» столько страдания. Какой вопль делает из этого Шаляпин! Вы слышите, как от души отдирают ее часть.

И публика слушала в изумлении:

— Неужели Рубинштейн действительно написал такую дивную вещь? Как же мы ее не слышали?

Увы! Первое представление «Демона» состоялось только в бенефис Шаляпина.

Вы в первый раз видели лермонтовского Демона, в первый раз слышали рубинштейновского «Демона», перед нами воплотился он во врубелевском внешнем образе.

Артиста, который сумел воплотить в себе то, что носилось в мечтах у гениального поэта, великого композитора, талантливого художника,— можно назвать такого артиста гениальным?

ДОБРЫНЯ

Кричать «Шаляпин! Шаляпин!» — очень легко. Гораздо интереснее подумать:

— Как играет Шаляпин и что ему дали играть?

Когда я смотрю на Шаляпина в «Добрыне», мне вспоминается огромная картина Врубеля, которую мы все видели на Нижегородской выставке.

Микула Селянинович и заезжий витязь.

Копна рыжеватых волос и всклоченная борода. Глаза добрые-добрые, ясные, кроткие и наивные. Как у Шаляпина в «Добрыне».

Смотрит деревенский мужик на заезжего лихого витязя — и в добрых, наивных глазах недоумение.

— Зачем же воевать, когда можно землю пахать?

Но Микула пошел в богатыри.

Очутившись на придворном пиру, у Владимира Красного Солнышка, Микула, вероятно, был бы и мешковат, и неловок.

Вот как Шаляпин в последнем действии.

Попав в такую «переделку», как в опере Гречанинова, Микула, вероятно, смотрел бы на балерин с наивным, наивным удивлением.

Как Шаляпин в третьем акте.

Он стоял бы, вероятно, так же неуклюже, когда его одевали бы в доспехи бранные, как стоит в это время в первом акте Шаляпин. Ему это чуждо. Не его убор. И впечатление бы он производил именно такое. Убор грозный, а на лице одно добродушие.

И только когда бы дело дошло до сечи, до битвы со Змеем Горынычем, когда проснулся бы в Микуле богатырский дух,— он стал бы и ловок, и красив, и статен, и грозен. Как Шаляпин во втором действии.

А все время от него веяло бы деревней, могучей, но наивной, мешковатой. Веяло бы добродушной деревенщиной. Как веет все время от Шаляпина в опере г-на Гречанинова.

Это прекрасный образ.

Но это Микула,— не Добрыня.

Когда читаешь былины, из них встает другой Добрыня.

Илья — сила земли. И, может быть, очень хорошо, что Илью в Большом театре загримировали Толстым — великою силой земли,— именно, земли,— русской.

Добрыня — служилый человек. Белая кость. Воевода скорей, чем простой витязь. Человек служилого долга.

— Коли стали прятаться старший за младшего, младший за старшего...

Он, Добрыня, долгом счел исполнить обязанность: идти на подвиг богатырский.

— Хоть и не моя была очередь.

Слышите вы в этой фразе довод и теперешних служи-

лых людей, не имеющих в себе, правда, ничего богатырского, но эту только «богатырскую повадку» сохранивших?

Добрыня ратный человек, и ему в латы одеваться дело привычное. Он делает это единым духом. В латах ему ловко. Он словно в них родился.

Такой богатырь знает себе цену.

Он на пиру у князя не был бы ни мешковат, ни неловок.

И в приключении он держался бы иначе. Не стал бы, как деревенщина, больше все изумляться.

— Изнемогаю! — сказал бы не с таким наивным удивлением, в котором слышится:

— Батюшки! Да что ж это со мной делается?!

Добрыня и «изнемог бы» как-нибудь иначе. Вот Микула, тот изнемогает от изумления пред невиданными чудесами.

Добрыня в богатырских делах видал виды. Очутившись в таких странных, но приятных обстоятельствах, он больше обратил бы внимания на их приятность, чем на странность, и не стал бы терять времени на удивление.

В Добрыне много простоты. Но простота эта аристократическая.

Воеводская, а не мужицкая.

Но...

Вот если бы г-н Шаляпин написал эту оперу, мы могли бы ему сказать то же, что, думаем, должна бы сказать дирекция г-ну Гречанинову:

— Это очень хорошо. Но это не «Добрыня Никитич». Или возьмите оперу назад, или назовите «Микулой Селяниновичем».

А Шаляпин является только исполнителем того, что задумано и написано другим.

Он и должен исполнять то, что написано.

Перед ним либретто. Бесцветное. Таким языком мог бы говорить любой из богатырей. Так, какой-то раз навсегда «утвержденный язык для богатырских разговоров»:

«Уж ты гой еси» да «уж ты гой еси». «Рученьки» да «ноженьки».

Богатырская форма. Вернее, богатырский мундир.

Надо искать характеристики только в музыке.

А музыка, которую поет Добрыня,— «самая деревенская». Деревенскою песнью веет от всего, что он поет.

Ведь нельзя же играть Добрыню большим воеводою и

петь в то же время по-мужицки деревенские песни. Получилась бы «наглядная несообразность», бессмыслица.

Добрыня так по-деревенски своей души не изливал бы. У Добрыни душа не деревенская.

Микула — да.

И Ф. И. Шаляпин, на основании того материала, который ему дан и от которого отступить ему невозможно, создал дивный, превосходный, художественный образ добродушного могучего Микулы Селяниновича.

И не его вина, что Добрыня в опере «Добрыня» только в заглавии.

ПЕТРОНИЙ ОПЕРНОГО ПАРТЕРА

Интеллигентская голова на солидном, плотном, грузном туловище.

— Это наш знаменитый критик. Музыкант Кругликов.

Поджарый, весь высушенный, весь нервы,— немец-музыкант, которому я указал С. Н. Кругликова, в отчаянии схватился за голову.

— А-а! Изумительный город! Пирогов... как они у вас называются? Растегаев... блинов, икры, поросят, стерлядей! У вас все сдобное, пышное, рассыпчатое! Любовники Малого театра, как отпоенные молоком телята! Это? Музыкальный? Критик? Это директор банка! Директор-распорядитель акционерной компании! Музыкальный? Он питается звуками? Критик? Да где же у него может быть желчь?

У него были добрые, усталые, снисходительные глаза.

В глубине которых, в самой глубине, прыгала едва заметная искорка насмешливости.

Добрая, усталая, благожелательная улыбка.

Чуть-чуть, едва приметно, ироническая.

Мягкая, несколько ленивая, медленная походка.

Он шел в жизни медленно, не торопясь, лакомясь жизнью.

Он любил жизнь, ее радости и умел ими лакомиться.

Настоящий гастроном жизни.

Заходила речь об еде,— он говорил со вкусом умевшего тонко поесть человека.

Когда в фойе театра появлялась красивая женщина,—

он останавливался, разглядывал ее внимательно и любуясь.

Делал несколько замечаний видавшего по этой части виды человека.

Угадывал детали, которые может угадать только знаток.

Он говорил о красотах Альп, Рейна, старинных французских замков так, что подмывало взять билет и поехать.

С упоением слушал Гайдна, Баха.

Находил, что Оффенбах:

— Гений

в оперетке:

— Которая тоже прелестное искусство.

Серьезный критик, *смел* писать, что, конечно, искусство г-жи Вяльцевой не велико, но Вяльцева:

— Явление в этом искусстве. Очаровательное. Событие!

В нем была масса вкуса.

И ни капли педанта.

Ни на грош фарисейства.

За всю жизнь он не израсходовал ни одного фигового листика.

Он был скептик, и в нем было немножко философского безразличия человека, много видевшего на своем веку.

И когда все кругом возмущалось какой-нибудь г-жой Пищалкиной, готовясь учинить над ней суд Линча:

— Ошикать, освистать ее после арии в последующем акте!

Кругликов только улыбался снисходительно.

О, боже! Сколько было плохих певиц, а ведь свет от этого не провалился.

И когда критики кругом уже точили назавтра свои перья, Кругликов пожимал своими мягкими плечами:

— У нее такая любовь петь! Это приятно отметить. Без голоса, но поет!

Это был Петроний нашего оперного партера.

Magister elegantiarum:

— Музыкальных и критических.

Как критика, его ценили не только артисты, но и публика.

За двумя-тремя исключениями, наши музыкальные критики разделяются на две категории.

Одни знают.

Но так наполняют свои рецензии бемолями и диезами, словно писал фортепьянный настройщик!

Другие пишут интересно, иногда даже увлекательно. Но, услыхав Шаляпина в «Демоне», уверены, что у него:

— Высокий баритон.

А если Собинову в дружеской компании придет фантазия спеть «На земле весь род людской», способны написать, что:

— У нашего превосходного тенора великолепный бас.

Я знал одного такого критика.

Nomina sunt odiosa.

Он должен был писать о концерте, на котором должен был исполняться листовский «Фауст».

Он добросовестно был на концерте,— с критиками не всегда случается.

Слышал все.

И как Фауст с Мефистофелем мчатся через лес. И как шумят старые деревья. И как приближается духовная процессия.

Видел, духовными очами сам видел, как два путника зашли в кабачок, где справлялась крестьянская свадьба.

Умилился над простодушным сельским вальсом. Пришел в восторг от бешеного, инфернального танца, который заиграл Мефистофель, вырвав скрипку у одного из музыкантов. Ужасался прерывающим мелодию раскатам демонического хохота.

И назавтра все это описал в газете.

Описал талантливо, блестяще, увлекательно.

И только тогда, из других газет, выяснилось, что вместо всем известного «Фауста» в концерте вчера играли почему-то увертюру к «Струензэ»!

Кругликов соединял в себе и знания, и литературный талант.

Редкое и чудное сочетание!

Особенно, когда оно приправлено тонким вкусом.

И любовью к такой радости жизни, как искусство.

Прочитав его рецензию, хотелось пойти и послушать это самому.

Театр у нас наполовину загублен нашей критикой.

Не ее строгостью. Не ее бранью. Нет.

Насчет брани есть отличный,— конечно, грубый,— афоризм Н. И. Пастухова.

Он был в ссоре с г-ном Коршем и желал ему всякого зла.

Рецензент его газеты бранил театр Корша.

Находил пьесу плохой, исполнение еще хуже.

Николай Иванович остался недоволен рецензией.

— Ни к чему! Вы пишете: «плохо». А человек спросит у знакомого: «Хорошо?» — «Хорошо!» И пойдет. Нет, ты напиши, что в театре с потолка кирпичи валятся. Вот тогда кто в такой театр пойдет!

Критика губит театр не бранью.

Публика все-таки больше верит знакомым, чем незнакомым.

Соседу за столом больше, чем критику.

Театр губят эти «осторожные из добросовестности» похвалы.

«Умеренные».

«Средние».

— Артистка такая-то добросовестно спела свою партию. Остальные были достаточно тверды.

Я пойду смотреть превосходное исполнение.

Я готов идти смотреть из рук вон плохое, скандал, черт знает что, а не представление.

Это тоже любопытно.

Но какое мне дело до чьей-то добросовестности, да еще в пении?!

Ну, пусть будет добросовестна! Очень хорошо с ее стороны! Получит награду на том свете!

Но я-то, я-то зачем буду тащиться из дома, платить деньги, чтобы убедиться, что кто-то поет:

— Добросовестно!

Ведь это все равно, что сказать мне:

— По Кузнецкому мосту идет сейчас прилично одетая дама.

Вы думаете, что я побегу?

— Ах, как это интересно!

Кругликов писал всегда сочно, со вкусом, со смаком.

Снова переживал спектакль.

На ваших глазах лакомился, и у вас возбуждал аппетит.

В этом его большая заслуга перед театром.

Был ли он беспристрастен?

К чести его скажу:

— Нет.

Это евнухи беспристрастно проходят среди красавиц гарема.

Евнухи искусства могут быть вполне:

— Беспристрастны.

В Кругликове было слишком много желания любить, способности любить, чтобы он мог относиться «беспристрастно» к прелестям искусства.

Он любил, а следовательно, и ненавидел, чувствовал отвращение и увлекался, симпатизировал, презирал, испытывал беспричинную антипатию.

Чувствовал всю гамму ощущений.

Был пристрастен.

К тому, что ему нравилось. К тому, что ему не нравилось.

Мог почти замолчать новую оперу Рахманинова и, в то время, когда в Большом театре совершалось «событие», мог написать огромную статью о тысяча восьмисотом представлении «Травиаты» в опере Зимина!

В нем не было многих достоинств критика.

Были большие недостатки.

Но их искренность, смелость, с которой он их не скрывал, блестящая форма, в которой они выливались, делали их очаровательными.

Не в одних женщинах пороки подчас бывают очаровательнее добродетелей!

О, боже! Одни добродетели!

Одна добросовестность! Одно беспристрастие! Одна осторожность!

Можно и Венеру Милосскую описать так:

— У нее правильное лицо. Грудь развита нормально. Дефектов в сложении не замечается. И, к сожалению, недостает рук.

Так тысячи критиков, добросовестных критиков, изо дня в день описывают спектакли, искусство, артистов.

Но кого интересует эта:

— Безрукая статуя?

Эта женщина:

— С нормально развитою грудью, лицом чистым, носом умеренным, подбородком обыкновенным?

Нет.

Восторгался ли Кругликов Венерой Милосской или бранил ее,— но он судил ее как Дон Жуан, а не Лепорелло.

И в этом был секрет его обаяния на публику.

Он писал с улыбкой.

Не был ни забиякой, ни бретером.

Но если вызывали, был не прочь:

— Скрестить перья.

И фехтовал пером хорошо.

Моя первая встреча с ним была полемическая.

Мы не убили друг друга.

Но кольнули.

И я через много лет с удовольствием вспоминаю об этой «встрече», как о встрече с противником, с которым скрестить оружие — и честь, и большое удовольствие.

Это было давно!

Когда в Москве гремели «Новости дня».

Тогда и я был юн, и Кругликов не служил еще «ради места» в директорах какого-то синодального хора, и Липскеров не держал еще скаковой конюшни.

Тогда, когда в Москве было лучше, и солнце светило ярче, и женщины на свете были красивее.

— И фунты были больше! — как вспоминают о своей молодости бабушки.

Лентовский держал зимой оперу.

Которой, кроме рецензентов, никто не посещал.

В «Сельской чести» выступила какая-то дебютантка.

Фамилии ее теперь не помню, но глаза помню.

Это была именно такая головка, какую Нерон приказал отрубить и подать себе «отдельно», на блюде.

— Все остальное ее только портит.

Совершенство.

И глаза. Какие глаза!

Мне показалось, что она поет, как Патти. Играет, как Дузэ.

И я добросовестно написал все, что действительно чувствовал, в газете.

— Патти, Дузэ и Венера.

На следующий день должна была идти с нею «Кармен».

Когда, без пяти восемь, я явился в театр, Лентовский встретил меня в ужасе:

— Что вы наделали?!

— Именно?

— Да знаете ли вы, что сегодня к двум часам не было ни одного билета?! У театра появились барышники! Барышники, про которых я позабыл даже, как они выглядят! Театр будет переполнен! Предлагают по десяти рублей за приставное место!

И все это с отчаянием!

— Но вам-то чего же так огорчаться?!

— Да поймите вы, что она, оказывается, не знает даже партии! Все, что она знает в своей жизни, это — только Сантуцца в «Сельской чести». Она — не певица!

— Ах, черт возьми!

Действительно, неприятно.

— Пусть заболеет. Отменить спектакль.

— Хорошо говорить! В два все билеты были проданы. А в пять минут третьего все деньги взяты кредиторами!

В этот вечер фонды театральной критики не высоко стояли у публики.

Как провалилась моя богиня!

В жизни не видывал, чтоб кто-нибудь, когда-нибудь, в чем-нибудь так провалился!

Нет, это что! Но как ругалась публика!

А на следующий день я прочел в той же самой газете, где я сотрудничал, строки Кругликова:

«Мой молодой собрат так увлекся глазами» и т. д., и т. д., и т. д.

Мое полное невежество в музыке!

Не мог же я,— тогда! — оставить это без ответа.

И в той же газете, на другой день, я отвечал «ударом на удар».

«Мой собрат средних лет напрасно так свысока говорит о глазах. Прекрасные глаза выше музыки. Как причина выше следствия. Если бы не было на свете прекрасных глаз, в честь кого звучала бы ваша музыка? Если бы не было на свете прекрасных глаз, не было бы ни музыки, ни песней. Ни педантов музыки» и т. д., и т. д., и т. д.

Я застал в редакции записку:

«Желаю вам как можно дольше сохранить способность восторгаться красивыми глазами. Быть может, в жизни это самое главное... С. Кругликов».

А через несколько дней мы познакомились лично.

— Да вы с ней хоть знакомы?

— Нет.

Он расхохотался.

— Зибель!

— Петроний!

Мы встретились с Семеном Николаевичем в последний раз прошлой весной [1].

Для дружеского и литературного разговора мы «дали себе свидание»,— как выразился он, сговариваясь по телефону,— за завтраком в «Эрмитаже».

Он был уже «нехорош».

— Я теперь должен всего беречься.

---

[1] 1909 года.

Мы не сели на террасе:

— Воздух!

Но сели у открытого окна:

— Знаете, все-таки воздух!

Карточку завтрака он прочел с интересом, но с грустью:

— Я теперь на строжайшей диете!

Метрдотеля продержал у стола долго.

— Осетрина. Мне, собственно говоря, запрещено. Но как приготовлено? Ах, так! Ну, тогда... Мне запрещено, но...

— Почки на черной сковородке. Да еще с костяным мозгом?! Мне именно запрещено. Но...

От вина отказался.

— Мне всякое вино запрещено, но...

Стакан пододвинул.

— Это хорошее вино.

Кофе ему было:

— Совсем нельзя.

Но...

— А уж коньяку ни-ни.

Но марка и год были соблазнительны.

— Но...

Нам обоим было грустно.

Мне — за него, ему — за себя.

Он с иронией, подернутой печалью, рассказывал о своем «казенном месте».

— Я теперь «ваше превосходительство»! Да-с.

Рассказывал, как он устраивал «для архиереев» полуспектакль, полуцерковное торжество — «Пещное действо».

И со скукой добавлял:

— Это, знаете, очень, это очень интересно.

Страшно любивший Европу и ее культуру, шутил над собой, что принужден поехать в этом году не куда-нибудь за границу, а на Кавказ.

Позавтракав среди грустных шуток, мы разошлись в разные стороны. Пожав друг другу руку. В последний раз.

Нам было не по дороге.

Ему в синодальное училище.

Мне в редакцию.

Пока еще в редакцию.

Интересная фигура милой «старой Москвы» ушла из жизни...

САША ДАВЫДОВ

Пусть на этом скромном надгробном памятнике, моем фельетоне, будет ласковое имя, каким его звали, под которым его любили.

Лентовский рассказывал, как создавался «давыдовский жанр»:

— Приехал ко мне тенор Давыдов. Хороший голос, умеет петь. Отлично поет все ноты, которые написаны в партии. У нас ставили тогда «Малабарскую вдову». Иду как-то на репетиции за кулисами, слышу, Давыдов напевает:

У на-бэ-бэ-бэ друзья,
Ждет на славу угощенье.

Что такое? Словно простое белое вино закипело, заискрилось, как шампанское! Спрашиваю:

— Что ты поешь?

— Так. Из «Вдовы». Дурачусь.

— Ну-ка полным голосом!

Спел.

Это не то, что написал композитор. Но это гораздо лучше.

— Дурачься так всегда!

И Лентовский отдал приказ:

— Предоставить Давыдову петь, как он хочет.

С тех пор Давыдов начал петь «как бог на душу положит».

И оперетка:

— Закипела и заискрилась, как шампанское.

Нечто подобное было с Мазини.

Верди захотел послушать знаменитого тенора.

Тот явился к великому композитору.

И начал петь ему из его опер.

Верди слушал, слушал:

— Бог тебя знает, что ты поешь! Я ничего подобного не писал. Но это лучше того, что я писал. Так и пой.

Мне недаром вспомнилось имя Мазини.

Давыдов был «придворным певцом короля теноров».

Я жил в Москве, в гостинице «Лувр», рядом с Мазини.

И однажды вдруг услыхал в номере Мазини пение Давыдова.

Я слышал, как Мазини аплодировал Давыдову.

Аплодировал один на один.

Просил его спеть еще и еще.

И заплатил ему за цыганские романсы серенадой из «Искателей жемчуга».

Таково было свидание «королей».

Один был «королем оперных теноров».

Другой — «королем опереточных».

Разница между ними была такая же, как между германским императором и князем монакским.

Но оба были королями «милостью божией».

Королями от рождения.

Природа дала и тому, и другому:

прекрасный голос,

такую постановку голоса, какой не мог бы дать самый лучший профессор,

бездну вкуса.

И помазал их:

— Талантом пения.

В тембре Давыдова было нечто «мазиньевское».

Благодаря природной постановке голоса, они пели так долго.

И даже в старости они сохранили ту «приятную сипотцу», которую слушать все же было сладко.

Чтоб совсем походить на Мазини, Давыдов после «королевского свидания» отпустил себе бороду, остриг ее а ля Мазини.

Стал с тех пор надвигать себе шапку на ухо:

— Как делал Мазини.

И так снялся.

О, ребенок!

Давыдов был опереточным артистом «первого призыва».

Когда со сцены раздавался умный смех Родона, когда в оперетке царила очаровательная, изящнейшая С. А. Бельская и захватывала, покоряла голосом, силою, страстью В. В. Зорина.

И оперетка была шампанским.

Настоящим, французским шампанским. Хорошей марки.

Дававшим легкое, приятное опьянение.

А не той кашинской бурдою:

— Шампанское свадебное «Пли». Пробка с пружиной. При откупоривании просят остерегаться взрыва.

Которую, горбуновским же языком продолжая:

— Не всякий гость выдержать может.

От которой только тошнота и пьяный угар.

Оперетка была остроумной без пошлости, пикантной без порнографии, изящной и веселой.

Подмывающе веселой.

Это было хорошее время, господа.

Мы были молоды. Россия была молода.

Все у нас было новое.

Суд был:

— Новым судом.

Воинская повинность:

— Новой воинской повинностью.

Земства, городские думы — «новыми учреждениями».

Мы перешли жить в новый дом. Мечтали об «увенчании здания». Совершили «освобождение» у себя и освобождали других.

Бодрому времени — веселые песни.

Остроумная, дерзкая оперетка во Франции хохотала над «священным» классицизмом, в столице белокурой прекрасной Евгении выводила на сцену белокурую Прекрасную Елену, и в «Разбойниках», на глазах у императора, женившегося на испанской графине, смеялась над «фантастическим» монархом, пожелавшим жениться:

— На испанке.

Мы переняли эту острую политическую сатиру просто, как веселую песню.

Как маленькую «Марсельезу».

Россия вся была в обновках. Мы были молоды душой. И хотели слышать что-нибудь веселое.

Привет вашей памяти, певшие веселые песни в наше молодое, бодрое время!

Среди веселых певцов Давыдов был самым веселым.

Давыдов был действительно чарующим Парисом.

Я вижу его, на коленях, с фигурой молодого бога, с тонким профилем, с восторженными глазами, перед сбросившей с себя «лишнюю мантию» царицей, очаровательной царицей, Бельской.

Видел мрамор я плеч белосне-э-э-эжных!..

Какая увлекательная картина!

Какая красота!

Он был забавным бедняком Пикилло.

Ты не красив, о, мой бедняжка! —

почти с отчаянием поет своим глубоким бархатным, полным страсти голосом Зорина:

Ты не богат и не умен!
Ты с виду чистая дворняжка,
Как шут гороховый, смешон,
А меж тем...

— Что меж тем?..— на пианиссимо дрожит и страхом, и надеждой голос Давыдова.

И что-то вакхическое вспыхивает вдруг:

Обожаю, люблю,
Мой разбойник, тебя!

И эта красивая, гордая женщина делает движение, чтобы упасть на колени перед своей «дворняжкой».

И я вижу этот порыв, этот жест Давыдова, которым он подхватывает ее, чтобы не дать, не допустить стать на колени.

И при воспоминании слезы немного подступают у меня к горлу, как подступали тогда.

Ведь это же поэзия. Настоящая поэзия любви.

Надо сыграть, милостивые государи!

Надо суметь дать поэзию любви.

А он умел.

Как умел дать и поэзию волокитства.

Коронной ролью короля опереточных теноров был Рауль Синяя Борода.

Я вижу его.

Весь — красивая наглость.

То, что чаровало Эльвиру в Дон-Жуане.

Красивое бледное лицо, голубоватая борода, черный колет, черное трико.

Он в трауре: отравил жену.

Носит креповую повязку... на ноге.

И на печальном лице горят веселые глаза.

Супруге незабвенной...

Какой печалью веет это.

Роскошный мавзолей...

Да, его печали нет границ!

Какой твердостью, клятвой звучат его слова:

Я построю непременно!..

И вдруг все лицо ожило:

К черту грусть об ней!

Но он спохватился, и снова маска печали на лице:

Молю ж вас, чтоб участье
Мне каждый оказал!

Никогда лицемерие не было передано с таким юмором, с такой элегантностью и с такой увлекательностью.

Давыдов страшно возмущался каким-то знаменитым французским исполнителем Синей Бороды, которого он видел в Париже:

— Вообрази! Танцует, когда поет этот вальс. Танцует! А? Шут! Нет благородства!

Он облагородил свой образ Синей Бороды. Почти до Дон-Жуана.

Увлекся им.

С ним слился.

Эпиграфом над всей его жизнью можно было бы поставить из той же «Синей Бороды»:

Чтоб жить послаще,
Как можно чаще
От жен своих вдовей!

— Однако у вас в памяти много опереточных цитат! — скажет хмурый читатель нашего хмурого времени.

Да, есть.

Я помню их, как помнят песни своего детства.

Заканчиваю цитату.

Наш век короток,—
Менять красоток
Цель жизни всей моей!

Сколько женщин,— о, добродетельных! — теперь предавшихся молитве, нянчащих милых внучат,— сколько женщин украдкой смахнули слезу, набежавшую при известии о смерти легкомысленного друга их молодости?

Mille e tre.

Балерины и цыганки, и прекрасные московские купчихи, и французские актрисы...

Список был бы слишком длинен.

— Вы поете порок?

Я пою легкомыслие.

Все прекрасно, что приносит только радость.

Одно время старая, грешная Москва со снисходительной улыбкой рассказывала о беспутном «Саше»:

— Вы знаете? Давыдов каждый день ходит на Тверской бульвар посмотреть на своих деток. Трогательная картина! Три кормилицы одновременно выносят гулять трех его дочерей. Одна законная, две незаконных!

Бог благословил Давыдова почему-то дочерьми.

У него родились только дочери.

У него была масса дочерей.

И все носили различные фамилии!

И всех он помнил и любил.

И говорил о них со слезами нежности.

И они его «признавали».

И относились к нему, как к большому ребенку.

И хорошо делали.

Этот баловень жизни был ребенком.

Как ребенок, он быстро и охотно плакал.

При воспоминании о «дочках»:

— Что-то они все теперь делают?

От того, что у него нет денег.

— Что, Саша, если бы тебе вернуть все деньги, которые ты выпил на шампанском?!

— Что на шампанском! Если бы вернуть, что я при шампанском на жареном миндале проел,— у меня был бы каменный домина! — ответил Давыдов.

И заплакал.

Как ребенок, он был со всеми на «ты».

С первого же слова.

И, как ребенок, не понимал, что «дяди» могут быть очень важные.

В Петербурге, у Кюба, он подошел к одному «приятелю», назначенному министром:

— Ты что ж это, такой-сякой,— я иду, а ты даже «Саша» не крикнешь?

Министр посмотрел на «опереточного лицедея», как принц Гарри, сделавшись королем, смотрит на Фальстафа, и перестал посещать ресторан.

— Чего это он? — искренне удивлялся Давыдов.

Когда ему нужны были деньги, он просил просто и «бесстыдно».

Как просят дети.

У малознакомых людей.

И деньги тратил на лакомства.

Как-то, после удачного концерта, все деньги проел на землянике.

Дело было в марте.

Он просидел у Дюссо,— у знаменитого в Москве Дюссо,— целый день в кабинете, пил шампанское и ел только землянику.

Наконец, распорядитель с отчаянием объявил:

— Вы, Александр Давыдович, всю землянику в Москве изволили скушать. Везде посылали. Больше нигде ни одной ягодки нет.

Давыдов уплатил по счету и сказал:

— Да и денег тоже!

Или тратил деньги на игрушки.

С трудом достав несколько сот рублей, вдруг накупил каких-то абажурчиков для свечей, закладочек для книг.

— Дочкам подарки.

— Да ты с ума сошел! На что им эти игрушки? Дочки-то твои почти замужем!

— Все-таки об отце память!

Нельзя представить себе, на какой детский вздор он тратил деньги, о которых имел самое смутное представление.

Однажды в саду «Эрмитаж» он передал знаменитому фактотуму Лентовского, Рулевскому, пачку, завернутую в газету:

— Отнеси ко мне домой!

И вдогонку крикнул:

— Да смотри, не потеряй! Ты известный растеряха! Здесь сорок тысяч!

Все рассмеялись.

Задетый за живое, Давыдов вернул Рулевского, развернул пачку и показал деньги.

Это он выиграл в карты.

Он по-детски радовался шутке.

В каком-то драматическом журнале было напечатано: Какая разница между Давыдовым и Хохловым?

Тогдашним знаменитым баритоном Большого театра. Ответ: от Хохлова требуют «не плачь», от Давыдова — «плачь».

— «Не плачь, дитя» — из «Демона» и романс «Плачь»,— которые непременно требовала публика у этих артистов.

И Давыдов недели, месяцы со счастливым лицом показывал всем истрепавшийся, затасканный номер журнала:

— А? Читал? Ловко?

Пока, к удовольствию приятелей, не забыл о своей игрушке.

В его восторгах было всегда что-то детское.

В Москву приехал знаменитый итальянский трагик Эммануэль. Великим постом, когда театр «Парадиз» был переполнен артистами по контрамаркам.

Эммануэль вообще нравился нашим артистам своею «русской простотой игры».

А в «Отелло» понравился особенно.

Как же было не вспыхнуть Давыдову?

— Братцы! Надо поднести венок! А? От русских актеров,— предложил он тут же на представлении.

— Можно. На следующем спектакле.

Но Давыдову не терпелось.

Вот! Сейчас же! Сию минуту!

Тут же сделали складчину, собрали на венок, послали в цветочный магазин:

сделать немедленно!

Но как же быть с «печатной лентой»?

Давыдов метался.

— А как же печатная лента? Что же за венок без печатной ленты? Лавровый лист выкидывается, а лента остается навсегда!

— Кто же тебе сейчас ленту напечатает?

И вдруг его осенила мысль:

— Сторож! Получил 5 рублей. Бери лихача. Поезжай в гостиницу. У меня на стене лента висит!

Эммануэлю поднесли венок... с надписью:

«Незаменимому исполнителю цыганских песен».

— Ты с ума сошел!!!

Но Давыдов был спокоен:

— Ничего! Он не поймет! А ему все-таки лестно.

— А переведут?

— И превосходно! Пускай итальянская бестия чувствует, что такое русский артист! Он, брат, итальянец, за шелковую ленту удавится! Дрянь, сквалыга! Только наши деньги берут! А русский артист — на! От себя ленту отнял!

И кто такой, собственно, был Эммануэль,— гений или «бестия», доставить итальянцу удовольствие или уколоть его хотел Давыдов,— разобрать было решительно невозможно.

Как ребенок, он быстро привязывался к людям.

Напечатав в покойной «России» какое-то объявление, он искренне счел себя с этих пор членом редакции.

Встречаясь с сотрудниками, говорил:

— Ну, что у нас в редакции?

Или вздыхал:

— Надо бы, братцы, нам собраться, обсудить наши редакционные дела.

Как ребенок, быстро ссорился.

Сидя за бутылкой шампанского, ругательски ругал Лентовского:

— Что это за человек? Только шампанское пьет!

Но назавтра мирился:

— Лентовский?! Да он скорее без куска хлеба сидеть будет, а уж актеру заплатит!

И плакал от умиления.

Иногда он рассуждал о политике.

И с глубоким вздохом говорил:

— Революция необходима! Надо собраться всем и подать прошение на высочайшее имя, чтобы всех градоначальников переменили.

Он был детски простодушен и по-детски же хитер.

Когда он приехал в Москву, у него была масса кавказских безделушек: запонки, булавки, спичечницы с «чернетью».

Из любезности эти вещи хвалили:

— Премиленькая вещь!

Саша сию же минуту снимал с себя.

— Бери.

— Что ты? Что ты?

— Нельзя. Кавказский обычай. Называется: «пеш-кеш». Бери — обидишь. Раз понравилось,— бери. Куначество.

Но затем и он начал хвалить у «кунаков» золотые портсигары, брильянтовые булавки.

И ужасно обижался, что ему никто не дарил «на пешкеш»:

— Мы не кавказцы!

— Хороши кунаки!

На него никто долго не сердился, как нельзя долго сердиться на детей.

Хорошее и дурное было перемешано в нем в детском беспорядке.

В нем все старело, кроме сердца.

Он оставался ребенком.

Но старость шла.

Я помню спектакль в «Эрмитаже» Лентовского.

Было весело, людно, шикарно.

Шли «Цыганские песни».
Антип, Стеша повторяли без конца.
Давыдов пел «Плачь» и «Ноченьку».
И вот он подошел к рампе.
Лицо стало строгим, торжественным.

Пара гнедых, запряженных с зарею...

Первое исполнение нового романса.
И со второго, с третьего стиха театр перестал дышать.

Где же теперь, в какой новой богине
Ищут они идеалов своих?

Артистка Е. Гильдебрандт покачнулась. Ее увели со сцены.
Раисова — Стеша — наклонилась к столу и заплакала.
Красивые хористки утирали слезы.
В зале раздались всхлипывания.
Разрастались рыдания.
Кого-то вынесли без чувств.
Кто-то с громким плачем выбежал из ложи.
Я взглянул налево от меня.
В ложе сидела оперная артистка Тильда, из гастролировавшей тогда в «Эрмитаже» французской оперы Гинцбурга.
По щекам у нее текли крупные слезы.
Она не понимала слов.
Но понимала слезы, которыми пел артист.
Бывший в театре гостивший в Москве французский писатель Арман Сильвестр, легкий, приятный писатель, толстый, жизнерадостный буржуа, в антракте разводил руками:
— Удивительная страна! Непонятная страна! У них плачут в оперетке.

Вы, только вы и верны ей поныне,
Пара гнедых... пара гнедых...

Давыдов закончил сам с лицом, залитым слезами.
Под какое-то общее рыдание.
Такой спектакль я видел еще только раз в жизни.
Первое представление «Татьяны Репиной».
Но только играла Ермолова!
Перед «веселящейся Москвой» рука опереточного певца начертала:
Мани, текел, фарес.

И этот маленький мирок эфемерных, веселых мотыльков, как росою, обрызганных брильянтами, испугался и заплакал.

Это было похоже на сцену из «Лукреции Борджиа».

«Vn segretto del'esser'fellce»,—

подняв бокал, беззаботно поет Дженарро.

И вдруг раздается похоронный звон.

Оргия похолодела, замерла.

Это была панихида.

Похороны таланта были,— стыдно сказать,— в ресторане.

Стыдно сказать?

Но мертвые,— да еще мертвые дети,— сраму не имут.

Ресторан Кюба, в Петербурге, стал устраивать какие-то особенно шикарные ужины.

С певцами.

И на эстраду, перед ужинавшими, за несколько десятков рублей вышел Давыдов, сам еще недавно кутивший здесь.

Ему пришла в голову детская затея.

Спеть перед этой веселой толпой «Нищую» Беранже.

Бывало, бедный не боится
Прийти за милостыней к ней.
Она ж просить у вас стыдится...
Подайте, Христа ради, ей!

И при словах «Христа ради» несчастный Давыдов махнул рукой, расплакался и ушел с эстрады.

Через день он сидел у того же самого Кюба, оживленный, и объяснял, что с ним случилось:

— Я, брат, привык петь, чтобы муху было слышно, как пролетит! В храме! А тут вилками, ножами стучат! Всякий артист сбежит.

Он мог расплакаться над романсом, но легкомысленно пройти мимо трагедии своей жизни.

Было бы соблазнительно написать контраст:

Блестящее начало и ужасный конец.

Но это была бы неправда.

Я видел «казнь артистов».

При мне в Москве был освистан старик Нодэн в опере, ему посвященной, в «Африканке».

Старик умирал от голода и должен был петь, когда ему трудно было даже говорить.

Ничего подобного Давыдову, слава богу, не довелось пережить.

Судьба хранила своего баловня.

И его биография, редкая биография:

Счастливца на земле.

Семья Давыдова была обеспечена.

Когда через его руки проходили большие деньги, один из его родственников отнял у «беспутного Саши» несколько десятков тысяч и открыл магазин, который вполне обеспечил жизнь семьи и воспитание законных детей.

Незаконным он передал вместе с кровью чудный талант — пение.

Все устроилось в жизни отлично.

У «беспутного Саши» был и свой угол, и кусок хлеба.

Теплый угол и кусок хлеба с маслом.

Хороший кабинет в отличной квартире, где он мог передохнуть от бурной жизни, с вкусным обедом с бутылкой кахетинского, которое он пил после ресторанного шампанского с неизменным умилением:

— А? Говорят, бургонское? А разве с кахетинским сравнить можно? Своего не умеем ценить!

И иногда от умиления плакал.

Все необходимое было.

А на «легкомыслие» он должен был промышлять.

И промышлял.

Жил, как птица небесная.

То вдруг занимался делами.

— Я, брат, теперь коммерцией занимаюсь. Распространяю шампанское «Кристалл».

Но, кажется, больше выпил этого шампанского, чем распространил.

То вспоминал старое и ехал в провинцию давать концерты.

То просто занимал.

То кутил с приятелями.

Жил весело, как могут жить только беззаботные люди, и это истинно мудрое дитя!

Его, отлично одетого, веселого, можно было встретить везде, где веселятся.

Только там, где веселятся.

За несколько дней до смерти его видели в скетинг-ринге.

Он был беззаботен и весел, как Дон-Жуан на последнем ужине.

А каменный Командор уже подходил.

И стучали его тяжелые шаги.

Счастье не слышит, когда они раздаются,— черт знает, где ждет иногда Командор!

Он остановился на январском морозе, на петербургском ветру, у дверей залитого огнями скетинг-ринга.

И когда Саша Давыдов выехал, шутя, остря, смеясь, в распахнутой шубе, с шапкой, надвинутой на ухо, а ля Мазини, с видом, говорящим: «Еще поживем!» —

Командор дохнул на него своим холодным дыханием.

Крупозное воспаление легких.

И вот:

Тихо туманное утро столицы,
По улице медленно дроги ползут.

Спи спокойным, детским сном, милый Саша!

Спасибо тебе за твои прелестные песни.

Да будет тебе земля легка, как легка была жизнь!

М. Н. ЕРМОЛОВА

Прекрасная артистка!

Среди пышных цветов красноречия, которыми вас засыпают сегодня московские критики, примите скромный букет,— скорее «пучок»,— воспоминаний.

— Старого москвича.

И если, беря его, вам покажется, что вы слегка, чуть-чуть укололи себе руку,— это вам только покажется!

Это не колючая проволока, на которой держатся искусственно взращенные цветы,— это свежие срезы стеблей живых цветов.

Маргарита, это букет вашего Зибеля.

Старого Зибеля!

Пою восьмидесятые годы.

* * *

— Где вы получили образование?

— Ходил в гимназию и учился в Малом театре.

Так ответили бы сотни старых москвичей.

Малый театр:

— Второй университет.

И Ермолова — его «Татьяна».

* * *

Ваш бенефис.

Именитая Москва подносит вам браслеты, броши, какие-то сооружения из серебра, цветочные горы.

В антракте рассказывают:

— Вы знаете, фиалки выписаны прямо из Ниццы!

— Да ну?

— Целый вагон! С курьерским поездом. Приехали сегодня утром.

А там, на галерее, охрипшие от криков:

— Ермолову-у-у!!!

Смотрят на это с улыбкой.

— Зачем ей все это?

Комната на Бронной.

Три часа ночи.

Накурено.

В густом тумане десять темных фигур.

И говорят... Нет!

И кричат об Ермоловой.

— Она читает только «Русские ведомости».

— И «Русскую мысль».

— Гольцева!

— Вы знаете, она ходит в старой, ста-арой шубе.

— Да что вы?

— Натурально.

— Как же иначе?

И ездит на извозчике.

Другие артисты в каретах, а она на извозчике!

И берет самого плохого. На самой плохой лошади!

Которого никто не возьмет.

И расспрашивает его дорогой про его жизнь.

И дает ему, вместо двугривенного, пять рублей.

— Пять рублей! Просто — помогает ему!

Она думает только о студентах и курсистках.

И когда захочет есть...

Да она почти никогда и не обедает!

— Время ли ей думать о пустяках?

Она просто говорит: дайте мне что-нибудь поесть.

Что-нибудь!

— Мне говорили. Пошлет прямо в лавочку за колбасой. И в театр! — кричит самый молодой и верит, что ему это «говорили».

В накуренной комнате на Бронной она кажется близкой, совсем как они.

— Почти что курсисткой.
— Колбаса.
— Извозчик.
— Гольцев.

Каждый украшает своими цветами «Татьяну второго московского университета».

* * *

В драматической литературе сияет Невежин.

Как давно это было! А?

«Сияет» Невежин!

Шпажинский, кажется, говорит какие-то:

— Новые слова.

Владимир Немирович-Данченко пишет пьесы, которые все критики должны признать:

— Литературными,

То есть мало годными для сцены.

А князь Сумбатов пишет драмы, которые каждый московский критик обязан признать:

— Сценичными,

То есть лишенными всяких литературных достоинств.

Свирепствует Владимир Александров.

Прося не смешивать его с Виктором Александровым-Крыловым.

Свирепствует, подъемля стул, в собрании Общества драматических писателей, требуя, чтобы секретаря Общества И. М. Кондратьева немедленно лишили:

— Министерского содержания!

Свирепствует на сцене, в пяти действиях вопия:

— О, сколь ужасна судьба незаконнорожденных!

Я, кажется, начинаю смеяться над драматургами?

Старая привычка!

С тех пор.

Тогда у нас,— посмотрите, если вам охота, все московские газеты за то время,— про все новые пьесы полагалось писать...

Писать?.. Думать!

— Плохая пьеса, но...

— Но артисты Малого театра концертным исполнением спасли автора.

Малый театр — это было какое-то «общество спасания на водах»!

Прошло много лет.

Малый театр переживал свои труднейшие времена. Времена упадка...

В литературно-художественном кружке какой-то восторженный критик сказал при мне:

— В Малом театре вчера играли хорошо! Хор-рошо!

Стоявший тут же молодой артист Малого театра,— лет под пятьдесят,— посмотрел на него, словно с колокольни.

— В Малом театре иначе не играют!

Повернул спину и отошел.

И, старый питомец классических гимназий, я почувствовал в душе:

Nostra culpa.

Наша, наша вина!

* * *

Первое представление в Малом театре.

В генерал-губернаторской ложе «правитель добрый и веселый» князь Владимир Андреевич Долгоруков.

— Хозяин столицы.

В фойе, не замечая, что акт уже начался, схватив собеседника за пуговицы, обдавая его фонтаном слюны, не слушая, спорит, тряся гривою не седых, а уж пожелтевших волос, «король Лир» — Сергей Андреевич Юрьев.

Идет из курилки В. А. Гольцев.

— Как? Вы не арестованы?

— Вчера выпустили.

В амфитеатре, на самом крайнем, верхнем месте — Васильев-Флеров.

Сам.

В безукоризненном рединготе, в белоснежных гетрах, с прямым,— геометрически прямым! — пробором серебряных волос.

С большим, морским, биноклем через плечо.

В антракте, когда он стоит,— на своем верхнем месте, на своей вышке, опираясь на барьер,— он кажется капитаном парохода.

Зорко следящим за «курсом».

Московский Сарсэ!

Близорукий Ракшанин, ежесекундно отбрасывая свои длинные, прямые, как проволока, волосы, суетливо отыскивает свое место, непременно попадая на чужое.

Проплывает в бархатном жилете, мягкий во всех движениях, пожилой «барин» Николай Петрович Кичеев.

Полный безразличия, полный снисходительности много на своем веку видевшего человека:

— Хорошо играют, плохо играют,— мир ведь из-за этого не погибнет.

Всем наступая на ноги, всех беспокоя, с беспокойным, издерганным лицом, боком пробирается на свое место Петр Иванович Кичеев.

Честный и неистовый, «как Виссарион».

Он только что выпил в буфете:

— Марья мне сегодня не нравится! Марья играет отвратительно. Это не игра! Марья не актриса!

Как на прошлом первом представлении он кричал на кого-то:

— Как? Что! А? Вы Марью критиковать? На Марью молиться надо! На коленях! Марья не актриса,— Марья благословение божие! А вы критиковать?! Молитесь богу, что вы такой молодой человек, и мне не хочется вас убивать!

И в этом «Марья» слышится «Британия» и времена Мочалова.

Близость, родство, братство московской интеллигенции и актера Малого театра.

С шумом и грузно,— словно слон садится,— усаживается на свое место «Дон Сезар де Базан в старости»,— Константин Августинович Тарновский, чтоб своим авторитетным:

— Брау!

Прервать тишину замершего зала.

Вся московская критика на местах.

Занавес поднялся, и суд начался...

Суд?

Разве кто смел судить?

* * *

Ракшанин будет долго сидеть в редакции, рвать листок за листком.

— Охват был, но захвата не было.

Нет! Это слишком резко!

— Охват был. Но был ли захват? Полного не было. И это резковато!

— Был полный охват, но захват чу́вствовался не всегда.

Резковато! Все же резковато!

— Был полнейший охват, местами доходивший до захвата.

Смело!

Но пусть!

Так же напишет и сам Васильев-Флеров.

И только один Петр Кичеев явится с совсем полоумной фразой:

— Ермолова играла скверно.

Даже не госпожа.

До такой степени он ее ненавидит!

Редактор посмотрит на него стеклянными глазами.

Зачеркнет и напишет:

— Ермолова была Ермоловой.

П. И. Кичеев завтра утром сначала в бешенстве разорвет газету.

А потом сам скажет:

— Так, действительно, лучше.

* * *

А у вас были недостатки, Марья Николаевна!

Идет «Сафо» — трагедия Грилльпарцера.

В антракте человек не без вкуса говорит:

— Она превосходно умеет поднять руку. Красивый жест! Но опустить! Самое трудное в классическом костюме! Опустит и по ноге шлеп!

Это «шлеп»... «шлеп»... «шлеп»... идет аккомпанементом по всей трагедии.

В «Сафо» вспоминается унтер-офицерская жена Иванова.

Но кто посмеет это сказать в печати?

— Пластика была на высоте ее таланта.

Так решено. Подписано. Так *должно* быть. Иначе быть не может.

Вы слишком опростились для трагедии.

И ваша Мария Стюарт, и ваша Иоанна д'Арк, и ваша Сафо были опрощенные Мария Стюарт, Иоанна д'Арк, опрощенная Сафо.

Как опростилась тогда русская живопись — передвижники — как опростилась русская литература — Мамин, Глеб Успенский.

Идет «В неравной борьбе» г-на Владимира Александрова (просят не смешивать с Виктором).

Поднимается занавес.

На сцене Ермолова варит варенье. Правдин ее спрашивает...

Еще никакой грозы, бури и в помине нет.

Спокойная молодая девушка ведет ясную жизнь.

Ни в кого она еще не влюблялась. Никто у нее любимого человека не отбивал.

Правдин спрашивает:

— Из чего варите варенье?

Ермолова отвечает:

— Из вишни.

Но как!

Можно подумать, что молодая девушка варит варенье из собственной печени.

Марья Николаевна! Марья Николаевна! Великая художница!

Какой недостаток в рисунке вашей роли! В рисунке ваших ролей!

Вспомните Росси в «Гамлете».

Озрик передал ему вызов Лаэрта.

Он счастлив. И в первый раз за всю трагедию ясен.

Найден приятный исход из тяжелого, из трудного положения. Сейчас все задернется черными тучами, разразится гроза.

И перед этим он нам показывает уголок ясного неба!

Какой контраст!

Вспомните Сальвини в «Отелло».

С какой нежностью и счастьем, безмятежным счастьем смотрит он на Дездемону, отсылая ее от себя.

Какое глубокое, бездонное, лазурное небо.

Покажите же это ясное, голубое небо.

Покажите — *что* погибло.

И тем чернее покажутся тучи, тем больше отзовется гроза в душе, тем громче не на сцене, а в душе у нас закричит Отелло:

— Жаль, Яго, страшно жаль!

Тем сильнее будет драма.

Какой-то молодой человек говорит на галерее:

— Знаете, у Ермоловой огромный недостаток. Она всегда страдает еще до поднятия занавеса. В первом акте она всегда — словно уж прочитала пятый.

Не завидую я этому молодому человеку.

Даже если бы он был не на галерее, а в партере.

В партере драться, конечно, не станут.

Но с таким человеком...

...Даже неловко как-то рядом сидеть.

И соседка все время будет подбирать свое платье.

Словно рядом с нею грязная куча.

Откуда же взялось это «страданье до занавеса»?

Мне кажется...

Ермолова — трагическая актриса.

А ей, в это время «опрощения», опрощения литературы, опрощения искусства, приходилось играть драму.

К колоссальному, «американскому» паровозу прицепляли вагончики трамвая.

Избыток трагизма искал себе выхода, и она видела глубокие страдания души даже там, где их еще не было.

Но позвольте!

Я, кажется, начинаю «оправдывать» Ермолову?

Ермолова в этом не нуждается.

Она была солнцем, и на ней, как на солнце, были пятна, и она светила нам, как солнце.

Вы были нашим солнцем и освещали нашу молодость, Марья Николаевна!

* * *

Но в чем же секрет, тайна этого невиданного, неслыханного обаяния? Этого идольского поклонения, которое не позволяло видеть даже то, что бросалось в глаза, думать то, что невольно приходило на мысли? Зажимало рот какой бы то ни было критике?

В Москве в то время можно было сомневаться в существовании бога.

Но сомневаться в том, что Ермолова:

— Вчера была хороша, как всегда,

или:

— Хороша, как никогда,

в этом сомневаться в Москве было нельзя.

В чем же дело? В чем же тайна?

Защитительное было время.

Великодушное.

Защитительным был суд, защитительной была литература, был театр.

В суде любили защитников, литература была сплошь защитой младшего брата, его защитой занималась живопись в картинах передвижников, — и ото всех, от судьи, писателя, художника, актера, то время требовало:

— Ты найди мне что-нибудь хорошее в человеке и оправдай его!

Тогда аплодировали оправдательным приговорам.

И змеиный шип злобного обвинения не смел раздаваться нигде.

Было ли это умно?

Не троньте! Великодушно.

— Адвокатская семья! — почтительно шутили,— муж, Шубинский, защитник. Жена, Ермолова, защитница,— и выиграла куда больше, куда труднее процессов!

Кого бы ни играла Ермолова,— она защищала.

«Защитительным инстинктом» эта защитница,— от благоговения пред чудным даром, чуть не сказал «заступница»,— она находила оправдывающие обстоятельства.

Находила...

В сорокалетний юбилей позволяется уж говорить правду?

Выдумывала иногда. Но от доброго сердца!

— Окружала персонаж атмосферой какого-то невысказанного страдания «еще до поднятия занавеса».

С первого слова голосом, тоном говорила нам:

— Она много страдала!

И давала нам возможность вынести если не совсем оправдательный приговор, то все же признать:

— Заслуживает снисхождения.

Что в те защитительные времена и требовалось доказать.

Всех персонажей, каких она играла, она играла всегда симпатичными.

Сходилось ли это всегда с намерением автора?

Я не думаю.

Весьма не думаю.

Не думаю, например, чтоб г-н М. Чайковский, создавая свою Елену Протич в «Симфонии», воображал, что женщина добрых 40—45 лет, много видавшая и перевидавшая в жизни, действительно, полюбила

— В первый раз.

Как играла М. Н. Ермолова.

Думаю, что, скорее, по его мысли, Елена Протич любила:

— В последний раз.

Но «в первый раз»:

— Трогательнее.

— Защитительнее.

— Оправдательнее.

И Ермолова играла:

— В первый раз!

И над Еленой Протич были пролиты все омывающие слезы:

— Всю жизнь она не знала любви. И в 40—45 лет полюбила в первый раз. И как печально это вышло. Бедная! Бедная!

И вышла она из театра «оправданной, с гордо поднятой головой».

Как выходили в то время из суда симпатичные подсудимые.

М. Н. Ермолова играла не всегда,— далеко не всегда! — ту пьесу, которая была написана.

Она не всегда шла в ногу с автором.

Но в ногу шла со своим добрым, хорошим, великодушным временем.

Счастлив тот артист — литератор, живописец, актер,— в котором время его отразится, как небо отражается в спокойной воде.

Кто отразит в себе все небо его времени,— днем со всей его лазурью, ночью со всеми его звездами.

Национальной святыней пребудет такой художник, и критика, даже справедливая, не посмеет коснуться его и омрачить светлое шествие его жизни.

Имя его превратится в легенду.

И ослепленный зритель будет спрашивать себя:

— Где же здесь кончается легенда и начинается, наконец, истина? Видел ли я лучезарное видение или мне померещилось?

* * *

Сознаюсь.

Задал себе этот вопрос и я.

Я шел в театр — в Малый театр! — всегда с заранее обдуманным намерением:

— Ермолова будет играть так, как может играть только Ермолова.

Взглянуть в лицо артистке, как равный равному, я никогда не смел.

Где ж тут кончается легенда и начинается истина?

Лет пять-шесть я не был в Москве и Малом театре и, приехав, попал на «Кина».

В бенефис премьера.

И Кин был плох, и плоха Анна Дэмби, и даже суфлеру Соломону, которому всегда аплодируют за то, что он очень хороший человек, никто не аплодировал.

Лениво ползло время.

Скучно было мне, где-то в последних рядах, с афишей в кармане, и надобности не было спросить у капельдинера бинокль.

Сидел и старался думать о чем-нибудь другом.

Вместо традиционного отрывка из «Гамлета», в сцене на сцене, шел отрывок из «Ричарда III».

Вынесли гроб. Вышла вдова.

Какая-нибудь маленькая актриска, как всегда.

Хорошая фигура. Костюм. Лица не видно.

Слово... второе... третье...

— Ишь, маленькая, старается! Всерьез!

Первая фраза, вторая, третья.

Что такое?

Среди Воробьевых гор вырастает Монблан?

И так как я рецензент, то сердце мое моментально преисполнилось злостью.

— Как? Пигмеи! Карлики! Такой талант держать на выходах? Кто это? Как ее фамилия?

Я достал афишу.

Взглянул.

И чуть на весь театр не крикнул:

— Дурак!

Ермолова.

Мог ли я думать, предполагать, что из любезности к товарищу М. Н. Ермолова, сама М. Н. Ермолова, возьмет на себя роль выходной актрисы, явится в сцене на сцене произнести пять-шесть фраз!

Так я однажды взглянул прямо в лицо божеству.

Узнал, что и без всякой легенды Ермолова великая артистка.

Вот какие глупые приключения бывают на свете, и как им бываешь благодарен.

А. П. ЛЕНСКИЙ

Бедный, бедный Ленский!

Он начал Гамлетом и кончил Королем Лиром.

Москва познакомилась с Ленским в Общедоступном театре, на Солянке.

Это был деревянный театр.

Даже лестниц не было.

В верхние ярусы вели «сходни», какие бывают на лесах при постройках.

Самое дешевое место стоило:

— Пять копеек.

В антрактах по театру ходили мороженщики:

— Щиколадно-сливочно морожено хор-рош!

Барьеры лож были обиты самым дешевеньким красненьким сукнецом, а стены оклеены красной бумагой.

Но ложа, в которую набивалось 8—10 человек, стоила 3 рубля.

И люди за несколько копеек видели:

— Рыбакова, «самого Николая Хрисанфовича Рыбакова». Писарева, Бурлака.

Оттуда вышли:

— Макшеев, Стрепетова, В. Н. Давыдов.

Там начал свою блестящую карьеру Киреев.

Сколько славных еще!

Там талант растрачивался весело, широко, «не считаясь».

В. Н. Давыдов, полный уже и тогда, вылезал в «Фаусте наизнанку» из суповой миски, завернутый в белую простыню:

Я вышел из себя
И выхожу из миски.

А г-жа Стрепетова в дивертисменте исполняла:

— Национальную русскую пляску.

Ленский дебютировал в «Гамлете».

И первый выход в Москве едва не сделался последним его выходом на сцену.

Ему попался горячий Лаэрт.

Фехтуя, он попал рапирой Ленскому в глаз.

Предохранительный шарик на конце рапиры спас артиста.

Дело кончилось синяком, хотя могло бы кончиться потерей глаза.

Общедоступный театр, когда его закрыли, как деревянный театр, поставил лучших актеров на все русские театры.

В числе его подарков Малому театру был Ленский.

Он вошел с благоговением в театр...

Тень Васильева-Флерова, «московского Сарсэ»,— даже с того света в белых гетрах, с биноклем через плечо, с тщательным пробором в ниточку белых, как снег, волос,— подходит ко мне и наставительно говорит:

— Пишите с большого «Т», когда речь идет о том Малом театре. Так делал мой друг Франциск Сарсэ, когда говорил о Театре Французской Комедии.

Мне вспоминается И. В. Самарин.

Я, гимназист, пришел к нему за советом:

— Как мне поступить в актеры?

Он отвечает, разводя руками:

— В Театр вас не возьмут, а провинции я не знаю.

Другие он не считает даже «театрами».

В театр Ленский вошел с благоговением.

Ему суждено было сказать «вечную память» Шумскому.

В первые годы его службы в театре русское искусство постиг удар.

Умер Шумский.

Потеря, непоправимая и до сих пор.

Благодаря Ленскому, нам осталось хоть немного от Шумского. У Дациаро и Аванцо появились фотографии с великолепных карандашных рисунков Ленского:

— Шумский в ролях Счастливцева и Плюшкина.

В переделке «Мертвых душ», которая шла тогда в театре.

Что такое Шумский?

Легенда!

— Что такое был этот Шумский, о котором вы, старики, столько говорите?

Вот вам два портрета.

Аркашка в «кепке», с перьями вместо бороденки.

Вот Плюшкин. Как Чичиков, вы догадаетесь, что перед вами мужчина, а не старая баба, только потому, что:

— Ключница не бреет бороды.

Лучшей иллюстрации к «Мертвым душам» до сих пор нет.

Какие фигуры!

— Что ж это было, подумайте, когда такие фигуры начинали говорить!

То были тяжкие годы, когда в школу мы ходили, как на службу, а учились в Малом театре.

Сколько прекрасных лекций по литературе прочел нам Ленский!

Сколько огня зажег. Ни одному из наших воспитателей не снилось зажечь столько!

Через него мы познакомились с Уриэлем Акостой.

Потом мы видели Акост и лучше, и хуже, и пламенней, и глубже.

Но, когда вы скажете при мне:

Позорное признанье! В грудь мою
Ты ранами кровавыми вписалось...

я вижу Ленского, в белой длинной «рубахе кающегося», упавшего на колени перед столом, на котором лежит:

— Позорное признанье.

— А все-таки же она вертится!

Я вижу Ленского на покрытых красным сукном ступенях синагоги.

Ленского, и никого другого!

Первый спектакль. Это как первая любовь.

Никогда не забывается.

Ленский первый нашему поколенью:

— Толковал Гамлета.

Он был вдумчивый и ищущий актер.

— Он был холодноват для трагедии. Будьте правдивы! — строго замечает мне тень его критика, московского Сарсэ, Васильева-Флерова.

Да, его находили холодноватым.

Но, смотря Ленского, вы словно беседовали с умным, развитым, интеллигентным, интересным, много думавшим по данному вопросу человеком.

Не была ли его сферой комедия?

Какой это бесподобный Глумов! Что за блестящий Петруччио! Какой искрометный Бенедикт!

В шекспировской трагедии он был хорош. В шекспировской комедии великолепен!

Странная судьба у этого актера.

У него был стройный стан, кудрявые волосы и глубокие, задумчивые глаза.

А он в провинции, до Москвы, играл с ними:

— Комических стариков!

Он был:

— Очень и очень недурным актером в трагедии.

Когда ему следовало бы быть:

— Звездой комедии.

Такой звездой, которая оставила бы по себе долго не меркнущую полосу света на горизонте.

Его мольеровский Дон Жуан!

Но мы говорим о высотах искусства.

А какую галерею характеров и типов он оставил после себя!

Сколько он переиграл!

Чего он не переиграл!

Если бы он снимался в каждой роли, получился бы колоссальнейший альбом, какого не удержать в руках.

И вы, рассматривая эти старые, пожелтевшие, выцветшие фотографии, спрашивали бы:

— Какое интересное лицо! Но кто это такой?

Кто помнит сейчас «Дело Плеянова»?

А пьеса имела огромный успех.

И на нее бежала вся Москва больше, чем сейчас бежит на «Синюю птицу».

Ленский был:

— Первым «первым любовником» в России.

Он давал тон и моду на всю Россию.

Был законодателем для всех русских первых любовников.

И стоило ему в «Нашем друге Неклюжеве» сделать себе:

— Бороду надвое,

чтобы это стало законом.

Ни один уважающий себя любовник не позволит себе сыграть Неклюжева иначе, как с бородкой надвое.

Его поза, его жест, его гримы делались «традицией».

Он был действительно:

— Знаменит.

Он был окружен:

— Легендой.

Про него был даже роман, кажется, «Современная драма», которым тогда зачитывались.

Колоссальная миллионерша,— какой же московский роман обходится без миллионерши? — увлечена блестящим премьером.

И он увлечен ею.

Он любит ее любовью пылкой, глубокой, могучей.

Эффектной.

Как любят на сцене.

Он зовет ее бросить:

— Этот мир золота и грязи!

Но она слаба. Готова мириться с грязью из-за золота. Ищет воли и наслаждений. И выходит замуж за другого, за покупного мужа, безумно любя актера, безумно страдая по нем.

И я помню до сих пор сцену венчанья.

Героиня «бледная, как мертвец, словно в саване, в подвенечном уборе».

И в глубине церкви, в темном углу, у колонны, в бобровой шинели «красавец актер», с бледным прекрасным лицом, с «задумчиво устремленным взглядом глубоких глаз».

Я читал этот роман.

Его читали все.

С увлечением.

Узнавали:

— Действующих лиц!

Были в восторге.

Публика любит, чтоб ее любимец на сцене имел и красивые романы в жизни.

Она требует этого от актера.

А. П. Ленский, наверное, получил не одно письмо:

— Не страдайте так! Она вас не поняла. Зато я...

— Обо мне даже был роман!

Верх суетной актерской славы.

С публикой у Ленского всегда были самые лучшие отношения.

Однажды он спас ей, быть может, несколько жизней. Во всяком случае, много ребер, рук и ног.

В Большом театре,— тогда трагедии ставились по вторникам в Большом театре,— шел «Гамлет».

На верхах было все переполнено.

Там училась молодежь.

В партере и ложах, по обычаю, пустовато.

Сцена с актерами.

Только что «первый актер», раздирая страсть в клочки, принялся за Пирра, в театре какой-то жулик крикнул:

— Пожар!

И тут я видел, как моментально толпа теряет рассудок.

В двух шагах от меня, в партере, какая-то полная дама лезла через кресла.

Два места,— никем не занятых! — отделяли ее от среднего прохода.

Среднего прохода Большого театра, по которому можно проехать на паре с отлетом!

А она лезла через кресла, падала, карабкалась, кричала, рыдала, словно на ней загорелось уже платье.

В театре раздались крики, вопли.

Ленский, к счастью, не растерялся.

Он подошел к рампе и во всю силу своих, тогда могучих, легких объявил:

— Господа, успокойтесь! Ничего нет!

То, что мешало ему в трагедии, помогло в трагическом эпизоде.

— Спокойствие.

Он таким спокойным жестом остановил «первого актера», так спокойно сказал, от всего от него, от позы, от лица, веяло таким спокойствием, что публика моментально успокоилась.

Ленский спокойно спросил:

— Теперь можно?

И спокойно сказал актеру:

— Продолжай!

Театр дрогнул от аплодисментов.

И «Гамлет» пошел дальше.

Спокойствие начало портить трагедию...

Была размолвка.

Кажется, единственная за всю карьеру Ленского.

Ему пошикали.

Это было уже сравнительно недавно.

В «Нефтяном фонтане» покойного Величко.

Несимпатичная пьеса с несимпатичной тенденцией.

Неподражаемый художник по части грима,— сколько изумительных «голов» ждало бы нас еще! — Ленский загримировался Манташевым.

Галерея встретила его появление шиканьем.

Ленский остановился, выдержал длинную, как вечность, паузу, посмотрел на галерею пристальным, неподвижным взглядом и «только покачал головой»:

— Шикать в Малом Театре!

Прав ли был Ленский?

Конечно, нет.

Загримироваться живым лицом в позорящей роли!

Это неуважение к театру, это — преступление, которое актеры прощают только самим себе.

Они похожи на тех курильщиков, которые не любят, чтобы при них курили:

— Дышать нечем!

Но это единственный «инцидент».

С капризным существом — публикой — у Ленского всегда были хорошие отношения.

И Ленский мог говорить о публике только с добродушной улыбкой.

Он играл в Москве каждый вторник Уриэля, Гамлета.

И всегда не при полных сборах.

Но вот его перевели на сезон в Петербург.

В самом конце сезона Ленский приехал на два спектакля в Москву.

На гастроли.

С тем же Уриэлем, с тем же Гамлетом.

Результат — ни одного свободного места.

Барышники продавали билет в пять, в шесть раз дороже. Нажили отличные деньги.

Дирекция решила:

— Нет, Ленского надо в Москву.

Но г-н Корш... Мягкий, нежный г-н Корш всегда любил слизнуть сливки и обладал для этого ловким и гибким язычком... Г-н Корш решил:

— Голубы! Я пеночку съем! Я!

Это был первый год его антрепризы.

От него ушла вся его труппа, Писарев, Бурлак и прочие.

Он набрал кого попало и пригласил Ленского на гастроли после пасхи.

Но всем было уже известно, что Ленский будет снова на Малой сцене.

Тот же Уриэль, тот же Гамлет.

И гастролей не кончили.

Сборов никаких.

— Вот черни суд!

Если бы перед публикой можно было всегда только гастролировать!

И вот вся эта ясная, спокойная, хорошо наполненная артистическая карьера кончилась трагедией.

Мы думали, что после хорошего, ясного дня будет долгий красивый закат.

Перед нами пройдет еще целая галерея бесподобных гримов, мы много, много еще вечеров будем получать то высокое наслаждение, о котором мне говорил еще на днях один знаток театра, сам артист, но не возненавидевший своего дела, что редко:

— Когда в Малом театре идет «Горе от ума», я делаю все, чтобы попасть. Сажусь, закрываю глаза и слушаю, слушаю. Только слушаю, как музыку,— как читает Ленский.

Мы думали, что, в конце концов, мы, растроганные, благодарные, справим нашему артисту юбилей, который напомнит нам юбилей И. В. Самарина...

Но Ленскому пришла в голову несчастная мысль:

— Реформировать Малый театр.

Это все равно, что:

— Перестроить Ивановскую колокольню посовременнее!

Разве это возможно?

Я не знаю, какие на этот счет порядки царят в Малом театре.

Но я знал одного реформатора, который тоже захотел реформировать Александринский театр, в Петербурге.

Он прослужил там год.

А нервно дергался после этого два.

— Невозможно. Подхожу к одному. «Нельзя ли так-то?» Встает, кланяется в пояс: «Благодарю! Благодарю, что меня, дурака, научили! При шестом, батюшка, директоре служу! Публика меня любит, начальство меня любит! Чего мне еще от господа бога нужно? Переучиваться мне, государь мой, поздно!» Подхожу к молодому. Выслушал сухо, холодно. Повернулся и к чиновнику пошел: «Вы меня, вашество, изволили определить, а он меня, вашество, выживает. Он, вашество, не меня,— он властей не признает». Про одного скажу: «Этот лишний!» Сию минуту: «Куска хлеба лишить хочет! Сколько лет служил! Куда он теперь денется?» Про другого скажу: «Вот кого бы пригласить надо» — вопли: «Протекция!» Нет-с. Будет!

«Старики» скажут:

— Режиссерствовать вздумали? Мы всю жизнь без режиссера играли. И хорошо выходило.

Перестраивать старое здание трудно.

Хочешь половицу переменить, а она, оказывается, так накрепко к накату пришита, что весь накат перебирать придется.

Хочешь накатину тронуть, а она к самой капитальной балке такое отношение имеет, что и капитальную балку:

— Беспокоить надо.

Легче снова строить, чем старое перестраивать.

Мысль была неудачная, но и наказанье же за нее!

Это предсмертное желание:

— Увезите мое тело! Немедленно! Подальше от них!

Этот старик, падающий где-то на улице, подобранный в участок.

Этот вопль, которым кончается письмо в одну газету, напечатанное за несколько дней до смерти:

— На остальную характеристику моих отношений к учащимся и артистам я отвечать не стану. Это могли бы с большим успехом сделать, если бы нашли это нужным, те, кому я отдал ровно двадцать лет моей жизни.

Ото всего этого веет «Королем Лиром».

Мне чудится «старая труппа» Малого Театра.

Театра через большое «Т».

Смущенная, испуганная, как стадо овец в разразившуюся вдруг грозу.

Старики особенно чутки к похоронному звону.

Как растеряны должны быть они:

— Что случилось у нас? Александра Павловича нет! Как это могло произойти!

За день до смерти Ленского мы прочли в газетах, что труппа Малого театра не то послала, не то собирается еще послать А. П. Ленскому:

— Телеграмму с просьбой остаться.

Телеграмму!

Есть от чего упасть без чувств.

Телеграмма хороша для добрых знакомых.

Для друзей есть правая рука. Есть руки для объятий. Есть губы для поцелуя. Для друзей!

Не телеграмму посылают.

А идут и говорят:

— Александр Павлович! Да что с тобой? Да что с нами случилось? С нами — главное? Да пусть ораторскому искусству будущих депутатов учит кто угодно. А не Ленский. Не наше, милый, дело, это. Мы умереть должны в Малом театре, как умер Самарин, как умерла Медведева. Да разве же после тридцати двух лет жизни разводятся?

Надо было смеяться, надо было плакать.

Мешать ласковый смех с добрыми слезами.

И смех, и слезы мешать с поцелуями.

Поцелуев старых, дружеских губ нужно было, а не телеграмм.

Через тридцать два года службы вместе он, умирая от разлуки со своим Театром, получил:

— Телеграмму!

КИН

(Ф. П. Горев)

Празднуют 35-летний юбилей Ф. П. Горева.

Все был Макс Холмин — и вдруг «Старый барин».

Как быстро несется поток жизни!

Словно это было только вчера. Я помню:

Лето. Петровский парк. Театр Бренко. Горев, приехавший на гастроли в Москву.

— Красавец Горев!

Иначе его не называли.

Днем, около входа, толпа дам.

— Горев! Горев! — шепот.

А он проходит среди этих цветущих шпалер радостный, красивый, как молодой бог, беззаботный, как птица.

Самоуверенный? Спокойно глядящий вперед?

Вряд ли.

Просто, ни о чем не думающий.

«И во всех глазах он без труда читал различными сердцами написанное одно и то же».

Так же он прошел и мимо нас.

Мы с вами за эти долгие, долгие годы вели серое, тоскливое, однообразное существование, трудились, работали, зачем-то тянули какую-то лямку. А он прошел мимо нас, как праздник. Блестящий, великолепный.

Ни о чем не думающий.

И в жизни, и на сцене все ему давалось без труда.

В жизни...

Имя Горева было окружено легендами. Но:

Покой и сон их душам молодым,—

как поется в «Синей бороде».

На сцене...

Помню, после первого представления аверкиевской пьесы из византийской истории мы ужинали: несколько журналистов, артистов и один «византиец».

Молодой ученый, из-за византийской жизни проморгавший свою. Наживший близорукость, согнувший себе спину в дугу над «изысканиями».

Он и в театр-то выполз только потому, что шла Византия.

Ни что другое не могло бы его заинтересовать.

Ученый «гулял».

Выпил три четверти рюмки водки и тыкал вилкой в устричную скорлупу.

Он был выбит из колеи. Он был в восторге от Горева, игравшего византийского императора.

— Нет-с, эта сцена! Когда он уходит из спальни жены! Не спуская глаз! Пятясь спиной! Словно боится, что, повернись,— и ударят сзади кинжалом! А как он проходит мимо каждого кресла, мимо каждой портьеры! Словно весь

дворец и даже спальня жены полны спрятанных убийц! Да ведь это вся Византия! Вся Византия!

В это время в ресторан пришел Горев.

— Правда, недурно? — мельком спросил он в ответ на похвалы и глубоко задумался: — К устрицам ты дашь мне не пармезану... нет...

Но ученый горел.

— Федор Петрович! Откуда вы взяли эту характеристику эпохи? Это вы почерпнули у такого-то? Вы, вероятно, штудировали такого-то? А на эту мысль вас, наверное, навел такой-то?

Ф. П. Горев посмотрел так, словно у него над головой обломилась библиотечная полка и полетели на него книга за книгой, в переплетах.

— Ни у кого не брал. Что тут брать.

— Но как же? Такая характеристика эпохи?

— Да что ж тут трудного понять? Вышел на сцену,— смотрю: кругом такая дрянь...

Горев выразился сильнее.

— От них чего угодно ждать можно! Станешь пятиться!

Ученый смотрел, вытаращив глаза.

Если б он так не ушел в византийщину, ему бы, наверное, вспомнился Пушкин:

...О, небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горячей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан,
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного? О, Моцарт! Моцарт!

И дорогой еще более согнувшийся молодой ученый, попадая сослепу в снежные сугробы, обиженно повторял:

— Этого не может быть! Он скрывает! Чутье! Чутье! Но нельзя же чутьем знать даже византийскую историю!

Да и сам Горев шел в искусстве, как слепой. Но его вело за руку вдохновенье. И указывало ему, что нужно делать.

И он делал так, что дух захватывало у театра.

В то время как на парусинном небе Малого театра яркой кометой лихорадочно горел Горев, взошла новая звезда, постоянная, устойчивая, со светом ярким, но спокойным,— А. И. Южин.

Я очень люблю артиста Южина.

Когда он играет Ричарда, Кориолана, Макбета, даже Гамлета, я иду в театр с таким же огромным интересом, с каким идешь на вечер, где встретишь человека очень талантливого, очень умного, с огромной эрудицией. Его мнение интересно. Его выслушать огромное удовольствие.

Но я не думаю, что с А. И. Южиным когда-нибудь случилось то, что случилось с Ф. П. Горевым где-то в провинции.

Он играл сильно драматическую роль.

Человека, которого затравили. Он задыхается. Он не только не может сказать слова,— ему нечем дышать. Вопль,— и он падает: умирает от разрыва сердца.

Занавес опустили.

Жидкие аплодисменты были заглушены шиканьем всего театра.

Там, за занавесом, наступила гробовая тишина. Ее прервал истерический крик... другой... третий...

Но что в публике?

Актеры стояли растерянные, недоумевающие.

На сцену бледный, взволнованный вбежал полицмейстер.

— Что Горев?

Горев вышел из-за кулисы.

— Что вам угодно?

— Вы... живы?..

— Как видите!

Полицмейстер даже за голову схватился:

— Батюшка! Да разве так можно пугать публику?! Ведь в публике подумали, что вы действительно умерли! Происходит черт знает что! Поднимайте занавес! Покажитесь!

Горев и Южин вступили в единоборство.

Если мне не изменяет память, то, кажется, по вторникам тогда в Большом театре давалась трагедия.

Если на этой неделе Гамлета играл Горев, то на следующей в черном плаще печального принца выходил Южин. На одной неделе Акосту играл Южин, на другой мы слышали от Горева:

Спадите, груды камней, с моей груди!

Два направления в искусстве вступили в бой.

С одной стороны — самый блестящий представитель то-

го, что называется «игрой нутром». С другой — самый яркий представитель «работы».

И труд, изучение, глубокая и вдумчивая интеллигентность победили.

В разговорах о Малом театре стало все чаще и чаще обязательно упоминаться имя:

— Южин.

Горев отошел немного в глубину сцены.

Тут бы ему оставить казенную сцену! И ярким, сверкающим метеором нестись из театра в театр, по всей России.

Что бы это была за триумфальная карьера!

После весны, полной цветов, когда в каждом кусте роз соловьи пели про любовь, что бы это было за знойное лето!

Но артисты «образцовой» сцены думают, что сцена эта «образцова» и в отношениях к артистам.

Они думают, что артист непоколебим, как столоначальник!

И Горев сам приготовил себе печальный момент. Подошедшая осень постучалась ему в сердце тяжелой, тяжелой обидой.

Горев отошел немного в глубину сцены. Только немного. Москва его любила. Любила очень.

Но в этом таланте было нечто донжуанское.

И между Эльвирой и донной Анной разыгралась трагедия его жизни.

Ему надо было завоевывать публику. И, едва завоевав, он, уж охладев, скучал и томился.

Его страшно любил Петербург. Он бросил Петербург и, совершенно неизвестно зачем, перешел в Москву.

Зачем?

Чем донна Анна лучше остальных?

И когда донна Анна полюбила его сильной и глубокой любовью,— он снова уж пел под балконом Эльвиры.

Из Москвы, где его любили, он снова переселился в Петербург.

Зачем?

Изо всех людей на свете это меньше всего известно одному:

— Г-ну Гореву.

И когда настала осень,— пышная осень, вся в ярких тонах и сверкающих красках,— артиста в сердце ударили обидой.

Ему предложили отставку.

Петербургская дирекция взяла на себя роль Гонерильи,— неизвестно зачем, неблагодарная роль! — но сыграла ее великолепно.

Нельзя лучше оскорбить старого артиста, как дать ему отставку «за ненадобностью» в то время, как переполненный театр, весь, сверху донизу, рукоплещет его игре и кричит ему:

— Оставайтесь! Оставайтесь!

Это была обстановка прощального спектакля Горева на Александринской сцене.

Настоящая трагедия. Когда занавес опустился в последний раз,— стало жутко и страшно.

Похоронили живого человека.

И бедный, раненный в сердце, Макс Холмин, ты мог крикнуть:

— Душу, живую душу, Диковский, съели!

Лир пошел скитаться.

И в своих скитаньях он зашел к нам и в радостный, и в печальный день своего тридцатипятилетнего,— уже тридцатипятилетнего! — служения искусству.

С сердцем, полным благодарности за былые восторги, почтим же в «Старом барине» молодого Макса Холмина.

П. А. СТРЕПЕТОВА

После П. А. Стрепетовой осталось немного образов. Но ярких.

Катерина в «Грозе», Лизавета в «Горькой судьбине», жена Бессудного — «На бойком месте»...

Она играла Марию Стюарт. Страдающей королевы не было. Играла Адриенну Лекуврер. Блестящей артистки у блестящей артистки не вышло.

Когда большая артистка-народница бралась изображать королев и блестящих актрис, это напоминало наивные романы «из аристократической жизни», по 20 копеек.

«Граф в бархатном пиджаке, туго натянутых серых лосинах и лаковых» сапожках вошел в театр.

«Здесь, сразу было видно, его все знали. Он был, очевидно, постоянным посетителем: все капельдинеры поздоровались с ним за руку.

Граф прошел в ложу княгини.

— Не хотите ли апельсина? — спросил граф, вынимая из кармана фрукт.

— Почистите! — задорно (непременно задорно) улыбнулась княгиня.

Граф принялся ловко чистить апельсин, бросая кожу в кресла с непринужденностью истинного аристократа».

Да что королевы и блестящие артистки!

Простую помещицу в пьесе князя Сумбатова «Закат» она сыграла плохо.

Вместо обедневшей барыни получилась торговка.

Не то, что у нее не было для этих ролей только внешности, уменья держаться. Она не могла вообразить себя королевой, знаменитой артисткой, большой барыней.

Зато «простая» русская женщина,— крестьянка, как Лизавета и Бессудная, мещанка, как Катерина,— нашли в ней чудную художницу.

Она рассказывала о той среде, которую знала, любила, жалела и понимала глубоко.

Она передавала бабье горе в Лизавете, в «Горькой судьбине», так, что переворачивало душу.

А хитрости, увертки жены грозного Бессудного! С каким юмором передавалось это!

Было и смешно смотреть.

И жалость сжимала сердце:

— Бедная раба! Какой лукавой ее сделало рабство! Сколько лукавства ей нужно, чтоб чуть-чуть отведать счастья!

Прежде всего, П. А. Стрепетова давала превосходный внешний облик.

Бытовую картину.

Катерину она играла даже с волжским говором.

На сцену выходила маленькая, жалкая в своем мещанском «наряде», ничтожная мещаночка.

Таких встречаешь тысячи и думаешь,— если только о них думаешь:

«Какой у них может быть внутренний мир?»

«Мещанская кукла». И только.

И вот, как чудный цветок, расцветала пред нами душа Катерины.

Стрепетова не идеализировала Катерины.

Все время ее Катерина возбуждала к себе жалость: пришибленная, малоразвитая.

Но какая совесть!

Какая могучая, славянская совесть,— которая так удивила Сарсэ:

— Что это они всему миру кланяются в ноги? Катерина кланяется. Раскольников кланяется. Никита кланяется.

Есть два миросозерцания.

Я сделал нехорошее дело.

— Весь мир виноват передо мной. Предки,— зачем меня родили таким? Воспитание, среда, все условия жизни, которые заставили меня пойти на преступление.

И есть другое миросозерцание.

Строгое, прежде всего, к себе.

Оно заставляет даже жертву просить прощения у всех.

Наши великие писатели говорят нам, что это миросозерцание ближе нашей, славянской душе.

И Раскольников, Никита, Катерина кланяются в ноги всему миру, идя на скорбный путь искупления.

Это окружает их красотой мучеников.

Какую нравственную силу показывала Стрепетова в этой Катерине, жалкой с виду, ничтожной и незаметной!

Какая нравственная сила, вылившаяся в мистический порыв!

Какие огромные, возвышенные стремления, полные могущества и красоты, дремлют в душе маленькой незаметной «мещаночки»!

Каких сил и девственной красоты полна эта душа!

Сходя с подмостков, Стрепетова могла сказать:

— Такова невидная, «простая», русская женщина,— и такие огромные душевные силы можно найти в ней, если за это возьмется большой художник.

Перед «простой» русской женщиной заслуга Стрепетовой огромна.

Она открыла и объяснила нам прекрасные тайны ее души так, как талантливому писателю с трудом удается это в десятках томов.

Она способствовала культу русской женщины. Она украсила этот культ, заслуженный и справедливый, мученическими венками Катерины и Лизаветы.

Она создала нам мученицу, русскую женщину. И мы видели это мученичество во всем его ужасе, но и во всей его нетленной красоте.

Из-под гнета «Домостроя», татарщины, крепостного права вставал перед нами образ «простой» русской женщины, все же сохранившей в своей душе лучшее, что есть в человеческой душе.

Пронесшей сквозь все тягости исторического бесправного женского существования душу живою и невредимою.

Катерина, Лизавета, Бессудная — в изображении П. А. Стрепетовой — это все порыв к лучшему, к счастью. Порыв к свету, к солнцу тоскующей человеческой души.

Все это «рабы», но с живою душою и сохранившие человеческие стремления.

Создав Катерину, Лизавету, Бессудную, Стрепетова закончила ряд картин «простых» русских женщин картиною грандиозной трагической силы, создав Матрену во «Власти тьмы».

Напиши Л. Н. Толстой свою шекспировскую драму раньше,— мы имели бы дивную Анисью.

Но Стрепетова уже была стара, и, после «лучей в темном царстве», она давала нам образ женщины, задавленной «властью тьмы».

«Простую» женщину, из которой тьма сделала «деревенскую леди Макбет».

Это был черный, но необходимый штрих для полноты той картины, которую всю жизнь писала Стрепетова:

— Простая русская женщина.

Картина яркая, написанная, действительно, масляными красками, сильно, могуче, но ее галерея — память зрителей, очевидцев.

Уйдут они, и с ними исчезнет самая память о картине.

От Стрепетовой останется только легенда.

Была женщина с огромным талантом, но неуживчивым характером.

В те же времена в учреждениях, живущих только талантами и созданных только для таланта,— больше всего ценился только покладистый характер.

Кроме этой характерной для нашего времени «Стрепетовской легенды», не останется ничего.

Будем утешаться, думая, что в те времена будет уж и не нужна защита русской женщины и проповедь ее права на жизнь.

В наше время и эта проповедь, и эта защита были нужны, были очень нужны.

И Стрепетова сделала большое дело.

Ее заслуга пред русской женщиной велика.

РОЩИН-ИНСАРОВ

I

Десятое января.

Десять лет тому назад в этот день был убит Николай Петрович Рощин-Инсаров.

Коля Рощин.

Десять лет тому назад я сидел и писал фельетон... Что бы на свете ни случилось, оно застает меня за писаньем фельетона.

Я смотрю событие и пишу новый фельетон — по поводу этого события.

— Такой способный мальчик! Изо всего сделает коробочку!

Забавная карикатура на Пимена.

Я писал свою летопись,— «свидетелем чего господь меня поставил»,— когда мне подали срочную телеграмму из Киева:

— Художник Малов убил Рощина-Инсарова.

Я очнулся на полу.

— Колю Рощина? За что? За что?

Положим, покойный И. П. Киселевский, человек злой на язык, рассказывал про Рощина и тем его ужасно бесил:

— Это было, когда мы служили у Корша. Выходим както с репетиции. Смеркается. Вдруг Коля говорит: «Постой, Иван Платоныч, я сию секунду. Дело!» И припустился вверх по Богословскому переулку. Смотрю,— стал перед фонарем и стоит. Подхожу ближе,— знаете, что?

— Ну?

— Оказывается, прачка несла корзину с бельем на голове. Сверху лежала крахмальная юбка, зацепилась за фонарь и повисла. Коля завидел. В сумерках! Зоркий на этот счет! Остановился перед юбкой и служит!

Но в данном-то случае!

«Клянусь святым Патриком!»

Я был конфидентом всех его увлечений, разочарований, любовных тайн.

Г-н Малов имел такое же основание убить его, с каким можно убить каждого актера.

— А?! Моя жена заслушивается ваших монологов?!

Выхватил револьвер:

— Вы — бесчестный соблазнитель! Вы смущаете чужих жен.

Бац!

И наповал.

II

Нас с Рощиным соединяла двадцатилетняя и тесная дружба.

Мы были товарищами юности.

Смешно сказать,— вместе начинали на сцене.

В любительском спектакле, в дачном театре, в подмосковном селе Богородском.

В «Каширской старине».

Он, корнет Сумского гусарского полка Пашенный, играл Саввушку. Я, великовозрастный гимназист,— Абрама.

Василия играл какой-то Тольский-Тарелкин, Марьицу — красавица Волгина.

В последнем акте, «под занавес», злосчастный Тарелкин так неудачно и скабрезно упал на труп Марьицы, что, когда опустили занавес, к аплодисментам зрительного зала присоединился и звонкий аплодисмент на сцене.

Марьица развернулась и дала своей пухлой ручкой пощечину злосчастному Василию Коркину.

Я, как сейчас, вижу благовоспитанного переодетого гусара, шаркающего ножкой и конфузливо улыбающегося на похвалы со всех сторон.

Судьба толкнула корнета и гимназиста по разным дорогам.

Но наши дороги были по одному направлению, близко друг к другу,— и мы шли, все время весело перекликаясь.

Я был свидетелем его роста.

Видел его у Корша, на гастролях в Петербурге, по каким-каким городам не встречался с ним в провинции!

Как многим большим актерам,— как Шумскому, как Бурлаку,— природа решительно отказала ему в необходимых для актера данных.

Он должен был играть любовников — и был некрасив.

У него был хриплый голос.

И,— несчастие всей его жизни,— дурные зубы.

Ведь публика «смотрит актеру в рот».

Зубы — это первое, что она видит.

В жизни у нее у самой прескверные зубы. Но на сцене

она никак не может себе представить, как это человек со скверными зубами смеет говорить о любви!

Только в конце жизни Рощин:

— Обзавелся хорошими зубами.

Решившись для этого на героическую операцию.

Вырвал все старые зубы!

Все, что ему дала природа,— это юношеский стан.

И с такими плохими данными это был актер, который увлекал!

Он был очень скромен, и от Корша уходил с ужасом:

— Возьмут ли меня куда-нибудь?

Ему говорили кругом:

— Да ведь нельзя же всю жизнь в одном театре! Под лежачий камень и вода не течет! Новые города! Новый репертуар! Новые роли! Ты развернешься!

Но он был полон страха:

— Нужен ли я кому-нибудь?

Таким скромным артистом он остался и до конца своих дней.

«Изводил» после каждой новой роли:

— Нет, серьезно? По твоему мнению, ничего? Нет, ты мне скажи откровенно! Я, честное слово, не обижусь! Ничего?

Скромность и застенчивость большого и истинного таланта.

Застенчивость, конфузливость, с какими человек открывает тайники своей души, сокровенное своего творчества.

И конфузится:

— А вдруг в моей душе ничего достопримечательного не происходит?

Конфузливость и болезненная стыдливость молодой девушки, которая подает вам свой «заветный» альбом.

Милая и смешная во взрослом человеке.

Но талант — всегда девушка.

И каждый раз — в новой роли, в новой повести, в новой картине — отдается в первый раз.

Как артист, он был реалист. Самый правдивый.

— Я, брат, могу играть только таких людей, каких я видел. А каких на свете не бывает, я играть не могу!

«Каких на свете не бывает» он называл:

— Всех этих Гамлетов, Акост.

«Гамлета» он боялся.

— Озолоти,— не выйду. Представь себе, что на сцене по-

зволили бы изображать Христа. Разве возможно? Всякий актер не понравился бы. Всякий человек, мой друг, носит в душе своего Христа и своего Гамлета. А потому ему ни один Христос и ни один Гамлет не понравится. «Не то!»

Но каждый человек носит в душе и своего Чацкого.

Это не мешало ему играть Чацкого, быть превосходным Чацким, быть лучшим из Чацких.

Под конец своей жизни он сыграл толстовского «Царя Бориса».

Н. Н. Соловцов сделал ему тяжелое царское облачение из кованой парчи. Декорация первого акта представляла точную копию Грановитой палаты, для «красного» кремлевского звона был приглашен из киевской лавры звонарь-виртуоз, из Москвы был выписан набор «малиновых» колоколов.

Когда, вслед за бесконечным шествием бояр, при радостном перезвоне кремлевских колоколов, при громе пушек, при кликах народа, в шапке Мономаха, с державой и скипетром, Борис взошел на трон:

— Холод, понимаешь, меня охватил! Горло сжало! Слова сказать не могу! Борисом себя почувствовал! Ужас взял!

В Бориса он влюбился.

И вдруг его потянуло на Шекспира.

Разлакомился!

— Забеременел я, понимаешь, от Бориса! Как беременную на капусту, понимаешь, позывает меня на Шекспира. Вынь да положь Шекспира!

Он мечтал о «Макбете».

Готовился.

Совершался перелом. Быть может, начиналась новая эра его творчества. Куда лучезарнее!

Но в это время его убили.

III

Как он играл?

Рассказывать это было бы бесполезно.

Расскажите мне вкус фисташкового мороженого?

Ну, вот так же не можно рассказать, как играл актер.

Он любил играть «немножко злодеев».

Его любимыми ролями, например, были адвокат в «Арказановых», Пропорьев в «Цепях».

Как всех слабохарактерных людей, его тянуло к сильным, «железным» людям.

Вспомните, с какой завистью Тургенев описывает Колосова.

Но одной из лучших его ролей был «русский Гамлет».

Чеховский Иванов.

Он был поэтом рыхлого, слабого, русского человека.

— Актер Чехова.

Это был:

В чеховских ролях он достиг вершин своего творчества.

Когда он играл Иванова, дядю Ваню, Тригорина в «Чайке»,— чувствовалась чеховская душа.

Недаром он любил в литературе Чехова, в живописи — Левитана.

Он понимал и любил слабость русского человека, потому что сам был таким, и с любовью их рисовал, как с любовью говорят о близких людях.

Ценным для актера качеством — способностью перевоплощения — Рощин-Инсаров обладал в высокой степени.

Блестящий гусар,— а он был не просто гусаром, но и блестящим! — был превосходен в роли Никиты во «Власти тьмы».

Я сейчас вижу его осклабленное лицо и корявый палец.

— И люблю я этих баб! Ровно сахар!

И пальцем делает такое движение, словно к себе кусочек сахара пододвигает.

А какой это был молодой лакей в «Плодах просвещения»!

Высококорректный и наглый.

Целая гамма, как он надевает калоши молодым, старым, красивым, некрасивым, толстым, худеньким.

Это был изумительный представитель умирающего амплуа.

— Любовник.

Не теперешний неврастеник, а «настоящий любовник».

Он был последним из Арманов Дювалей.

И. П. Киселевский,— не тем будь помянут! — не баловал своих товарищей добрыми отзывами.

Единственный, про кого он никогда не отзывался дурно,— был Рощин.

Он любил его, быть может видя в нем:

— Будущего себя.

И когда Рощин играл Армана Дюваля, И. П. Киселев-

ский все сцены смотрел из-за кулис или из зрительного зала.

Он говорил:

— Ты мне так этого Армана Дюваля сыграй, чтоб я чувствовал, что, действительно, тобою не увлечься невозможно. Что, будь я Маргаритой Готье,— и я бы переродился! Словом, чтоб я поверил!

И Рощин играл так, что было можно!

Тут было, быть может, много «сердца горестных замет».

Но он умел находить такие ноты!

И сам перерождался, и увлекал своим перерождением Маргариту Готье.

Как настоящий русский талант,— у него было много юмора.

Без юмора русского таланта не бывает.

Мы — смешливый народ.

Живо осмеет вас мужик. «Скалит зубы» мастеровой. Изощряется в остроумии рядский торговец.

Пушкин, Тургенев, Толстой в «Плодах просвещения», мрачный Достоевский,— смеялись все.

Мы идем тяжелой дорогой,— и если бы не посмеивались, чтобы из нас было?

Рощин был удивительный Глумов — «На всякого мудреца довольно простоты».

И кто видел его «В горах Кавказа» Щеглова, тот никогда не забудет этого вечера хохота.

Сокровенной мечтой, но уже сокровенной, было...

Много он мне жилеток перепортил своими слезами, но об этой сокровенной мечте мне он сказал только года за два до смерти.

Сознался.

Сознался конфузливо, даже покраснел.

Как открывают величайшую тайну своей души.

Он мечтал, всю жизнь мечтал:

— Сыграть... городничего.

Что он находил в этой роли «еще не сыгранного»,—не знаю. Но готовился он к ней постоянно.

— Всякий день о городничем думаю.

Готовился с каким-то религиозным благоговением и страхом.

За шесть месяцев до смерти он решился сделать «пробу».

Выступил.

Выбрал для этого дачный театр, в Боярке, под Киевом.

К сожалению, те, игравшие с ним, с которыми мне пришлось встретиться, много рассказать мне не могли.

Говорили только:

— Масса нового, интересного.

И все в один голос добавляли:

— Но судить невозможно. Так волновался, так волновался!

Волновался в буквальном смысле до неприличия.

До болезни.

Сам он говорил:

— Думал, не выдержу. Сердце лопнет!

Но, во всяком случае, начало было сделано.

Он мечтал:

— Теперь выступлю!

Этот многогранный брильянт готов был засверкать новой гранью и вспыхнуть новым огнем.

Но в это время его убили.

IV

Я любил его искусство и любил его жизнь, от которой, как аромат, поднималось его прекрасное искусство.

Я видел, как в жизни его зарождались те образы, которыми он потом чаровал на сцене.

И любовался этим процессом.

Я любил его, как артиста, как человека, как тип.

Отчего никто не напишет нашей, русской, «Богемы»?

Ведь написал же «Лес» Островский!

Что за чудо его Несчастливцев, что за прелесть Аркашка!

Если бы талант романиста!

Вы ходили бы несколько дней влюбленными в моих Мими. Каких Рудольфов я бы вам показал. Вы хохотали бы и плакали над моими философами.

Что за прелесть русская богема!

Что за смешная и трогательная прелесть!

Какой представитель «богемы» был этот человек, «просадивший» огромное состояние, получавший огромные доходы и живший в ожидании зимнего сезона... в Киево-Печерской лавре!

— Да как же тебя туда занесло?

— А, понимаешь, дешево. Номер — положения нет. Сколько в кружку положишь, столько и хорошо. Столовая для богомольцев.

— Это что ж? Страннопреимный дом?

— Зачем? Для привилегированных! За плату. Каша — семь копеек! По скоромным дням — даже с коровьим маслом. Борщ постный с грибами, с маслинами — двенадцать копеек. И превкусный! На полтинник в день живешь, князьям равен. Одно плохо: каждое утро в четыре часа к заутрене будят!

Получая тысячи в год, он редко-редко видел в кармане двадцать пять рублей.

С десятью считал себя богачом, а к людям, у которых было сто рублей, относился с нескрываемой завистью.

— Богач! Я у него, брат, сто целковых видел!

Бедный Коля!

Если вы хотите Николая Петровича «всего»,— вот он вам весь.

Коршевская труппа собралась в «поездку» с пасхи. Распорядителем — самый хозяйственный человек — Н. Н. Соловцов.

В понедельник на первой неделе Н. Н. передал Рощину пятьсот рублей:

— Вот. На эти деньги ты должен и билет до Киева купить и багаж отправить. Сможешь пост прожить?

— Ну, еще бы!

— Помни, Николай. Больше нет! В четверг на страстной выезжаем. Чтобы хватило!

— Кому ты говоришь?!

Четверг на страстной.

Собираются на Курский вокзал.

Рощин здесь. За столом, ест битки в сметане. Около вещи.

— Ты что же багаж не сдаешь?

— Вот тебе я, вот мой багаж. Нужен я тебе,— бери билет и вези. Не нужен,— оставь здесь.

Соловцов за голову схватился.

— Как тебе, Николай, не стыдно?! Что ты со мной делаешь?!

— Нужен я тебе,— бери. Не нужен,— брось здесь. Не хватило.

— Носильщик! Возьми барину билет. Бери вещи!

— Спасибо тебе, Николай Николаевич! Сердечное спасибо. Ты уж и извозчику за меня заплати.

— Господи! За извозчика заплатить нечем! До чего люди доходят!

— Вот он дожидается!

— Ты извозчик?

— Мы извозчики.

Николай Николаевич достал мелочь.

— Сколько тебе?

— Сто семьдесят два рубля!

— Что-о?

— Ну да! Он с третьей недели со мной ездит, и, кроме того, у него семьдесят рублей деньгами взял.

Пришлось занять у друга всех актеров, буфетчика Буданова, чтобы расплатиться и выехать.

V

Он был полон самых лучших намерений!

Теплою весеннею ночью иду по Харькову, мимо «Астраханской» гостиницы.

На веранде Рощин. Перед ним огромная бутылка коньяку и малюсенькая рюмка.

Расцеловались.

— Садись. Коньяку хочешь? Пить бросил.

— Видно!

— Ты сначала узнай, который день эту бутылку пью. На текущем счету стоит. Дешевле, понимаешь. Видишь, сколько отпито? Три рюмки. В три дня. По рюмке каждый вечер. Бросил! Баста! Для горла...

Заря зарделась на востоке.

Рощин требовал новую бутылку.

— Извините, все заперто-с!

— Ты давно не ел горячей колбасы?

— Лет пять.

— Я лет восемь. Теперь, брат, понимаешь, как раз готова горячая колбаса. Рюмка водки и колбаса. Едем колбасу искать!

И, направляясь нетвердою походкой к выходу, Рощин наставительно говорил:

— Ты понимаешь, с тех пор, как бросил пить, совсем перестал кашлять! Для горла хорошо. Для горла я!

В Киеве он однажды обрадовал меня известием:

— Капиталист! Коплю деньги!

— Да ну?

— Факт. Шестьсот рублей уж у Соловцова лежит. Живу, ем в гостинице. За все Соловцов платит. Мне в день на руки рубль. Больше не нужно. Зачем мне больше: живу, ем в гостинице. А остальные у Соловцова. Целее. И уговор: мне ни копейки.

— Строго!

— Понимаешь, надоело. Ну, что это, на самом деле? Никогда ни копейки.

— Разумеется!

— Нет, ты не смейся. Серьезно. Накопится денег, поеду за границу. Необходимо, знаешь. Ты куда, думаешь, мне поехать: в Италию или в Швейцарию? Раз у меня есть деньги...

В тот же вечер проектировался маленький товарищеский ужин. Рублей по десяти с человека.

И Рощин с хитрым-прехитрым видом отозвал меня в сторону.

— Знаешь, что? Вместо того чтобы наличные деньги тратить, пригласим всех ко мне в гостиницу. Кормят отлично, шампанское то же самое.

— Да ведь дорого будет стоить?

— Что ж такого? Соловцов заплатит!

— Да ведь из твоих же?

— Да ведь не наличными! Ты это пойми!

Не ребенок!

Через несколько дней я встретил Соловцова.

— Ну, что рощинские сбережения?

Он посмотрел на меня юмористически:

— В Киевскую лавру едет вместо Швейцарии. И здесь горы! Нашли человека! В гостинице занял и ко мне со счетом прислал. У меня просить, говорит, «было совестно».

Всю жизнь он говорил:

— Величайшее, брат, счастье на свете — это носить ключ от своего номера в кармане!

И всю жизнь жил не один.

Под чьим-нибудь башмаком. И из-под этого башмака рвался.

VI

Он любил женщин, и женщины любили его.

Но это был не Свидригайлов, не Санин, не сверхчеловек, решивший, что:

— Для людей исключительных и мораль нужна исключительная!

И не поручик Пирогов с его «интрижками».

В нем было нечто от Дон Жуана.

Каждый раз,— а бог свидетель, как часто это бывало! — он увлекался искренне.

С каждой новой донной Анной и даже Лаурой для него начиналась:

— Новая жизнь!

— Ты понимаешь, я играть стал лучше!

— Она из меня актера сделала!

Он мял своим приятелям крахмальные рубашки, сжимая их в объятиях.

В три часа ночи являлся будить.

— Ты спишь? Идем! Не оставляй меня одного! Ты понимаешь? Я не могу спать! Я не могу!! Она мне сказала...

Старый актер Синюшкин звал его за это:

— Институтом.

— Мужской род от «институтки».

— Институт какой-то восторженный, а не актер!

И ни к кому так не подходило:

...влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся...

К его великому прообразу,— ему казалось:

— Не та!

И он мчался дальше, к новым...

Победам?

Возрождениям!

Вечно недовольный, ничем неудовлетворенный, мчался всю жизнь куда-то дальше, дальше в искусстве, в жизни.

«Бессмертья, может быть, залог!»

VII

Этого Кина нельзя было не любить.

Его любили все.

Актрисы, актеры, товарищи, друзья, публика, встречные.

От антрепренера до его человека Николашки, в которого он каждое утро, аккуратно, запускал сапогом, когда тот его будил на репетицию.

И, справляя тризну по тебе, мой бедный друг, как же я, по нашему старому славянскому обычаю, не заколю у тебя на могиле твоего любимого коня?

— Он же ж ездит же ж на мне ж, как на коне ж!

Как же я, мой Кин, не выведу твоего Соломона?..

Антрепренер Рудзевич, устроитель всевозможнейших «поездок», любил его до безумия.

— Та ж Кола ж! Беже ж ты мой!

Тоже оригинальный представитель нашей русской богемы.

Одной очень молодой и красивой артистке, в присутствии ее высокоаристократической родни, с ужасом отпускавшей ее на сцену, он «бухнул» такой комплимент:

— Та ж у вас не лыцо, а целая дэрэвня!

— Как деревня?

Он пояснил:

— Увидит помэщик вас на сцэнэ,— сейчас дэрэвню подарит. Накажи ж меня бог!

Этот дикарь, влюбленный в актеров еще больше, чем в сцену,— в любви к Рощину доходил до мании величия.

Он привез Рощина на гастроли в какой-то городок на Волге.

Исправник спросил его «так, между прочим»:

— А что, Рощин-Инсаров хороший актер?

Надо было увидеть лицо Рудзевича:

— Да вы!.. Да вы!.. Да вы — социалысть!

Исправник даже опешил:

— Позвольте...

— Вы позвольте! Как же вы смеете такие вопросы задавать? Да знаете вы, Рощын сейчас пошлет телеграмму директору императорских театров...

Исправник, не дослушав, начал извиняться.

VIII

Человека, которого знала и любила вся Россия, убил какой-то господин Малов.

Про которого только и известно, что:

— Он убил Рощина-Инсарова.

Эта радостная для всех жизнь кончилась трагически, потому что встретились и столкнулись два миросозерцания.

К богеме, к «цыганам» пришел Алеко.

И мещанский Алеко.

О, эти мещане с их добродетелью!

Которые не прощают флирта и прощают себе убийство.

Убивают и остаются жить.

Они протестуют против смертной казни, а на каждом шагу, каждый день пятнают жизнь кровавыми пятнами.

Судят и палачествуют.

За малейший проступок.

За тень малейшего проступка.

Племя злое, тупое и жестковыйное.

О, эти предусмотрительные люди, являющиеся к приятелям с револьвером в кармане.

И все это, видите ли, во имя морали! Во имя, видите ли, добродетели!

Бедная артистическая богема, ты можешь ответить этим узколобым, жестоким мещанам морали:

Мы дики, нет у нас законов,
Не нужно крови нам и стонов...
Мы не терзаем, не казним...

И к любви относимся, как к любви,— с радостной улыбкой. И к флирту относимся, как к флирту,— с улыбкой снисхождения.

Сколько прекрасных произведений искусства, сколько высоких минут восторга дала ты, радуясь и страдая, богема! И что, какую радость миру дали эти палачи «во имя морали»?

Что случилось?

За товарищеским ужином, когда было выпито немало шампанского, актер хотел нравиться.

Это их профессия. Это их естество.

Цветы пахнут.

Это им свойственно.

И нравиться он хотел по-актерски.

В разговоры он искусно вплетал отрывки из подходящих монологов.

И так как он был талантливым человеком, то выходило это у него блестяще.

Что еще больше злило мужа.

Если бы был человек менее жестокий, но более находчивый,— он сказал бы:

— Ты отлично учишь роли. Молодец!

И сразу бы снял эту мишуру.

Все обратил бы в смех.

В смех над Рощиным.

А бедный Рощин!

Как раз в это время у него в номере гостиницы сидела какая-то хористка, из-под стоптанного, вероятно, туфля которой он выбивался.

У него давно не было «красивого романа».

— И вдруг «объяснение» монологами.

На полутонах!

Да еще после ужина,— это, должно быть, ему казалось тонким, эффектным до бог знает чего!

Ведь он же актер!

Утром, проснувшись, ты сам, вероятно, посмеялся бы над вчерашним «спектаклем».

Но «страж морали»,— и с револьвером в кармане,— уже здесь.

Я вижу эту сцену.

И, зная Рощина, представляю ее себе.

Рощин —

...Любовью связан
Совсем с другой, совсем с другой.

За перегородкой хористка.

Вот что страшно!

Услышит:

— Такую потом сцену запалит!

Он спешит умыться, чтобы идти объясниться:

— Только не дома!

А г-н Малов, с револьвером в кармане, ходит по комнате:

— Моя честь!

— Какая там честь!

Бывший гусар,— актер! — не мог произнести «чести»,— «чэ-эсть!» — пренебрежительно.

Он сказал:

— Какая там честь,
чтоб добавить:

— Ни на какую твою честь я не покушался!

Но в эту минуту — пуля, сзади уха, в затылок.

За одно, недоговоренное, слово — смертная казнь.

И это осталось безнаказанным.

С моего пера готовы сорваться безумные слова.

И в душе поднимается волчий вой.

...Бог, дышащий огнем!
Бог, топчущий, как глину, своих врагов!
Бог, мстительный до третьего колена!

Но...

Хорошо, что тебе попался хоть ловкий палач.

Который кончает сразу:

— Без мучений.

Ты перестал существовать, даже не заметив этого.

Из этого мира, где ты оставлял так много, ты исчез, даже не успев о нем вздохнуть.

После красивой жизни — легкий конец.

Спасибо судьбе хоть за это.

ГАМЛЕТ

Мистер Крэг сидел верхом на стуле, смотрел куда-то в одну точку и говорил, словно ронял крупный жемчуг на серебряное блюдо:

— Что такое «Гамлет»? Достаточно только прочитать заглавие: «Гамлет»! Не «Гамлет и Офелия», не «Гамлет и король». А просто: «Трагедия о Гамлете, принце датском». «Гамлет» — это Гамлет!

— Мне это понятно! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Все остальное неважно. Вздор. Больше! Всех остальных даже не существует!

— Да и зачем бы им было и существовать! — пожал плечами г-н Немирович-Данченко.

— Да, но все-таки в афише...— попробовал было заметить г-н Вишневский.

— Ах, оставьте вы, пожалуйста, голубчик, с вашей афишей! Афишу можно заказать какую угодно.

— Слушайте! Слушайте! — захлебнулся г-н Станиславский.

— Гамлет страдает. Гамлет болен душой! — продолжал г-н Крэг, смотря куда-то в одну точку и говоря, как лунатик.— Офелия, королева, король, Полоний, может быть, они вовсе не таковы. Может быть, их вовсе нет. Может быть, они такие же тени, как тень отца.

— Натурально, тени! — пожал плечами г-н Немирович-Данченко.

— Видения. Фантазия. Бред его больной души. Так и надо ставить. Один Гамлет. Все остальное так, тень! Не то есть, не то нет. Декораций никаких. Так! Одни контуры. Может быть, и Эльсинора нет. Одно воображение Гамлета.

— Я думаю,— осторожно сказал г-н Станиславский,— я думаю: не выпустить ли, знаете ли, дога. Для обозначения, что действие все-таки происходит в Дании?

— Дога?

Мистер Крэг посмотрел на него сосредоточенно.

— Дога? Нет. Может идти пьеса Шекспира. Играть — Сальвини. Но если на сцене появится собака и замахает хвостом, публика забудет и про Шекспира, и про Сальвини и будет смотреть на собачий хвост. Пред собачьим хвостом никакой Шекспир не устоит.

— Поразительно! — прошептал г-н Вишневский.

— Сам я, батюшка, тонкий режиссер! Но такой тонины не видывал! — говорил г-н Станиславский.

Г-н Качалов уединился.

Гулял по кладбищам.

Ел постное.

На письменном столе положил череп.

Читал псалтырь.

Г-н Немирович-Данченко говорил:

— Да-с! Крэг-с!

Г-н Вишневский решил:

Афишу будем печатать без действующих лиц.

* * *

Г-н Крэг бегал по режиссерской, хватался за голову, кричал:

— Остановить репетиции! Прекратить! Что они играют?

— «Гамлета»-с! — говорил испуганно г-н Вишневский.

— Да ведь это одно название! Написано: «Гамлет»,— так Гамлета и играть? А в «Собаке садовника», что ж, вы собаку играть будете? Может быть, никакого Гамлета и нет?!

— Все может быть! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Дело не в Гамлете. Дело в окружающих. Гамлет — их мечта. Фантазия. Бред. Галлюцинация! Они наделали мерзостей — и им представляется Гамлет. Как возмездие!

— Натурально, это так! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Надо играть сильно. Надо играть сочно. Надо играть их! — кричал мистер Крэг,— декорации! Что это за мечты о декорациях? За идеи о декорациях? За воспоминания о декорациях? Мне дайте сочную, ядреную декорацию. Саму жизнь! Разверните картину! Лаэрт уезжает. Вероятно, есть придворная дама, которая в него влюблена.

Это мне покажите! Вероятно, есть кавалер, который вздыхает по Офелии. Дайте мне его. Танцы. Пир! А где-то там, на заднем фоне, чрез все это сквозит... Вы понимаете: сквозит?

— Ну, еще бы не понимать: сквозит! Очень просто! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Сквозит, как их бред, как кошмар,— Гамлет!

— Я думаю, тут можно будет датского дога пустить? — с надеждой спросил г-н Станиславский.

Мистер Крэг посмотрел на него с восторгом.

— Собаку! Корову можно будет пустить на кладбище! Забытое кладбище! Забытые Иорики!

— Ну, вот. Благодарю вас!

Г-н Станиславский с чувством пожал ему руку.

Г-н Качалов стал ходить на свадьбы, посещать Литературный кружок, беседовать там с дантистами,— вообще, начал проводить время весело.

Г-н Вишневский спрашивал встречных:

— Какие еще бывают в Дании животные? Мне для Станиславского. Хочется порадовать.

Г-н Немирович задумчиво поглаживал бородку:

— Неожиданный человек.

Мистер Крэг даже плюнул.

— Чтоб я стал ставить эту пьесу? Я? «Гамлета»? Да за кого вы меня принимаете? Да это фарс! Насмешка над здравым смыслом! Это у Сабурова играть. Да и то еще слишком прилично!

— Да, пьеса, конечно, не из удачных! — согласился г-н Немирович-Данченко.

Бессмыслица! Ерунда! Сапоги всмятку! Пять актов человек колеблется, убить ли ему Клавдия,— и убивает Полония, словно устрицу съел! Где же тут логика? Ваш Шекспир,— если он только существовал,— был дурак! Помилуйте! Гамлет говорит: «Что ждет нас там, откуда никто еще не приходил?» — а сам только что своими глазами видел тень своего отца! С чем это сообразно? Как можно такую ерунду показывать публике?

— Конечно! — сказал и г-н Станиславский,— но мне кажется, что, если на сцену выпустить датского дога,— появление собаки отвлечет публику от многих несообразностей пьесы.

— И гиппопотам не поможет! Нет! Хотите играть «Гамлета» — будем играть его фарсом! Пародией на трагедию!

Г-н Вишневский говорил знакомому генералу:

— А вы знаете, ваше превосходительство, ведь Шекспира-то, оказывается, нет!

— Как нет, мой друг?!

— Так и нет. Сегодня только выяснилось. Не было и нет!

Г-н Немирович-Данченко ходил, зажав бороду в кулак.

— Парадоксальный господин!

* * *

— Друг мой! — кинулся мистер Крэг.

Г-н Немирович-Данченко даже вскрикнул.

Так Крэг схватил его за руку.

— Какую ночь я провел сегодня! Какую ночь! Вчера я взял на сон грядущий книгу. Книгу, которую все знают! Книгу, которой никто не читает, потому что все думают, будто ее знают! «Гамлет»!

Мистер Крэг схватил г-на Немировича-Данченко за плечо.

— Какая вещь! Так каждый день смотришь на свою сестру и не замечаешь, что она выросла в красавицу! Первая красавица мира!

Мистер Крэг схватил его за ногу.

— «Буду весь в синяках!» — подумал с отчаянием г-н Немирович-Данченко.

— Какая вещь! Эти слова: «Быть или не быть?» А? Мороз по коже! Или это: «Ты честная девушка, Офелия?» А? Ужас-то, ужас?! Нет, вы понимаете этот ужас?!

— Кому ж и понять! — сказал г-н Немирович-Данченко, становясь подальше.— Шекспир!

— Гений! Гений! Давайте репетировать «Гамлета»! Сейчас! Сию минуту! День и ночь будем репетировать «Гамлета»! Ни пить, ни есть! Давайте ничего, ничего не делать всю свою жизнь, только играть «Гамлета». Без перерыва! Играть! Играть!

— Про собаку разговору не было? — осведомился г-н Станиславский.

— Владимир Иванович, как же теперь,— полюбопытствовал с тревогой г-н Вишневский,— насчет Шекспира? Есть Шекспир или нет Шекспира?

— Вот вопрос! — пожал плечами г-н Немирович-Данченко,— как же Шекспиру — и вдруг не быть?

— Ну, слава богу!

Г-н Вишневский облегченно вздохнул:

— А то, знаете, привык к Шекспиру,— и вдруг его нет. Прямо, словно чего-то недостает.

Г-н Станиславский крутил головой.

— Большой энтузиаст!

* * *

Мистер Крэг посмотрел на вошедших к нему господ Немировича-Данченко и Станиславского с глубоким изумлением.

— Чем могу служить, господа?

— Да мы насчет «Гамлета»! — сказал г-н Немирович-Данченко.

Мистер Крэг переспросил:

— Как вы сказали?

— Гамлета.

— Гамлет?! Это что же такое? Город, кушанье, скаковая лошадь?

— Гамлет! Пьеса Шекспира!

— Кто ж это такой, этот Шекспир?

— Боже мой! Драматург!

— Н-не знаю. Не припомню. Не слышал. Может быть. Что ж он такое сделал, этот господин, про которого вы говорите?

— «Гамлета» написал.

— Ну, и господь с ним! Мало ли пьес пишут!

— Да, но вы... ставить... в нашем театре...

— Извините, господа! Кто-то написал какую-то пьесу. Кто-то зачем-то хочет ее играть. Мне-то до всего этого какое дело? Извините, господа! Я думаю сейчас совсем о другом!

И мистер Крэг погрузился в глубокую задумчивость.

— Капризный у человека гений! — погладил бороду г-н Немирович-Данченко.

— Придется вместо «Гамлета» на сцену просто датского дога выпустить! — вздохнул г-н Станиславский.— Не пропадать же догу.

А г-н Вишневский так даже заплакал:

— Господи! Я-то всем знакомым генералам, графам, князьям даже говорил: «Гамлет»!

Е. Я. НЕДЕЛИН

Опочил после многих лет радостного творчества артист Неделин. Благодарная память ему. Память?.. От актера не остается ничего.

Это не так.

Актер умирает совсем только тогда, когда умирает последний из его зрителей.

Хорошая игра — как горячий поцелуй.

Это длится мгновенье, но память об этом остается в сердце, пока оно бьется.

Нет, память об актерах самая яркая.

И воспоминания об актерах самые сильные.

Это был прекрасный артист.

Талантливый, умный, интеллигентный, с хорошим вкусом.

Отличное сочетание.

В этом мире, где создают иллюзии для других и сами живут иллюзиями.

Всякий актер считает себя не тем, что он есть.

Великий комик Пров Садовский воображал себя трагиком и играл «Короля Лира». Великий Эрнст Поссарт уверен, что он гениальный:

— Водевильный актер.

И больше гордится тем, как играет Камуфлета в «Чашке чаю», чем Мефистофелем и Ричардом III.

В. Н. Давыдов играет в провинции Лаврецкого в «Дворянском гнезде» и, говорят, всю жизнь промечтал сыграть Гамлета.

Е. Я. Неделин считал себя:

— Фатом.

У него была для этого амплуа колоссальная коллекция самых необыкновенных цилиндров, самых поразительных редингoтов, смокингов, визиток, какой-то особой ширины шнурки для пенсне, ботинки всех возможных форм.

Театральная суета сует!

Он был то, что на языке сцены называется актер:

— На характерные роли.

И тут он создавал скульптурные фигуры.

Передо мной прекрасная декорация Грановитой палаты.

Красный звон московского Кремля.

Соловцов привез из Москвы преизрядные колокола и в лавре нашел звонаря-художника.

Изнемогая под тяжестью парчового одеяния, на трон поднимается Рощин — Борис.

Перед ним проходят послы.

И вот среди них выступает...

Не идет, а выступает блестящий Лев Сапега.

Глубокий, но полный какого достоинства поклон.

— Король наш, третий Жигимонт...

Он делает паузу, приосанивается еще больше и с весом роняет:

— ...и мы, паны...

Пред самодержцем говорит представитель конституционного государства.

И дает понять разницу.

Одной интонацией предупреждает, с кем надо считаться.

Роль Сапеги написана у графа Алексея Толстого тонко.

Сапега хорошо говорит по-русски.

И лишь время от времени у него проскочит то польское, то латинское слово.

И Неделин ведет чутко по замыслу автора.

И только чуть-чуть дает проскользнуть польскому акценту.

— Ты новую вчинаешь династию, и тебе невместно летигиум тот тяжкий пильновать.

Едва слышное ударение в «пильновать» и окончание, в котором едва слышно:

— Пильно́ватць.

И перед вами куртуазный, старающийся отлично говорить по-русски польский магнат.

Какой оживший старинный портрет!

Передо мною кабинет, обитый зеленым шелком с вытканными золотыми лавровыми венками.

Дежурство звякнуло шпорами, палашами и застыло, отдавая честь.

В широко раскрывшиеся двери быстрой, нервной, неровной, стремительной походкой вошел небольшой человек, с бледным лицом, с глазами исподлобья.

Белый жилет. Большой палец правой руки за пуговицей.

Оглянул всех быстрым, острым взглядом.

Взглядом, от которого не скроется ничего.

Жуткая фигура!

И заговорил отрывистым, с хрипотой голосом.

Словно каждую секунду повелевая.

В манере говорить слышна привычка:

— Командовать.

Когда он волнуется, у него начинает дрожать правая нога. Когда кто-нибудь говорит больше двух слов, он начинает хмуриться. Он всех перебивает. Груб,— и, боже, какой актер! Каким красивым жестом берет, и шутя, за ухо Фуше, с какой красотой целует руку мадам Сан-Жен. Какая страсть рисоваться. Какое стремленье всех очаровывать!

— Откуда вы взяли такого Наполеона? Величественного и невоспитанного? Орла и «мирового комедианта»? — спросил я у Неделина.

— Я делал его по Тэну.

Сама мадам Режан не имела счастья играть с таким Наполеоном.

Я пересмотрел много Наполеонов в разных пьесах, от самого Поссарта.

И еще недавно, в Париже, зайдя в Дом инвалидов, чтобы еще раз взглянуть на «могилу»,— могилу, окруженную знаменами, могилу, около которой написано:

— Аустерлиц... Москва...

я мысленно видел того, кто лежит в этой «могиле», таким, каким мне нарисовал его Неделин.

Не знаю, мог ли самый горячий поклонник воздать высшую хвалу любимому артисту.

Большое искусство актера.

Он сам художник, и сам тот мрамор, из которого создает свои произведения.

С талантом, с умом, с тонким вкусом Неделин находил в себе черточки, чтобы создать образы и Сапеги, и Наполеона, и доктора из «Дяди Вани».

Как богато одарен он был природой!

Я встретился с Евгением Яковлевичем Неделиным недавно, мельком, в фойе оперного театра.

Бедный Неделин был тенью самого себя.

На пожатие ответила бессильная рука. У него было восковое лицо. Усталые от страданья глаза.

Он был:

— Не жилец на этом свете.

А еще утром я прочел о нем в газете, что вчера:

— Неделин играл, как всегда, как большой художник.

Никто из «соловцев»,— из могучих актеров могучей соловцовской труппы,— не пережил своего таланта.

Старейший из них, Киселевский, умер в день своего бе-

нефиса, во цвете лет и сил умер сам Соловцов, нежданно, в полном расцвете таланта и работы умер Чужбинов, для бедного и милого Рощина нежданный мрак настал тогда, когда он только что ступил на новую ступень в искусстве, «Царем Борисом» вошел в трагедию и стал мечтать о «Макбете»...

И теперь Неделин ушел, еще чаруя зрителей своим талантом. Словно соблюдая какую-то традицию соловцовской труппы.

Для всех для них рампа гасла среди действия, среди игры, среди творчества.

Никто не дожил:

— До ущерба таланта.

И все ушли из жизни, не зная:

— Скуки эпилога.

ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ АКТЕР

Сегодня, в день первого русского актера, любопытно набросать силуэт:

— Последнего русского актера.

Новорожденного.

Ему 20 лет. Прекрасный возраст!

У него длинные белокурые волосы, закрывающие уши, как у танцовщицы Клео де Мерод. И уайльдовское лицо.

Еще несколько лет тому назад это возбуждало любопытство.

Теперь примелькалось:

— Слишком много носят.

Слишком много «уайльдов»!

Все, что было до него, он признает:

— Никуда не годным.

Пьесы, постановки, игру.

Авторов, режиссеров, актеров.

Будет стремиться:

— Внести что-то новое.

Необходимо ненавидеть старое.

Иначе не захочешь новизны.

Он глубочайше уверен, что:

— Театр переживает кризис.

— Театр гибнет.

Он добавляет:

— Театр, как таковой.

Хотя при чем тут «как таковой» — неизвестно.

Так умнее!

Он особенно любит говорить о театре.

Больше даже говорит о театре, чем играет.

И говорит не в каких-нибудь трактирчиках, как прежде.

А на разных «вторниках», «средах», «четвергах», «пятницах», «субботах», «воскресеньях», «понедельниках».

В Политехническом музее, в других местах, где собираются люди, которым решительно:

— Не на что убить время.

Послушать его:

— Театр гибнет.

— Театр уже погиб.

И это заставляет с большей надеждой взирать на него.

— Может быть, он спасет?

К прежнему актерскому быту, протекавшему не в аудиториях и музеях, он относится с брезгливой улыбкой:

— Пьяный, безграмотный народ.

Он терпеть не может того, что существует:

— Старье, которым завалены казенные сцены.

— Жалких ремесленников, которые играют на частных, чтоб не сдохнуть с голода!

Это прекрасно.

Будьте всегда недовольны существующим.

Недовольство — это самое плодотворное состояние человеческой души.

Недовольство — это беременность ума.

О старых актерах он слушает со снисходительной улыбкой.

О старом театре тоже.

— Такова была публика. Она ходила в театр смотреться в зеркало. И довольствовалась зеркалами, которые ее уродовали. Как кухарка, лучших не видевшая.

О старых «великих» он слушает, пожимая плечами:

— Д-да. Для своего времени, для тех требований это, вероятно, было удовлетворительно.

Он, собственно, желал бы, чтобы все это старое:

— Поскорей передохло.

Немножко каннибальски.

Но естественно.

Человечество делится, говорят, на два борющихся лагеря:

— Мужчин и женщин.

Каждый лагерь делится на два враждующих стана:

— Стариков и молодых.

Молодежь не может не ненавидеть стариков.

Старики мешают ей жить:

— По-новому.

Если бы все старше сорока лет в один действительно прекрасный день сразу умерли, свет сделал бы скачок вперед на три столетия.

Новый актер клянется Комиссаржевской, которой никогда не видел, бредит Гордоном Крэгом, о котором знает мало, и Максом Рейгардтом, о котором, собственно, ничего не знает.

Он поклоняется:

— Режиссеру.

Этакому умиленному режиссеру, которых развелось теперь больше, чем актеров.

Который с особой сладостью,— словно в него положили четыре куска сахару,— рассказывает свои:

— Настроения и переживания.

— Когда Константин Сергеевич (Станиславский) почесал левую бровь и сказал: «М-да-с!», это, знаете, было откровение... Откровение, говорю вам...

— Но в чем же откровение?

— Это, знаете, трудно выразить... Это настроение... переживание... открылись возможности... этакие достижения...

— Ей-богу, ничего не понимаю!

— Очень о вас жалею! А мы поняли!

Старый актер с режиссером был на ножах.

— Не учи!

Новый считает шиком «смотреть на себя, как на глину».

— Лепите!

Это скверно.

Очень старо, но страшно умно:

— Не сотвори себе кумира!

Никаких кумиров!

Лежа ниц, не двинешься вперед.

Куда, однако, вперед?

Новый актер говорит:

— Публика ищет теперь в театре новых эмоций.

Но каких?

Не говорит.

Или секрет. Или не знает.

А откуда-то из глубины «прет», побеждает, вновь захватывает, заинтересовывает публику:

— Старый репертуар.

Настроения... переживания... достижения... скрытые возможности...

Все это интересует только гимназистов, ходящих по контрамаркам.

Все это, вероятно, хорошие вещи.

Но их:

— Делать не умеют!

В искусстве важно не только:

— Что?

Одинаково, если не больше, важно:

— Как?

Кто же этот новорожденный, последний господин сцены с прической Клео де Мерод и уайльдовским лицом?

Действительно:

— Революционер?

Или только:

— Неуважай-Корыто?

ВЕЛИКИЙ КОМИК

На банкете в честь Варламова один присяжный поверенный поднялся и сказал:

— Глубокоуважаемый Константин Александрович! Вы наш национальный артист. У вашего таланта русская душа. Мы — народ защиты! Везде. В жизни, в суде, на сцене. Когда перед нами изображают человека, ни за что, ни про что убившего совершенно неповинную женщину, мы требуем: «Нет! Ты так сыграй, чтобы мне не Дездемону, а Отелло было жалко!»

И только тогда считаем актера «истинно великим», если он так показал нам душу мудро, что мы признали за Отелло несчастье, а не преступление, оправдали его, пожалели и, кажется, были бы готовы отдать за такого человека свою собственную дочь!

Чарующая нелогичность русской души!

Константин Александрович! Вы провели за 35 лет не-

совместимое количество процессов, невероятное количество защит,— вы сыграли что-то вроде 800 пьес! Я беру из них три.

И в первую голову ту, которою вы с любовью украсили свою юбилейную афишу:

«Правда хорошо, а счастье лучше».

Вам угодно было быть «именинником на Грознова».

Что такое отставной унтер-офицер Сила Ерофеевич Грознов?

Если взглянуть по-прокурорски:

— Альфонс и шантажист.

Грознова полюбила молодая девушка, и он за это брал с нее:

— Всякие продукты и деньги.

Затем девушке бог помог хорошо выйти замуж. Муж строгий.

Грознов явился.

При виде Грознова «взметалась» она: он испугался. Дрожит, вся трясется, так по стенам и кидается.

И Грознов вымогал с нее деньги.

— Раза три я так-то приходил...

Грознов у вас, Константин Александрович, затрудняется, как назвать то, что он делал.

Крутит палкой. Ищет слова.

И с трудом находит:

— Тиранил ее.

Это потому, что он не знает слова:

— Шантажировал.

Было бы точнее.

Да и что на наших глазах над этой несчастной женщиной, ставшей уже почтенной, всеми уважаемой старой купчихой Барабашевой, проделывает Грознов, как не шантаж?

Является, припоминает старое, грозит какой-то взяткой у темной женщины, страшит клятвой, от которой должно «нести всякого человека»:

— На море, на океане, на острове на Буяне.

И вот к этому подсудимому, чистосердечно дающему про себя такие убийственные показания,— подходите вы с вашей русской душой защитника.

Своим талантом вы сразу ставите диагноз, но точный и глубокий. Одной интонацией, одной страшно короткой, короче воробьиного носа, фразой вы говорите больше, чем другие сказали бы в длинной защитительной речи:

— И деньги-то она мне тычет, и перстни-то снимает с рук, отдает. А я все это беру!

Грознов у вас произносит:

— А я все это беру!

с такой глубокой уверенностью в своей правоте, с таким убеждением:

— «Это хорошо!»

что театр всегда в этом месте разражается хохотом.

Не может не разразиться.

Как нельзя удержаться, нельзя не смеяться, когда ребенок по наивности «хватит» иногда при всех такую вещь, о которой не только говорить, думать-то «не следует».

Детям мы строго замечаем:

— Нехорошо!

Но все-таки не можем удержаться от смеха.

Не исправлять же старика Грознова! Поздно. И мы просто разражаемся смехом.

Нам сразу после одной фразы, благодаря одной фразе, понятно все.

Да ведь это по нравственному своему уровню — ребенок!

Такое же темное существо, как ребенок.

Можно ли? Справедливо ли с него взыскивать?

Шантажист говорил бы:

— А я беру!

с похвальбой. Негодяй — со скверным смешком над своей бессильной жертвой.

У вас Грознов говорит это просто.

Спокойно.

Констатирует факт.

Ему в голову не приходит, что тут можно чего-нибудь стыдиться.

«Ева до грехопадения».

Не знает разницы между добром и злом.

И уже пусть там политики, социологи, экономисты и историки выясняют, как могли в стране представители массы удержаться в такой умственной и нравственной темноте.

Пусть они разберутся, благодаря каким историческим, политическим, социальным условиям у народа, как вывод мудрости из всей его жизни, могла родиться такая безнравственная пословица:

«Правда хорошо, а счастье лучше».

Вы — защитник. Вы имели дело с отдельным человеком.

Своей защитой вы показываете его нам:

— Вот он каков. Можно ли его судить?

И своим добродушным смехом мы уже вынесли оправдательный вердикт.

— Виновато многое, но он — он не виноват.

И мы с любопытством и с веселым смехом следим за похождениями «Евы до грехопадения».

За курьезным, за неожиданным умозаключением.

— А кому вы должны?

— Купцу.

— Богатому?

— Богатому.

— Так не платите. Купец от ваших денег не разбогатеет, а себя разорите.

Грознову смешно даже: платить,— раз купец, да еще богатый!

— Смешно! Руки по локоть отрубить надо, которые свое добро отдают!

Вы — неподражаемый артист. Как передать тон глубокого убеждения, которым у вас Грознов говорит свои сентенции!

— Серебра-то у нас пуды лежат!

Хорошо, у него серебра много.

Он говорит это без вздоха.

Без зависти.

Спокойно. Даже торжественно.

Это его мудрость.

Это мудрость ребенка.

— Да ведь срам, подумайте, когда в «яму» за долг посадят! — говорят ему.

Грознов удивленно:

— Нет, ничего! Там и хорошие люди сидят, значительные, компания хорошая. А бедному челевеку-таки на что лучше: квартира теплая, готовая, хлеб все больше пшеничный.

И даже когда Грознов рассказывает, как он понимает свои правила жизни,— это только новый курьез с «Евой до грехопадения».

— Вот у меня деньги — и много, а я вам не дам!

Неожиданность мысли, которая даже бедную Зыбкину ошеломляет.

— Что вы говорите?

— Говорю: денег много, а не дам.
— Да почему же?
— Жалко.
— Денег-то?
— Нет, вас.
— Как же это?
— Я проценты очень большие беру.

И когда Грознов сказал это, у вас, Константин Александрович, процесс о ростовщичестве выигран в его пользу!

Он сам у вас недоумевает, зачем он это делает.

— Деньги на что вам: вы, кажется, человек одинокий?
— Привычка такая.

С какой покорностью судьбе говорит это вам Грознов:

— «Что ж, мол, поделаешь, ежели привычка?»

Что же, это кретин?

Нет!

В его маленьких хитрых глазах светится ум и много житейской сметки, он любит, делает добро, ненавидит,— как человек.

Только в области нравственности он рассуждает, как ребенок.

Слава богу, автор с такой же мягкой, доброй, стремящейся проникнуть, понять, оправдать душой, русской «душою защитника», не толкнул этого персонажа натворить зла. Напротив, Грознов нечаянно сделал доброе дело.

И мы выходим из театра.

Молодые зрители, рассуждая о тех условиях, которые родят «темноту», и осуждая их.

Но все без малочеловеческого чувства отвращения к человеку, с улыбкой вспоминая старика Грознова.

Оправданного нами за «неведение».

С добродушной улыбкой над Грозновым, с чувством глубокой благодарности к делам великого и человечного художника.

С чувством благодарности присяжного к защитнику, который раскрыл ему истину о душе подсудимого и дал возможность вынести умный и справедливый приговор.

Пьеса «Не все коту масленица».

На скамье подсудимых купец Ермил Зотыч Ахов.

Если рассказать «дело»,— возмутительное «дело»!

Целых три акта издевательства!

Самодурство и издевательство. Все над слабыми. Все над бедными.

Возмущение берет и на автора!

Тут драма. Как же из этого сделать комедию?

Где тут место для смеха?

Но выслушаем защитника.

Вы подходите к подсудимому, Константин Александрович, и одним штрихом...

Вот преимущество изумительного таланта! Я тут целый час стараюсь обрисовать вас, а вы одним штрихом рисуете человека.

Всего человека. С головы до ног.

Вот чудо вашего таланта! Вы одним мазком рисуете целую картину!

Вы подходите к подсудимому Ахову и, среди сумбура диких мыслей, странных чувств этого самодура, находите сразу одну фразу, нужную для вас, которая все объясняет:

— Я человек богатый!

С каким убеждением, с каким величием Ахов у вас произносит эту фразу.

Если бы бог Олимпа захотел похвастаться, он таким тоном произнес бы:

— Я — бог!

И всякий раз, когда в роли встречается эта фраза, вы выдвигаете ее на первый план.

Ахов все объяснил про себя.

Люди делятся не на добрых и злых, не на хороших и дурных, не на честных и бесчестных.

Люди делятся на:

— Богатых и бедных.

«Я человек богатый».

Зачем ему еще добавлять, что он честен, хорош или добр.

Разве этим не сказано все?

Этакий «экономический материалист»!

И все, что дальше говорит и что делает Ахов, является только курьезным развитием этой основной курьезной мысли.

Мрачный образ превратился в грандиозную нелепость:

— Я человек богатый!

Это корень и ствол.

Все остальное — только неожиданные и причудливые отпрыски этого самого ствола и корней.

И мы ждем, как ждут развития интересного тезиса.

Ждем с любопытством, заранее готовые фыркнуть от смеха.

Какие заповеди он создает этой веры!

Я все могу. Могущественный я человек!

Богатый человек,— ну, гордись, превозноси себя.

Богатый человек,— ну, гордись, невежество сделал, ты его почитаешь.

Ах, свинья!

Он так и подозревает, что у всех является мысль поклониться ему в ноги:

— Тебя ведь давно забирает охота мне в ноги кланяться, а ты все ни с места!

— Ну, ну, Ахов. Как ты разовьешь свою нелепую мысль?

Он только удивляется и умиляется,— даже умиление вы даете, Константин Александрович, в этих словах!— удивляется: какое счастье привалило бедным людям!

— Думала ли ты, гадала ли...

Как вы проникновенно допрашиваете, Константин Александрович!

— Гадала ли, что я тебя так полюблю?

Каким недоумением звучат ваши слова. Ахов понять даже не может!

— Ты каким это угодникам молилась, что тебе такое счастье привалило?

Какое живописное миросозерцание!

Что такое честь?

Честь делает Ахов,— как луну делает в Гамбурге хромой бочар.

— Была у вас честь, да отошла. Делал я вам честь, бывал у вас. У вас в комнате-то было светлее от того только, что я тут.

Послушайте! Да ведь это же Людовик XIV и в то же время сам свой собственный Боссюэ!

Ведь это Боссюэ в одной из надгробных речей на прекраснейшем языке развивал величественную мысль, что господь бог занимается только судьбой принцев, а судьбой простого народа представлено заниматься принцам.

— Кому нужно для вас, для дряни, законы писать? Мелко плаваете, чтобы для вас законы писать!

Ведь это же мысли Боссюэ, только, конечно, иначе выраженные,— я думаю!

Чтобы все эти изречения какого-нибудь Ахова запом-

нились так, как они запомнились мне, нужно их произнести Константину Александровичу!

Произнести с таким глубоким убеждением, какое вкладываете в них вы!

Что за картина забавного «горделивого помешательства»!

И за нею скрылся, исчез издевщик, чуть не изверг-самодур.

И вот этот человек, пропитанный столь величественными мыслями, плачет.

Забавно для нас.

Горько для себя.

И искренне плачет у вас, Константин Александрович.

Не на посмеяние вы даете в эту минуту вашего клиента. Он горько и искренне плачет у вас:

— Как жить?! Как жить?! Родства народ не уважает, богатству грубить смеет!

И мы понимаем его.

Смеемся, но понимаем, что он это искренне:

— Умереть уж лучше поскорее, загодя.

Что он совершенно уверен в близости светопреставления, раз «они не лежат в ногах у него по-старому».

Умереть! Все равно ведь: разве свет-то на таких порядках долго простоит?!

Искренние следы вашего Ахова говорят о глубоком его убеждении.

И мы понимаем, откуда родилось это убеждение и почему стало оно таким глубоким.

— С начала мира заведено! Так водится у всех на свете добрых людей! Это все одно, что закон!

— Я — почтенный, первостатейный! Мне в пояс кланяются!

«Он ли виноват, или родители его?»

В поклоне столько же развращенного, сколько разврата в приказании кланяться.

Его искалечили. Он искалечит других.

Его греха ради не наказывают.

— Дела твои осуждаю, но не тебя! — говорят наши сектанты прибегающим к ним преступникам.

Выставляя целую серию самодуров в смешном, жалком виде, вы клеймите самодурство,— но для каждого отдельного человека у вас есть доброе слово и доброе чувство, в котором нуждается, на которое имеет право всякий человек.

И вы, делая это, прекрасный и великий артист, продолжаете то же дело, какое делал прекрасный и великий писатель, нашедший в вас достойного исполнителя.

Не удивительно ли на самом деле?

Островский осмеивал московское купечество,— и именно московское купечество любило его.

Любило, вероятно, за то, что за насмешкой над бытом, над законами жизни видело снисходительную, человечную улыбку жертвам этого быта.

И тем, кого калечат, и тем, кто, будучи искалечен бытом, сам невольно калечит других.

В Островском находили они свое обвинение и свое оправдание.

Так подсудимый уважает в судье справедливость и любит милосердие.

Я не остановлю долго вашего внимания на пьесе «Не в свои сани не садись».

Что за неприятное название!

Какая не буржуазная даже, а уже мелко мещанская ничтожная мораль.

Почему это «не в свои сани не садись», когда весь прогресс только и основан на том, что люди хотят «сесть не в свои сани»?

Если бы каждый сын кухарки мечтал только сделаться поваром,— весь мир превратился бы в свиней, ушедших в свою грязь.

Мы не можем сочувствовать ни идеям, ни морали Русакова.

Ни торжеству такой идеи.

Но вы, великий чародей защиты, сквозь эти давно отжившие идеи и взгляды Русакова, умеете показать такую вечную красоту любви, нежности, мягкости, что, не разделяя мыслей вашего «подзащитного», мы разделяем его чувства, его горе огорчает нас, далеких ему людей, а его торжество нас радует.

Послушайте! В трагедии между отцами и детьми по большей части бывают побеждены отцы, и это поражение бывает так тяжело для отцов, что удовольствие — увидеть хотя одного отца, в виде исключения, не убитого в этой битве.

Да еще в особенности такого милого, сердечного и мягкого под внешней суровостью отца, каким вы играете Русакова.

Если в других пьесах Островского театр смеется, ко-

гда вы плачете на сцене за героя, то здесь, когда ваш Русаков плачет, зрительный зал не может удержаться от слез.

Всемогущество: заставлять смеяться и плакать.

Ведь и в идеях Лира мало симпатичного, пока он не продрог в степи. Но слезы! Слезы Лира! Какие алмазы короны сравняются с этими брильянтами!

Венцом из слез покрыли вы и вашего скромного Русакова, Константин Александрович, и сумели сделать нам близким чужого и чуждого человека, как умеют сделать это большие защитники людей.

Если бы на свете была справедливость, среди братин, венков и кубков вам должен был бы быть поднесен заслуженный вами серебряный значок присяжного поверенного.

Еще одно слово.

Говоря о разных ваших подзащитных, я все время говорил, в сущности, о вашем одном, вечном, бессмертном клиенте.

Александре Николаевиче Островском.

Против него много обвинений: и устарел, и отсталый, и быта такого нет. И быт совсем не нужен.

Вы блестяще его защищаете, вашего великого клиента. Вы отыскали в нем такие перлы правды и любви к людям, справедливости и лучшей жалости, что ваша защита всегда вызывает гром аплодисментов.

Благодарностью почтим память русского писателя...

За ваше драгоценное для искусства здоровье, благородный человек, великий комик русской сцены!

М. Г. САВИНА

В каком-то провинциальном театре[1] играли «Прекрасную Елену».

Это было давно.

Тогда «Елену» ставили с благоговением.

— Последнее слово искусства-с!

Играли не «по вымаркам», как теперь, а такою:

— Как она вышла из рук своего творца — Оффенбаха.

[1] В Орле.

Запенилось, закипело, заискрилось в оркестре шампанское увертюры. Поднялся занавес.

На ступенях храма стоял Калхас.

Хор на коленях пропел:

— Перед твоим, Юпитер, а-а-алтарем!

И одна за другой стали подходить «приносительницы».

Каждая с маленьким «соло».

В четыре строчки.

Все цветы, цветы, цветы.

Существенное изменение было одно.

К храму подошла молоденькая девушка.

Небольшая, хорошенькая, со смеющимися глазами.

Сделала реверанс.

И маленьким голоском, несколько в нос, спела:

И вот моя корзина:
Она из тростника,
В ней фунта два малины
И ножки индюка.

Затем другие приносительницы.

Все с цветами, с цветами, с цветами.

И только тогда Калхас воскликнул.

С отчаянием:

— Цветы, цветы,— слишком много цветов!

Эта дебютантка «с корзиночкой» была Марья Гавриловна.

Великая русская артистка.

Савина.

Как из маленькой провинциальной актрисы она сделалась «одним из первых лиц в России»,— интересная повесть.

Повесть о русской женщине.

* * *

Мне рассказывал один старый актер, большой приятель Марьи Гавриловны.

— Самое забавное, что она долго не играет. Давно! Недели полторы-две.

Репертуар так сложится, что Савина полторы-две недели не занята.

Я получаю записку:

— «Зайдите!»

И застаю Марью Гавриловну в кресле,— унылая, глаза погасли. Кислая. «В мерехлюндии».

— Скажите. Вы знаете провинцию. Возьмут меня в провинцию?

— Отчего же! Возьмут!

— Сколько мне могли бы дать?

— Рублей сто, думаю, дадут. Может быть, полтораста. Полубенефис...

— Вы все смеетесь, а я говорю серьезно!

— Да что же мне, плакать, что ли, если вы на себя бог знает что напускаете!

— Ничего не напускаю. Меня не занимают. Я не нужна. Может быть, действительно, я больше не могу играть. Я не актриса!

Однажды я получаю от нее приглашение на масленице на блины.

— Блины в половине первого ночи.

Раньше нельзя.

Марья Гавриловна занята утром и вечером.

Отправляюсь с одним приятелем.

— Зачем эти блины? Я думаю, ей не до того. Она измучена.

Она?

Мы, приглашенные, собираемся раньше. Марья Гавриловна еще не приехала.

Сидим в гостиной.

Звонок,— и влетает. Не входит, а влетает Марья Гавриловна.

— Блины! Блины! Я страшно голодна. Скорей, скорей в столовую! Блины не ждут!

Она ест, с великолепнейшим аппетитом, без пауз, подливает нам шампанского.

Рассказывает о сегодняшнем спектакле, словно она играла в первый раз в жизни.

Ей двадцать лет!

Болтает, острит, хохочет.

На своих фотографиях М. Г. Савина пишет:

— «Сцена — моя жизнь».

Когда у нее просят автограф, она пишет:

— «Сцена — моя жизнь».

Это — «красивый жест».

Выражающий красивую правду.

Глубокую, истинную правду.

* * *

В тех пьесах, где М. Г. Савиной приходится говорить по-французски, она произносит так, как могла бы произносить артистка «Французской комедии».

По рождению она не принадлежит к той среде, где у детей:

— Первый язык — французский[1].

Откуда же у нее взялся такой удивительный французский язык?

Один из артистов Александринского театра открыл мне тайну.

При Александре III в Гатчине каждую зиму устраивался придворный спектакль.

Играли все труппы императорских театров.

Акт из оперы. Акт из балета. Одноактная французская пьеса в исполнении труппы Михайловского театра и одноактная русская — с александринскими актерами.

На спектакле присутствовала царская семья, приближенные, сановники и дипломатический корпус.

Дипломатический корпус не понимает по-русски.

И потому покойному В. А. Крылову заказывалась специальная пьеса для гатчинского спектакля.

Пьеса должна была быть «из жизни высшего общества».

Высшее общество у нас говорит сразу на двух языках: по-русски и по-французски.

Это давало возможность и пьесу написать на двух языках сразу.

Действующие лица так перемешивали русские фразы с французскими, что ни звука не понимавший по-русски дипломат мог следить за пьесой и понимал все только по одним французским фразам.

М. Г. Савиной приходилось играть пред «высшим светом».

«Публикой Михайловского театра», предубежденной против Александринского:

— Театр не для нас!

Надо было играть пред дамами высшего света даму высшего света.

Это не то, что играть «гранд-дам» перед скромным рецензентом, который на слово верит:

---

[1] Девичья фамилия Савиной — Подраменцова. Ее отец был учитель рисования.

— Гранддамисто!

Русской артистке приходилось на сцене говорить по-французски сейчас же вслед за французскими артистами.

Могла ли М. Г. Савина:

— Посрамить актрису Александринского театра!

Малейший недостаток произношения,— вы чувствуете, какую бы жалость это вызвало у этого общества.

И не посрамила.

— Но как?

— А очень просто.

Взяла себе гувернантку. И год, целый год, каждый день утром, вечером, каждую свободную минуту занималась с гувернанткой, как школьница, как маленькая девочка.

Потихоньку.

Год. Для одного спектакля в год.

Когда я узнал это, меня,— да и вас, может быть,— изумил этот удивительный:

— Труд.

* * *

Тридцать пять лет она состоит «любимицей» публики. Участие ее в пьесе всегда:

— Уже половина успеха.

Ее бенефисы всегда проходили с массой подношений, цветов, с восторженными овациями. Ее двадцатипятилетний юбилей был невиданным, неслыханным триумфом:

— Русской актрисы.

Но Петербург — город чиновников.

А для чиновников мечта — чтобы кто-нибудь сверзился.

Из высоко стоящих.

Особенно, если его лично это не касается. Кто-нибудь:

— Из постороннего ведомства.

М. Г. Савина тоже занимает высокий пост в театре.

И Петербург всегда «предвкушал» ее «отставку», как он предвкушает отставку П. А. Столыпина, как будет предвкушать отставку его преемника, кто бы он ни был.

Вряд ли особенно веселые минуты переживала Марья Гавриловна в этой тридцатипятилетней борьбе за власть.

За власть таланта.

Но вот наступал день.

День ее Аустерлица и Ватерлоо.

Попадалась настоящая пьеса.

С настоящей ролью.
В которой есть где развернуться.
Я не знаю, что делала с собой Марья Гавриловна.
Но она играла так,— гром аплодисментов, буря, треск.
Все шло насмарку:
— Нет, Марья Гавриловна все-таки остается одна.
Я помню самый отчаянный из таких Аустерлицев.
Петербург особенно ждал «отставки» от звания:
— Первой актрисы.
Как раз ни пьес, ни ролей, где можно бы дать публике «генеральное сражение».
И вдруг переделка «Идиота» Достоевского.
Как она сыграла Настасью Филипповну!
Что было в театре? Что было в публике!
Даже наименее расположенные критики, которым «надоело»:
— Все Марья Гавриловна да Марья Гавриловна, одна Марья Гавриловна.
Должны были признать:
Настасья Филипповна Савиной — это картина масляными красками. Все остальные пишут только акварели.

* * *

Когда на ее двадцатипятилетнем юбилее овации, триумф достигли небывалого, неслыханного апогея, Марья Гавриловна подошла к рампе и сделала знак, что желает говорить.
Тогда еще говорить у нас не умели.
Стало жутко.
Все стихло.
Марья Гавриловна сказала одну фразу:
— Во всем свете, быть может, найдутся люди счастливее меня,— но во всей России самый счастливый человек сегодня — я.
И гром аплодисментов покрыл эту умную и красивую фразу.
На первом актерском съезде выступила М. Г. Савина.
«Премьерша» казенной сцены.
Вы знаете, что провинциальные актеры не особенно-то любят «казенных» да еще премьеров.
И многие премьеры не решались выступить.
Савина начала эпизодом.
Однажды она играла в какой-то «бытовой» пьесе. За-

гримированная, одетая бабой, она ждала за кулисами своего выхода.

Пожарный, увидев около бабу в паневе, спросил:

— Ты какой губернии?

Савина улыбнулась:

— Тульской.

И у пожарного,— откуда-то из Тульской губернии закинутого в Петербург,— по лицу расплылась радостная улыбка.

— Мы земляки!

И, обращаясь к провинциальным актерам, когда-то провинциальная актриса Савина сказала,— она, создавшая «общество вспомоществования нуждающимся сценическим деятелям», она, создавшая «русское театральное общество»,— с искренностью сказала:

— Мы земляки!

Какой изящный ум!

* * *

Да спасет меня бог от мысли в каких-нибудь 200—300 строках описывать такое большое и исключительное явление русской жизни, как:

— Марья Гавриловна.

Я только наметил четыре элемента:

— Любовь к своему делу, талант, труд и ум.

М. Г. Савина художница русской женщины.

От Акулины во «Власти тьмы» до старой барыни в «Холопах», от девочки «Дикарки» до Натальи Петровны в «Месяце в деревне» — в созданиях Савиной, как брильянт всеми гранями, сверкает русская женщина.

Баба, помещица, аристократка, купчиха, мещанка, актриса, смешная, жалкая, страшная, трогательная, любящая мать, жена, любовница, подросток, старуха, разгульная, религиозная,— русская женщина на всех ступенях, при всех поворотах судьбы, во всяких моментах ее трудной жизни.

* * *

Савина с поездкой была в Полтаве.

Летом.

После спектакля вся труппа ужинала в клубе.

На террасе, сплошь увитой диким виноградом.

А внизу, на садовой дорожке, ужинали два каких-то туземных помещика.

Не подозревая, что около, за перегородкой, близ дикого винограда,— Савина.

Один — натура восторженная.

Другой — сумрачная.

Один все восторгался.

— Нет, ты обратил внимание, как она провела эту сцену? А? Удивительно? А как она вот эту сцену провела! Удивительно? А вот это слово сказала?!

Другой ел молча.

Наконец, не выдержал и рассердился:

— Не понимаю, чему ты удивляешься! На то она и Савина, чтобы играть хорошо.

Даже еще, кажется, чуть ли не прибавил:

— Черт ее возьми совсем!

Более лестной русской рецензии Савина не получала.

Что такое:

— Драматическое искусство?

Искусство притворяться.

Иван Иванович притворяется, что он не Иван Иванович, а принц Гамлет. И чем он лучше притворяется, тем он лучше актер.

Ему помогает в этом:

— Костюм...

Четыре разных костюма в вечер.

Четыре художественных грима в вечер.

У Савиной в каждой роли совсем иные движения.

Старая княжна, Акулина, Наталья Петровна, «дикарка» Варя ни одним жестом не напоминают, что их изображает одно и то же лицо.

За своими движениями можно следить.

Четыре разных голоса!

Сухой, стучащий, словно клюка об пол, голос старой княжны.

Грубый, глухой, которым говорит тупая душа, голос бабы Акулины.

Переливчатый, полный тончайших интонаций, «интеллигентный» голос тургеневской дамы.

И юный, звонкий, озорной голос Вари, словно молодое вино бродит и звенит лопающимися пузырьками.

Можно менять голос.

Это все внешнее можно менять.

Но глаза?

Нет, в глаза уж глядит душа.

Утомленные, мертвые, глаза старой фрейлины.

Тяжелый, тупой, как у глухих бывает, взгляд Акулины.

Глаза — море в солнечный день, каждое мгновение меняющее блеск, все отражающее,— облачко ли набежало, лучом ли ударило,— глаза Натальи Петровны.

И детские глаза Вари, в которые глядит душа ребенка.

Разгоревшиеся детские глаза, полные радостных искр.

Это уже «грим души».

Это был уже не:

— Концерт Савиной на своем таланте.

Это было какое-то чародейство, волшебство, колдовство.

Четыре раза в вечер мы видели Савину и ни разу не видели Савиной.

Это уже не искусство, а какое-то:

— Наваждение.

В этот вечер колдовства изо всех превращений Савиной особый восторг вызвала:

— «Дикарка».

Тогда Савина превратилась в шестнадцатилетнюю девочку-подростка...

Превратилась фигурой, лицом, голосом, походкой, каждым движением, смехом, глазами, взглядом,— душой...

И публика ее увидела,— у всего театра вырвался гром аплодисментов.

Радостных аплодисментов.

Каждая фраза вызывала восторг.

И гром рукоплесканий.

Все снова были влюблены в «дикарку».

Мы сумрачные люди.

И суровы к нашим артистам.

Сарра Бернар,— Сарра Бернар, которая была известной артисткой еще тогда, когда Савиной не было на сцене, играет Жанну д'Арк.

Весь Париж бегает ее смотреть.

— Ей восемнадцать лет! — говорят все.

И никому не приходит в голову сказать:

— Позвольте, г-жа Бернар! Как восемнадцать лет? Да вы в 70-м году, в год франко-прусской войны, были уже знаменитой актрисой?

Сколько лет актрисе?

Столько,— сколько ей на сцене.

Сколько ей можно дать, глядя на нее из зрительного зала.

Ведь я на ней жениться не собираюсь.

Чего ж мне заглядывать в ее метрическое свидетельство?

Я прихожу к театру за иллюзией.

И если мне иллюзию дают,— я получил «все сполна».

Зритель и актер заключает между собою договор.

«Я, зритель, с одной стороны, и я, актер, с другой, заключили настоящее условие в следующем:

1) Я, зритель, обязуюсь принимать Ивана Ивановича за принца Гамлета.

2) Я, актер, обязуюсь создать иллюзию, чтобы зритель принял меня за Гамлета».

Если этого условия нет:

— Тогда и игры никакой не будет! — как говорится в «Детстве и отрочестве» Толстого.

Покойная Чекалова играла комических старух, будучи двадцати лет от роду.

О. О. Садовская играла старух, будучи молодой женщиной.

Это особенность таланта.

Играть молодых женщин в 60 с лишком лет — это тоже особенность таланта Сарры Бернар.

И, казалось бы, надо только бога благодарить:

— Слава богу, если у таланта есть такая особенность!

А как часто мы несправедливы к нашим артистам.

С каким злорадством стараемся мы их «старщить».

Как часто несправедливы мы бывали к Савиной.

А она в ответ на добрый десяток лет несправедливости улыбнулась.

Сыграла «дикарку».

И как улыбнулась!

Как сыграла!

ВИЛЛИ ФЕРРЕРО

Смерть Ферреро!

Московские критики большие Неуважай-Корыта.

Ферреро расхвалил Петербург.

— Нам Питер не указ!

— Мы сами с усами.

— По-свойски!

— Оглоблей его!

— Мякита, навались!

Когда этот маленький мальчик доверчиво подбегал раскланиваться к самому краю эстрады, мне в ужасе хотелось крикнуть:

— Maestro! Bambino! Близко не подходи!

Ему грозила двойная опасность.

Что женщины от нежности задушат его поцелуями.

И что московские критики сейчас же здесь же его разложат, поднимут платьице и:

— Не дирижируй! Не дирижируй! Не дирижируй при нас!

— Мякита, навались!

Как они сразу возненавидели «приехавшего из Питера» мальчика!

Сам Ирод им улыбнулся с того света со всей свойственной ему нежностью.

Но не будем дразнить музыкальных критиков.

— «Просят тигров не дразнить».

Ферреро — прелестный ребенок.

Один из таких, которым, встретив на улице, вы улыбнетесь и оглянетесь вслед:

— Какая шевелюра!

Некрасив, но очень грациозен.

И жив, как козочка.

Немножко мал для своего возраста. Немножко худ. Немножко бледен.

От критиков ему отгрызаться было бы трудно.

Вилли Ферреро переживает критический период своей жизни: меняет молочные зубы.

И нескольких зубов у него презабавно нет.

— Показывает вступления! Велика важность! Просто память!

Первым дирижером, который дирижировал в Москве наизусть, без нот, был Буллериан.

Ему было не восемь лет.

У него не менялись молочные зубы.

Но вся Москва диву давалась:

— Целые симфонии наизусть!

И вопила:

— Гениальная память!

То, что необычайно, «чудесно» для человека в сорок восемь лет, пусть останется чудесным и для человека в восемь лет.

Согласны?

Музыкален ли он?

Он «танцует» то, что играет.

Танцует руками.

Головой. Губами.

Всем телом.

Я знаю только одного артиста, который до такой степени проникнут музыкой.

Это — великий и недосягаемый певец (и плохой политик) Шаляпин.

Такой царственный артист, что его следует называть:

— Федор Иоаннович Шаляпин.

— Наш Федор! — как говорят московские Неуважай-Корыта.

Ферреро в этом отношении — крошка Шаляпин.

Каждое движение его ручонок, каждый взмах головы и этой великолепной шевелюры полны ритма, сливаются с музыкой.

Составляют гармонию с тем, что играется.

А потому в каждую данную минуту, под оркестр, полны красоты.

Вы никогда не видели дирижера, который бы дирижировал такими красивыми и такими гармоничными жестами.

Да, есть моменты, когда хочется плакать.

Потому что красота и гармония заставляют слезы подступать к горлу.

«Гениальная» память, весь музыкален,— но чувствует ли он то, что играет?

Лет 10—12 тому назад меня поразил,— и очаровал,— манерой дирижировать Рахманинов.

Он дирижировал тогда своим «Алеко» в Большом театре.

Когда в оркестре возникала нежная, прекрасная мелодия, жесты Рахманинова становились такими, словно он нес через оркестр что-то бесценное.

Невероятно дорогое и страшно хрупкое.

Ребенка ли, хрустальную ли вазу тончайшей, ювелирной работы, или до краев наполненный бокал токайского «по гетману Потоцкому» вина, с 1612 года дремавшего в бутылке, «поросшей травою».

Вот-вот толкнет какой-нибудь неуклюжий контрабас или зацепит длинный фагот,— и драгоценная ноша упадет и разобьется.

Нет границ прекрасному в жизни,— и осторожность

может быть выражена в формах божественно-прекрасных.

Сикстинская мадонна вся полна боязни.

От которой сладко сжимается сердце.

Эта Девушка-Ребенок, несущая на руках Младенца со лбом мыслителя и глазами мудреца, полна трепета и дрожи за свою ношу.

— Не уронить бы! — говорит вся ее фигура.

Как она крепко держит руками ребенка!

Ей приходится идти по облакам.

Посмотрите на ее босые ноги.

Как пальцы впиваются в эти облака!

— Не пошатнуться бы!

Какая чарующая любовь и осторожность!

И в боязливом жесте, которым дирижировал Рахманинов чудесную мелодию, была божественная красота любви, вылившейся в осторожность.

Когда я любовался маленьким Ферреро, мне вспомнился очень большой Рахманинов и «Алеко».

Взгляните на этого малыша, когда доходит до мелодии, которая ему нравится и которую он, видимо, любит.

Его лицо наполняется нежностью.

А в глазенках, вытаращенных на оркестр, почти испуг:

— Вот-вот уронят!.. Разобьют!..

Его беспомощные ручонки полны умоляющего жеста:

— Тише, тише... Ради бога, осторожнее!..

Он любуется ею и боится за нее, за мелодию.

И боже, с какой осторожностью несет ее через оркестр.

Так он носит, вероятно, какое-нибудь особенно лакомое лакомство или особенно хрупкую игрушку.

А душа, которая переросла его, с такой нежностью носит «райские напевы» Бетховена.

Он «алгеброй не поверил гармонии».

Не успел еще.

Но музыкален ли он?

Если так может любить мелодию...

Но в восемь лет... чувствует ли он то, что играет? Переживает ли?

Был такой дирижер Виноградский.

Тоже чудо.

Ферреро — вундеркинд. А Виноградский — вудербанкир.

Директор банка и дирижер.

Европейски известный.

В первую минуту можно было расхохотаться от тех

гримас и ужимок, с которыми он вел музыкальное произведение.

Боже, какой ужас на лице!

Он, с дирижерского возвышения склонившийся над певицей, сию секунду от ужаса заткнет дирижерской палочкой широко раскрытое горло Андромахи, в отчаянии взывающей над телом Гектора:

— Иллион... Иллион... Иллион...

Но во вторую минуту всякое желание смеяться забывалось.

Перед вами был человек, который, действительно, переживал то, что игралось.

Мелодия и аккорд вызывали в нем радость и ужас.

На лице его — счастливую улыбку или гримасу страха.

Заставляли его или в ужасе отступать, или обеими руками благословлять оркестр на ту чудную мелодию, которую он играл.

Когда он в «Ночи на Лысой горе» дирижерской палочкой словно разрубал какую-то гору и с ужасом на лице отступал,— это было не смешно.

А действительно страшно.

Потому что в этом страшном аккорде оркестра, который он вызывал, словно надвое раскалывалась какая-то гора, и из расщелины, из недр земли, поднималось нечто, чего без ужаса нельзя видеть человеческому оку.

Вещим и могучим движением он, действительно, вызывал Чернобога, этот киевский кудесник.

И когда в финале увертюры к «Вильгельму Теллю» флейты и вся медь оркестра в диком, в бешеном, в фантастическом темпе взвивались, венчали и славили свободу, гремели, звенели и пели ее торжество,— этот прыгающий, скачущий, вертящийся, машущий руками шаман того колдовства, которое называется музыкой,— был не смешон, а великолепен.

Пьян и опьяняющ.

Когда среди ярких красок сказки-увертюры «Руслана»,— пестрых, как восточный ковер, горящих, как степь весною в цветах,— среди Черноморова великолепия звуков, блеска и звона,— скрипки вдруг запели:

Ты, моя Людмила...

и с лицом счастливым Виноградский сложил руки и сам заслушался мелодией,— безумная зависть сжала сердце.

Хорошо быть дирижером.

И творить из оркестра.

Это — бог.

Он сотворил и любуется:

— Как хорошо!

Однако, я вижу, в моем фельетоне «Вилли Ферреро» — о Ферреро ровно столько же, сколько в обвинительном акте по делу Бейлиса о Бейлисе.

Посмотрите на счастливую морденку Ферреро, когда оркестр напевает мелодии Бетховена.

Посмотрите на ту деликатность, которую он рекомендует оркестру по отношению к танцу-призраку Анитры:

— Не разбудите!.. Это сон!..

И взгляните на него, когда в увертюре к «Нюренбергским мейстерзингерам» духовые рисуют свою торжественную и величественную, как присяга, как клятва, суровую и стройную, ввысь уходящую музыкальную картину.

Когда в оркестре, среди города звуков, поднимается к небу готический собор.

Этот пассаж повторяется несколько раз. Можно проверить себя.

Это не самообман и не случайность.

Вилли бледнеет, доходя до этого момента.

В нем есть что-то жуткое, страшное, когда он обращается к духовым.

Словно с заклинанием.

Его глаза мертвеют.

В лице появляется что-то бетховенское, рубинштейновское.

Эта львиная грива.

И что-то львиное есть в том, как он «цапает» воздух сжатой в комочек ручонкой.

— Он — жуткий мальчишка.

И чем-то даже страшным веет от него в эту минуту.

Он — словно заклинатель и знает вещие слова. И умеет вызывать из звуков видения.

Пойдите, послушайте и посмотрите.

Вилли Ферреро, вероятно, ошибется такта на четыре,— но вы проведете один из самых очаровательных вечеров в своей жизни.

И увидите по этому помертвевшему лицу:

— Переживает ли он эти звуки?

— Послушайте, а не выучка ли все это?

— Послушайте, доставим себе роскошь не говорить глупостей.

Если Вилли Ферреро может запомнить не только все вступления в десятках музыкальных произведений, но и все жесты, все улыбки, все взгляды, все движения рук, головы, всего корпуса при каждом такте, тогда это такое чудо памяти, что надо брать за место не 25 руб. 20 коп., а 50 руб. 40 коп.

— Значит, он гений?

Вовсе не значит.

Бог его знает!

Гений открывает новые пути. Талант расширяет те, которые уже существуют.

Гений творит. Талант улучшает.

Вот когда Вилли Ферреро что-нибудь сотворит в области музыки, можно будет сказать, что он гений.

Когда он внесет в исполнение оркестра нечто новое и лучшее, можно будет сказать,что он талант.

А пока он только:

— Чудо.

— Хорошо — только!

Видел чудо,— и свидетельствую о нем.

Восьмилетний мальчик, который заставляет вспомнить и Шаляпина и Рахманинова, и Виноградского, и Рубинштейна,— разве не чудо?

Рубинштейна,— я настаиваю на этом.

И не только потому, что Рубинштейн был тоже вундеркиндом.

Лицо есть зеркало души.

И если в трагическом месте исполнения в лице мелькнуло что-то рубинштейновское, значит, что-то рубинштейновское прячется и в душе.

Конечно, он не Шаляпин, не Рахманинов, даже не Виноградский, не Рубинштейн.

Но если в восемь лет есть что-то шаляпинское, что-то рахманиновское, что-то рубинштейновское, этот мальчуган далеко пойдет.

Бросим эту плаксивую манеру, каждый раз, как мы видим в театре сытого, довольного, хорошо одетого, всеми балуемого ребенка не в зрительном зале, а на сцене вопить:

— Несчастный ребенок!

Вилли Ферреро начинает свой концерт без четверти девять и кончает в четверть одиннадцатого.

Величайшее несчастье для детей,— это когда их рано укладывают спать.

Этого они, действительно, терпеть не могут.

И если сказать, что есть мальчик, который ложится спать в 11 часов, всякий ребенок ему позавидует:

— Вот счастливый!

— Вилли любит музыку и слушает очень хорошую.

Он был бы, действительно, несчастным мальчиком, если бы его заставляли часов по пяти сидеть в школе и зубрить какие-нибудь идиотские «слова на букву ять».

Любой ребенок работает больше, чем Вилли Ферреро.

И обременен работой более трудной и изнуряющей, потому что ее терпеть не может.

Трудно понять, почему надо оплакивать этого счастливого ребенка, в восемь лет занимающегося только тем, что он любит.

Это и счастливый мальчик, и счастливый артист.

Потому что он единственный артист, который действительно не читает того, что о нем пишут: он недостаточно умеет читать.

Это чудесное видение. Радостное детство.

«Славят трубы и литавры юность светлую его».

И со счастливой морденкой он выбегает кланяться и благодарить.

А рядом с ним выходит и папаша.

Хотя никто в зале и не кричит:

— Автора.

ПРИМЕЧАНИЯ

На форзаце: Чистый пруд (от Покровки), 1888 г. Фототипия из альбомов В. Найденова. *Фотогравюра Шерер, Набгольц и К° в Москве.*

Произведения В. М. Дорошевича, вошедшие в этот однотомник, публикуются по изданиям:

Собр. сочинений. М.: Издание Т-ва И. Д. Сытина, 1905—1907, тт. 1, 2, 4, 6;

Вихрь и другие произведения последнего времени. М., 1906;

На смех: Юмористические рассказы. СПб.: Издание М. Г. Корнфельда. 2-е изд., 1912;

Рассказы и очерки/Составление, послесловие и примечания С. В. Иванова. М.: Моск. рабочий, 1962. (2-е изд.— 1966).

С. 24. *«Madame Sans-Gêne»* («Мадам Сен-Жен») — комедия В. Сарду и Э. Моро (1893).

Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — премьер-министр Великобритании в 1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1894 гг.; лидер либеральной партии с 1868 г.

С. 28. «Le bête humain» («Человек-зверь») — роман Э. Золя (1890).

С. 30. *Я больше не знаком с Карлом...*— неточный пересказ фрагмента из «Путевых картин» Г. Гейне («Путешествие по Гарцу», 1824).

С. 37. *Барсов Елпидифор Васильевич* (1836—1917) — русский фольклорист, исследователь древнерусской письменности, автор труда «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси» (т. 1—3, 1887—1889).

С. 39. *«Московские ведомости»* — газета, выходившая в 1756—1917 гг.; с 1859 г. ежедневно; носила официальный характер, с 1905 г. являлась ведущим органом черносотенной реакции.

Грингмут Владимир Андреевич (1851—1907) — русский публицист, критик и драматург; с 1897 г. редактор «Московских ведомостей», в 1905 г. один из организаторов черносотенной «Русской монархической партии».

С. 43. *Катилина* (ок. 108—62 до н. э.) — римский претор в 68 г. В 66—63 гг. пытался захватить власть в Риме. Заговор Катилины был раскрыт Цицероном.

С. 44. *«Птичка божия»* — отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824), публиковавшийся в хрестоматиях как самостоятельное произведение.

С. 48. *Лаццарони* — деклассированные люмпен-пролетарии в Южной Италии XVII—XIX вв.

С. 61. *Боборыкин Петр Дмитриевич* (1836—1921) — русский писатель, который, по его утверждению, ввел в русский язык слово «интеллигенция».

С. 70. *Остроумов Алексей Александрович* (1844/45—1908) — русский терапевт, клиницист и педагог.

С. 71. *Михайловский Николай Константинович* (1842—1904) — русский литературный критик, социолог и публицист, один из лидеров и идеологов народничества.

«Дарвин и Оффенбах» — неточное название статьи Н. К. Михайловского «Дарвинизм и оперетки Оффенбаха» (1871).

С. 72. *Чемберлен Джозеф* (1836—1914) — английский государственный деятель, неоднократно занимавший министерские посты в правительстве Великобритании.

С. 73. *Младочехи* — в 1874—1918 гг. члены буржуазно-либеральной Национальной свободомыслящей партии Чехии, выступавшие за преобразование Австро-Венгерской империи в триединую Австро-Венгро-Чешскую империю во главе с династией Габсбургов.

С. 74. *«Укажи мне такую обитель...»* — неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

«Стрельна» — ресторан в Москве.

С. 75. *Макс Холмин* — персонаж пьесы Л. Н. Антропова «Блуждающие огни» (1878).

С. 76. *«Яр»* — ресторан в Москве.

С. 78. *...после знаменательного представления «Вишневого сада».*— Первое представление пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» на сцене МХТ состоялось 17 января 1904 г.

С. 93. *Никита* — персонаж пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» (1886).

С. 95. *«Лики творчества»* — книга литературно-критических статей и очерков М. А. Волошина (1914).

С. 102. *Буренин Виктор Петрович* (1841—1926) — русский поэт, публицист, литературный критик. В молодости сотрудничал в революционно-демократических изданиях, в середине 70-х гг. порвал с ними и вошел в редакцию газеты «Новое время», где выступал с фельетонами и критическими статьями реакционного характера.

С. 104. *Скабичевский Александр Михайлович* (1838—1910) — русский литературный критик и историк литературы, выступавший с позиций либерального народничества.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936) — русский писатель и журналист, брат выдающегося режиссера и драматурга Вл. И. Немировича-Данченко.

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — русский поэт некрасовского направления.

С. 105. *Был один тут...*— имеется в виду русский поэт-демократ Семен Яковлевич Надсон (1862—1887), особенно жестоко преследовавшийся В. П. Бурениным.

С. 108. *Горбунов Иван Федорович* (1831—1895/96) — русский актер, мастер устных рассказов из народного быта.

С. 109. *«Донон»* — ресторан в Петербурге.

Мещерский Владимир Петрович (1839—1914) — князь, русский публицист, в 1872—1914 гг. редактор-издатель ультрареакционной газеты-журнала «Гражданин».

С. 110. *Генерал Дитятин* — постоянный персонаж устных рассказов И. Ф. Горбунова.

С. 125. *«Новое время»* — одна из крупнейших русских газет, выходившая в 1868—1917 гг. в Петербурге; с переходом издания к А. С. Суворину в 1876 г. занимала консервативные позиции, с 1905 г.— орган черносотенной реакции.

С. 126. *Меньшиков Михаил Осипович* (1859—1918) — журналист, в 90-х гг. публицист и критик правонароднической «Недели», после 1900 г. один из ведущих сотрудников «Нового времени».

«Земщина» — черносотенная газета, выходившая в Петербурге с 1909 по 1917 г., орган крайне правых депутатов Государственной думы, близких к «Союзу Михаила Архангела» и «Совету объединенного дворянства».

С. 127. *Витте Сергей Юльевич* (1849—1925) — граф, русский государственный деятель, председатель Комитета министров с 1903 г., Совета министров в 1905—1906 гг., автор манифеста 17 октября 1905 г.; проводил курс на привлечение буржуазии и либеральной интеллигенции к сотрудничеству с царским правительством.

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — русский политический деятель, лидер партии октябристов. В 1917 г. занимал пост военного и морского министра во Временном правительстве.

Петрункевич Иван Ильич (1843—1928) — земский деятель, юрист, в 1904—1905 гг. председатель «Союза освобождения», один из лидеров кадетской партии.

Родичев Федор Измаилович (1853—1932) — земский деятель, юрист, один из лидеров кадетской партии.

Долгоруков Павел Дмитриевич (1866—1927) — князь, земский деятель, один из основателей «Союза освобождения», видный кадет.

Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) — адвокат, один из лидеров кадетской партии.

Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749—1791) — граф, один из вождей Великой французской революции, приобретший популярность страстным обличением абсолютизма; казнен якобинцами.

С. 128. *«Русские ведомости»* — газета, выходившая в Москве в 1863—1918 гг.; в годы первой русской революции в направлении газеты, по словам В. И. Ленина, своеобразно сочетались «правый кадетизм с народническим налетом».

Замысловский Георгий Георгиевич (1872—?) — прокурор, выступавший обвинителем на политических процессах, в том числе и на процессе Бейлиса (1913), представитель черносотенцев в III и IV Государственных думах.

С. 132. *Суворин Алексей Сергеевич* (1834—1912) — русский драматург, публицист, с 1876 г. издававший в Петербурге газету «Новое время», которая неизменно занимала крайне правую политическую позицию.

С. 133. *«Россия»* — выходившая в Петербурге газета либерального направления, одним из ведущих сотрудников которой был В. М. Дорошевич.

С. 135. *Тихомиров Лев Александрович* (1852—1923) — русский революционер, публицист, член Исполкома «Народной воли», редактор народовольческих изданий за границей. В 1888 г. подал Александру III прошение о помиловании, по возвращении в Россию стал убежденным монархистом, выпустил книгу воспоминаний.

С. 136. *Добиться пересмотра этого приговора...* — Первое семитомное Собрание сочинений А. И. Герцена в России вышло (с многочисленными цензурными пропусками и искажениями) в 1905 г.

Дурново Иван Николаевич (1834—1903) — русский государственный деятель, в 1889—1895 гг. министр внутренних дел, с 1895 г. председатель Комитета министров.

Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — министр внутренних дел, шеф отдельного корпуса жандармов в 1902—1904 гг.; убит эсером Е. С. Сазоновым.

С. 137. *Сипягин Дмитрий Сергеевич* (1853—1902) — министр внутренних дел в 1900 г., организатор жестоких карательных мер против рабочего, крестьянского и студенческого движений; убит эсером С. В. Балмашевым.

С. 138. *Крестьянский банк* существовал в Российской империи в 1882—1917 гг., выдавал ссуды под залог покупаемых крестьянами земель, во время столыпинской реформы скупал помещичьи земли и продавал их мелкими участками крестьянам.

С. 142. *Тан* (Богораз) *Владимир Германович* (1865—1936) — русский этнограф, писатель, языковед, общественный деятель, активно участвовавший в народовольческом движении.

С. 144. *«С натуги лопнет»* — неточная цитата из басни И. А. Крылова «Лягушка и вол».

С. 145. *«Полицейская рука так устроена...»* — неточный пересказ одного из эпизодов первой части повести Н. В. Гоголя «Портрет» (1834).

С. 146. *Манифест 17 октября 1905 г.* («Об усовершенствовании государственного порядка») провозглашал гражданские свободы и учреждение законодательной думы.

С. 147. *Дегаев Сергей Петрович* (1857—1920) — участник революционного движения с 1878 г., в 1882 г. завербован петербургской охранкой, одновременно возглавил Центральную группу «Народной воли»; стремясь уйти от разоблачений, убил шефа охранного отделения Г. П. Судейкина; эмигрировал в США.

С. 155. *Фигнер Николай Николаевич* (1857—1918) — русский певец (лирико-драматический тенор).

С. 156. *Расплюев* — персонаж комедий А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1854) и «Смерть Тарелкина» (1868), а также «Писем к тетеньке» (1881) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

С. 168. *«Ганнибалова клятва»* — имеется в виду клятва пожертвовать жизнью для борьбы за освобождение русского народа, которую в 1827 г. принесли А. И. Герцен и Н. П. Огарев на Воробьевых горах в Москве.

«Гражданин» — политическая газета-журнал, издававшаяся в 1872—1914 гг. князем В. П. Мещерским; орган крайне правых слоев русского дворянства.

С. 179. *Чимборазо* — потухший вулкан в Эквадоре, высота 6262 метра.

С. 185. *Манифест 6 августа 1905 г.* объявлял о созыве Государственной думы, названной булыгинской по имени царского министра — автора проекта создания Думы. Большевики призывали к безусловному бойкотированию булыгинской думы.

С. 186. *«Comedie Francois»* («Комеди Франсез») — старейший драматический театр в Париже, основанный в 1680 г.

Муне-Сюлли Жан (1841—1916) — французский актер-трагик, с 1872 г. выступавший на сцене театра «Комеди Франсез».

С. 194. *Ринальдо-Ринальдини* — герой романа немецкого писателя Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» (1797), отличавшийся светскими манерами и чувствительностью.

Жорес Жан (1859—1914) — руководитель французской социалистической партии, идеолог социал-реформизма.

С. 200. *«Не приведи бог видеть русский бунт...»* — цитата из «Пропущенной главы», не включенной в окончательный текст повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836).

С. 201. *Шарапов Сергей Федорович* (1855—1911) — русский публицист, выразитель интересов крепостнического дворянства, именовавший себя «неославянофилом».

С. 203. *Реклю Жан Элизе* (1830—1905) — французский географ, социолог, член I Интернационала, где он примыкал к бакунистам.

С. 204. *Sapienti sat* — буквально «мудрому достаточно»; умный поймет (*лат.*).

С. 221. *Анекдот про одного известного русского писателя.* — Сравни изложение этого сюжета в мемуарах И. И. Ясинского «Роман моей жизни. Книга воспоминаний» (М.; Л.: ГИЗ, 1926).

С. 223. *...Поехал в Кронштадт* — т. е. совершил популярное в те годы паломничество к известному крайне правому церковному деятелю, протоиерею Андреевского собора в Кронштадте Иоанну Кронштадтскому — Ивану Ильичу Сергиеву (1829—1908).

С. 226. *«Мужик в казарме или в замке чему-нибудь научится...»* — неточная цитата из четвертого действия пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» (1886).

С. 232. *Шерр Иоганн* (1817—1860) — немецкий историк, участник революции 1848 г.; книга «Комедия всемирной истории» вышла на русском языке в 1870 г.

С. 247. *...morituri...* — идущие на смерть (*лат.*).

С. 252. «Союз русского народа» — организация черносотенцев в России в 1905—1917 гг., имевшая отделы в ряде городов Российской империи.

«Анатэма» — пьеса Л. Н. Андреева (1909).

«Демон» — опера А. Г. Рубинштейна (1871).

С. 253. *...Г-н Лермонтов Столыпиным родственником приходится...* — тут пародийно обыгрывается принадлежность министра внутренних дел и пред-

седателя Совета министров в 1906—1911 гг. Петра Аркадьевича Столыпина (1862—1911) к тому же дворянскому роду, который дал двоюродного дядю и друга Лермонтова — Алексея Аркадьевича Столыпина (1816—1858).

С. 254. *«Русское знамя»* — ежедневная черносотенная газета, выходившая с 1905 по 1917 г. под руководством А. И. Дубровина.

«Аскольдова могила» — опера А. Н. Верстовского (1835).

С. 255. *Пуришкевич Владимир Митрофанович* (1870—1920) — крупный землевладелец, один из лидеров «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела», группировки крайне правых во II—IV Государственных думах.

С. 256. *Дубровин Александр Иванович* (1855—1918) — врач, лидер «Союза русского народа»; после Октябрьской революции расстрелян за антисоветскую деятельность.

С. 258. *«Мария Стюарт»* — трагедия Ф. Шиллера (1801).

С. 264. *Таманьо Франческо* (1850—1905) — итальянский певец (драматический тенор).

С. 267. *Поварская* — улица в Москве (ныне ул. Воровского).

Андреев-Бурлак (Андреев) *Василий Николаевич* (1843—1888) — русский актер; на сцене с 1868 г.

Иванов-Козельский (Иванов) *Митрофан Трофимович* (1850—1898) — русский актер, игравший в провинции и в Москве; на сцене с 1869 г.

С. 268. *«На пороге к делу»* — пьеса Н. Я. Соловьева (1879).

«Записки сумасшедшего» — повесть Н. В. Гоголя (1834).

«Не так живи, как хочется» — пьеса А. Н. Островского (1854).

Борис — персонаж пьесы А. Н. Островского «Гроза» (1859).

С. 269. *Рощин-Инсаров* (Пашенный) *Николай Петрович* (1861—1899) — русский актер; на сцене с 1883 г. Играл в московском театре Корша, киевском театре Соловцова и др. Убит архитектором Маловым, приревновавшим Рощина-Инсарова к своей жене артистке А. А. Пасхаловой, служившей вместе с Рощиным в театре Соловцова.

Артем (Артемьев) *Александр Родионович* (1842—1914) — русский актер; с 1888 г. в «Обществе искусства и литературы», с 1898 г. в МХТ.

Фирс — персонаж пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» (1903).

«Нахлебник» — пьеса И. С. Тургенева (1848).

Аркадий Счастливцев — персонаж пьесы А. Н. Островского «Лес» (1870).

Кулигин — персонаж пьесы А. Н. Островского «Гроза».

С. 271. *Самарин Иван Васильевич* (1817—1885) — русский актер, педагог; с 1837 г. в труппе Малого театра, с 1862 г. преподавал в Московском театральном училище, с 1874 г. руководил драматическим классом Московской консерватории.

Долматов (Лучич) *Василий Пантелеймонович* (1852—1912) — русский актер и режиссер, играл в московском театре А. А. Бренко, затем в петербургском Александринском театре.

Пушкинский театр Бренко — театр в Москве, организованный в 1880 г. Анной Алексеевной Бренко (ум. в 1934 г.), где играли многие известные актеры того времени.

С. 272. *Писарев Модест Иванович* (1844—1905) — русский актер, играл в провинции, в Москве, затем в Александринском театре.

Глама-Мещерская (Барышева) *Александра Яковлевна* (1856—1942) — русская актриса, игравшая в московских театрах (у Корша, Лентовского, Бренко) и в провинции.

С. 272. *Чернышевский переулок* — ныне ул. Станкевича в Москве.

С. 275. *«Грех да беда на кого не живет»* — пьеса А. Н. Островского (1862).

Алексеев Александр Алексеевич (1822—1895) — русский актер, играл на сцене Александринского и частных провинциальных театров.

С. 278. *«Жертва за жертву»* — пьеса В. А. Дьяченко (1873).

С. 279. *«Светоч»* — ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в Москве в 1882—1885 гг.

С. 281. *Храм Христа Спасителя* — один из крупнейших храмов старой Москвы; построен в 1837—1883 гг. в память Отечественной войны 1812 г. на месте бывшего Алексеевского монастыря; разобран в 1930-е гг. в связи с реконструкцией Москвы (на этом месте ныне бассейн «Москва»).

Волгина (Миллер) *Софья Петровна* — русская провинциальная актриса, в сезон 1885—1886 гг. игравшая на сцене Малого театра.

«Жена напрокат» — водевиль С. Ф. Рассохина (1881).

С. 282. *Корша театр* — основан в Москве театральным предпринимателем Федором Адамовичем Коршем (1852—1923) в 1882 г. На сцене театра, прекратившего свое существование в 1932 г., играли крупнейшие русские актеры.

Бойто Арриго (1842—1918) — итальянский поэт и композитор. Опера «Мефистофель» при первой постановке в миланском театре «Ла Скала» (1868) успеха не имела. Новая премьера оперы на сцене «Ла Скала» с Ф. И. Шаляпиным в заглавной роли состоялась 16 марта 1901 г.

С. 286. *Мазини Анджело* (1844—1926) — итальянский певец (тенор).

С. 287. *Dura lex, sed lex* — закон суров, но это закон (*лат.*).

С. 290. *Тосканини Артуро* (1867—1957) — итальянский дирижер; в 1898—1928 гг. (с перерывами) возглавлял театр «Ла Скала» в Милане; в 1928 г. эмигрировал из фашистской Италии в США.

С. 292. *Донской Лаврентий Дмитриевич* (1858—1917) — русский оперный певец (лирико-драматический тенор), в 1883—1904 гг. выступавший на сцене Большого театра.

С. 299. *Зичи Михай* (Михаил Александрович) (1824—1906) — венгерский живописец, живший в России. Автор иллюстраций к произведениям М. Ю. Лермонтова.

С. 305. *«Добрыня»* — опера А. Т. Гречанинова (1903). Ф. И. Шаляпин исполнил заглавную роль в этой опере на сцене Большого театра в 1903 г.

С. 308. *Кругликов Семен Николаевич* (1851—1910) — русский музыкальный критик, педагог, сотрудничал в московских газетах «Современные известия», «Новости дня», «Русское слово» и др. В 1889—1895 гг. заведовал музыкальным отделом журнала «Артист».

С. 309. *Вяльцева Анастасия Дмитриевна* (1871—1913) — русская эстрадная певица (сопрано), артистка оперетты, популярная исполнительница цыганских романсов.

С. 310. *«Струензэ»* — пьеса М. Бера (1846), музыку к которой написал брат драматурга — композитор Дж. Мейербер.

Пастухов Николай Иванович (1822—1911) — беллетрист, издатель и редактор газеты «Московский листок».

Опера Зимина — оперный театр в Москве, организованный Сергеем Ивановичем Зиминым (1875—1942).

С. 313. *«Новости дня»* — ежедневная газета в Москве в 1883—1906 гг., в которой работал В. М. Дорошевич.

Лентовский Михаил Валентинович (1843—1906) — русский актер, антрепренер, оперный и опереточный режиссер.

С. 313. *«Сельская честь»* — опера П. Масканьи (1890).

Патти Аделина (1843—1919) — итальянская певица (колоратурное сопрано), выступавшая с гастролями в России.

Дузэ (Дузе) *Элеонора* (1858—1924) — итальянская драматическая актриса, гастролировавшая в России.

С. 314. *Зибель* — персонаж оперы Ш. Гуно «Фауст», олицетворяющий собою платоническую преданность возлюбленной.

С. 316. *Давыдов* (Карапетян) *Александр Давыдович* (1850—1911) — русский

певец (тенор), артист оперы и оперетты, исполнитель цыганских романсов.

С. 317. *«Искатели жемчуга»* — опера Ж. Бизе (1863).

Родон (Габель) *Виктор Иванович* (1843—1892) — русский артист оперетты, исполнитель злободневных куплетов.

Бельская Серафима Александровна (1846—1933) — русская артистка оперетты, выступала в театре М. В. Лентовского в Москве.

Зорина (Попова) *Вера Васильевна* (1853—1903) — русская артистка оперетты, в 1877—1885 гг. выступавшая в театре М. В. Лентовского в Москве.

С. 318. *«Разбойники»* — оперетта Ж. Оффенбаха (1869).

С. 319. *«Синяя борода»* — оперетта Ж. Оффенбаха (1866).

С. 321. *Принц Гарри* — персонаж пьесы У. Шекспира «Генрих IV» (1597—1598).

С. 322. *Хохлов Павел Акинфиевич* (1854—1919) — русский певец (баритон), в 1879 г. дебютировавший на сцене Большого театра.

С. 323. *Эммануэль Джованни* (1848—1902) — итальянский актер-трагик, в 1893 г. гастролировавший в России.

С. 323. *«Парадиз»* — театр в Москве на Большой Никитской улице (ныне ул. Герцена), открытый в 1885 г. антрепренером и актером Г. Парадизом. На сцене театра выступали русские и зарубежные гастрольные труппы.

«Россия» — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в Петербурге с 1899 г. Одним из ее ведущих сотрудников был В. М. Дорошевич.

С. 325. *«Татьяна Репина»* — пьеса А. С. Суворина (1889).

С. 326. *«Лукреция Борджиа»* — опера Г. Доницетти (1833).

Ноден Эмилио (1823—1890) — итальянский певец (тенор), неоднократно пел на русских оперных сценах.

«Африканка» — опера Дж. Мейербера (1864). Исполнение роли Васко де Гамы было завещано композитором Э. Нодену.

С. 329. *«Русская мысль»* — научный, литературный и политический журнал либерального направления, издавался в Москве с 1880 по 1918 г.

Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — русский публицист, литературный критик, с 1885 г. фактический редактор журнала «Русская мысль».

С. 330. *Невежин Петр Михайлович* (1841—1919) — русский писатель, драматург, автор около тридцати пьес.

Шпажинский Ипполит Васильевич (1848—1917) — русский драматург, автор многочисленных комедий, психологических и исторических драм, пьес из жизни городского «дна».

Сумбатов-Южин Александр Иванович (1857—1927) — русский актер, режиссер, драматург; на сцене с 1876 г. Народный артист республики (1922).

Александров Владимир Александрович (1856—?) — русский драматург, адвокат, поверенный Общества русских драматических писателей в Петербурге.

Александров-Крылов Виктор Александрович (1838—1906) — русский драматург, автор около 125 драм и комедий.

С. 330. *Кондратьев Иван Максимович* (ум. в 1924 г.) — чиновник в канцелярии московского генерал-губернатора; делопроизводитель (с 1876 г.), затем (с 1884 г.) секретарь Общества русских драматических писателей.

С. 331. *Долгоруков Владимир Андреевич* (1810—1891) — князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, московский генерал-губернатор в 1856—1891 гг.

Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888) — литератор, театральный критик, переводчик пьес Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона; с 1876 г. председатель Общества любителей российской словесности, с 1886 г. председатель Общества русских драматических писателей.

Васильев-Флеров Сергей Васильевич (1841—1901) — русский театральный критик, журналист.

Сарсэ Франциск (Сарсе де Сутьер Франсуа) (1827—1899) — французский писатель, театральный критик, с 1867 г. печатавший еженедельные обзоры театральной жизни Парижа в газете «Тан».

Ракшанин Николай Осипович (1858—1903) — беллетрист, драматург, театральный критик.

Кичеев Николай Петрович (1847—1890) — журналист, театральный критик, издатель журнала «Будильник».

С. 332. *Кичеев Петр Иванович* (1845—1902) — театральный рецензент газеты «Московский листок».

Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — русский актер, крупнейший представитель романтизма в русском театральном искусстве; на московской сцене с 1817 г., с 1824 г. в Малом театре.

Тарновский Константин Августинович (1826—1892) — переводчик, драматург, начальник репертуарной части московских театров, старшина Артистического кружка.

С. 333. *«Сафо»* — трагедия Ф. Грилльпарцера (1818 г.).

«В неравной борьбе» — пьеса В. А. Александрова (1891).

С. 334. *Росси Эрнесто* (1827—1896) — итальянский актер-трагик; на сцене с 1846 г.

Сальвини Томмазо (1829—1915) — итальянский актер-трагик, неоднократно приезжавший для выступлений на русских сценах.

С. 336. *«Симфония»* — пьеса М. И. Чайковского (1890).

С. 337. *«Кин»* — пьеса А. Дюма-отца (1836).

С. 338. *«Ричард III»* — трагедия У. Шекспира (1593).

Ленский Александр Павлович (1847—1908) — русский актер, режиссер, театральный педагог; на сцене с 1865 г., с 1867 г. в Малом театре.

Общедоступный театр на Солянке — частный театр в Москве, действовавший в 1873—1877 гг.

С. 339. *Рыбаков Николай Хрисанфович* (1811—1876) — русский актер; на сцене с 1826 г., прославился в спектаклях по пьесам А. Н. Островского.

Макшеев Владимир Александрович (1843—1901) — один из ведущих актеров Малого театра.

Стрепетова Полина (Пелагея) *Антипьевна* (1850—1903) — русская актриса; на сцене с 1865 г., в 1881—1890 гг. в труппе Александринского театра.

Давыдов Владимир Николаевич (настоящие имя и фамилия — Иван Николаевич Горелов) (1849—1925) — русский актер; на сцене с 1867 г., в 1880—1924 гг. в Александринском театре. Народный артист республики (1922).

«Фауст наизнанку» — пародийная оперетта Ф. Эрве (1869).

С. 340. *Шумский* (Чесноков) *Сергей Васильевич* (1820—1878) — русский актер, педагог; с 1841 г. на сцене Малого театра.

С. 340. *«Уриэль Акоста»* — трагедия немецкого писателя К. Гуцкова (1847 г.).

С. 341. *Глумов* — персонаж пьесы А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868).

Петруччио — персонаж комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой» (1594).

Бенедикт — персонаж комедии У. Шекспира «Много шума из ничего» (1598).

С. 342. *«Дело Плеянова»* — пьеса В. А. Александрова-Крылова (1879).

«Синяя птица» — пьеса бельгийского драматурга М. Метерлинка (1908). 30 сентября 1908 г. пьеса была поставлена К. С. Станиславским на сцене МХТ и с тех пор входит в репертуар театра.

«Наш друг Неклюжев» — комедия А. И. Пальма (1879).

С. 344. *«Нефтяной фонтан»* — пьеса В. Л. Величко и М. Г. Маро; поставлена на сцене Малого театра в 1901 г.

С. 347. *Медведева Надежда Михайловна* (1832—1899) — одна из ведущих актрис Малого театра.

Горев (Васильев) *Федор Петрович* (1850—1910) — русский артист, выступавший на провинциальной сцене, а затем в Малом и Александринском театрах.

«Старый барин» — пьеса А. И. Пальма (1873).

С. 348. *Аверкиевская пьеса из византийской истории...* — имеется в виду пьеса Д. В. Аверкиева «Теофано» (1889).

С. 349. *«...О небо!..»* — цитата из маленькой трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830).

С. 352. *«Горькая судьбина»* — пьеса А. Ф. Писемского (1859).

«На бойком месте» — пьеса А. Н. Островского (1865).

Лекуврер Адриенна (1692—1730) — французская актриса, с 1717 г. выступавшая на сцене «Комеди Франсез» в трагедиях Корнеля и Расина, в комедиях Мольера.

С. 353. *«Закат»* — пьеса А. И. Сумбатова-Южина (1899).

С. 356. *Киселевский Иван Платонович* (1839—1898) — русский артист, игравший на провинциальной сцене, затем в Александринском театре.

С. 357. *«Каширская старина»* — пьеса Д. В. Аверкиева (1872).

С. 359. *Соловцов Николай Николаевич* (1857—1902) — русский актер, режиссер, антрепренер; в 1891 г. с группой актеров создал в Киеве «Товарищество драматических артистов»; с 1893 г. возглавлял театр Соловцова.

«Арказановы» — пьеса А. И. Сумбатова-Южина (1886).

«Цепи» — пьеса А. И. Сумбатова-Южина (1888).

С. 360. *Колосов* — герой повести И. С. Тургенева «Андрей Колосов» (1844).

С. 361. *Арман Дюваль, Маргарита Готье* — персонажи пьесы А. Дюма-сына «Дама с камелиями» (1852).

«В горах Кавказа» — комедия И. Л. Щеглова-Леонтьева (1887).

С. 362. *«Богема»* — опера Дж. Пуччини (1896).

С. 365. *Санин* — герой одноименного романа М. П. Арцыбашева (1907).

Поручик Пирогов — герой повести Н. В. Гоголя «Невский проспект» (1834).

С. 366. *«...Влюбляемся и алчем...»* — цитата из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825).

«Бессмертья, может быть, залог!» — цитата из маленькой трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1832).

С. 368. *«Мы дики, нет у нас законов...»* — неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824).

С. 370. *Крэг Эдуард Гордон* (1872—1966) — английский режиссер, художник и теоретик театра. В 1911 г. принимал участие в постановке «Гамлета» У. Шекспира на сцене МХТ.

С. 370. *Вишневский* (Вишневецкий) *Александр Леонидович* (1861—1943) — артист МХТ.

С. 371. *«Собака садовника»* («Собака на сене») — комедия Лопе де Вега (1618).

С. 372. *Сабуров Симон Федорович* (1868—1929) — русский театральный деятель, актер и антрепренер; в 1890—1893 гг. был актером и управляющим труппой московского театра «Эрмитаж».

С. 375. *Неделин* (Недзляковский) *Евгений Яковлевич* — русский актер, игравший в провинциальных театрах.

Садовский (Ермилов) *Пров Михайлович* (1818—1872) — русский артист; с 1832 г. выступал на провинциальных сценах, с 1839 г. в Малом театре.

Поссарт Эрнст (1841—1921) — немецкий актер и режиссер; на сцене с 1861 г. Гастролировал во многих странах Европы и Америки.

«Чашка чаю» — комедия Ш.-Л.-Э. Ньитерра и Ж. Дерлея.

С. 377. *Фуше Жозеф* (1759—1820) — министр полиции Франции в 1799—1802, 1804—1810, 1815 гг.

Тэн Ипполит (1828—1893) — французский литературовед, критик, историк, философ.

Режан (Режю) *Габриель* (1856—1920) — французская актриса, возглавившая в 1906 г. театр Режан в Париже.

С. 378. *Чужбинов* (Гринштейн) *Тимофей Александрович* (1852—1897) — русский актер; на сцене с 1874 г., большую часть своей актерской жизни провел в Киеве.

С. 380. *Рейнгардт Макс* (1873—1943) — немецкий режиссер, актер, театральный деятель, реформатор театра.

С. 381. *Варламов Константин Александрович* (1849—1915) — русский драматический актер; на сцене с 1867 г., с 1875 г. в Александринском театре.

С. 382. *«Правда хорошо, а счастье лучше»* — пьеса А. Н. Островского (1876).

С. 385. *«Не все коту масленица»* — пьеса А. Н. Островского (1871).

С. 387. *Боссюэ Жан Бенинь* (1627—1704) — французский писатель, епископ, идеолог монархического абсолютизма.

С. 389. *«Не в свои сани не садись»* — пьеса А. Н. Островского (1852).

С. 390. *«Прекрасная Елена»* — оперетта Ж. Оффенбаха (1864).

С. 393. *Михайловский театр* — театр в Петербурге, открывшийся в 1833 г. первоначально как концертный зал, где проходили гастроли зарубежных драматических, оперных и опереточных трупп. С конца 1870-х гг. до февраля 1917 г. в театре играла постоянная французская труппа.

С. 394. *Столыпин Петр Аркадьевич* (1862—1911) — русский государственный деятель, министр внутренних дел и председатель Совета министров с 1906 г. Убит агентом охранки.

С. 396. *«Холопы»* — пьеса П. П. Гнедича (1907).

«Дикарка» — пьеса А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева (1879).

«Месяц в деревне» — пьеса И. С. Тургенева (1850).

С. 398. *Бернар Сарра* (1844—1923) — французская актриса; в 1872—1880 гг. выступала на сцене парижского театра «Комеди Францез», в 1898—1922 гг. возглавляла «Театр Сарры Бернар».

С. 399. *Садовская Ольга Осиповна* (1849—1919) — русская актриса, с 1879 г. выступавшая на сцене Малого театра.

Ферреро Вилли (1906—1954) — итальянский дирижер, выступал с детских лет, еще не умея читать и не зная нот. В семилетнем возрасте гастролировал во многих странах Европы, в том числе и в России (1913).

С. 400. *Ирод I Великий* (ок. 73—4 до н. э.) — царь Иудеи, которому христианская мифология приписывает «избиение младенцев» при известии о рождении Иисуса Христа.

С. 401. *«Алеко»* — опера С. В. Рахманинова (1893).

С. 402. *Виноградский Александр Николаевич* (1855—1912) — русский дирижер, композитор, музыкальный и театральный деятель.

С. 403. *Чернобог* — персонаж оперы-балета Н. А. Римского-Корсакова «Млада» (1892).

«Вильгельм Телль» — опера Дж. Россини (1829).

«Руслан и Людмила» — опера М. И. Глинки (1842).

С. 404. *Дело Бейлиса* — судебный процесс (Киев, 1913) над евреем М. Бейлисом по ложному обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика, вызвавший активный протест передовой общественности России. Суд присяжных оправдал М. Бейлиса.

Анитра — персонаж балета А. А. Ильинского «Нур и Анитра» (1907).

«Нюрнбергские мейстерзингеры» — опера Р. Вагнера (1867).

СОДЕРЖАНИЕ

С. Чупринин. Газетная муза Власа Дорошевича 5
Репортер 18
Двадцатый век 23

Анекдотическое время

Маленькие чиновники 30
Русский язык 40
Учитель 52
Интеллигенция 61
В Татьянин день 69
Воспоминания об А. П. Чехове 77
Убийство 79
Писательница 86
Поэтесса 89
Декадент 94
Старый палач 101
Анекдотическое время 107
Дело об убийстве Симонн Диманш 111
Дело о людоедстве 117

Вихрь

Герцен 134
И. Н. Дурново 136
Вихрь 165
Демон 252
Истинно русский Емельян 255
Депутат III Думы 262

Старая театральная Москва

Уголок старой Москвы 266
Шаляпин в «Мефистофеле» 282
Мефистофель 292
Демон 296
Добрыня 305
Петроний оперного партера 308
Саша Давыдов 316
М. Н. Ермолова 328
А. П. Ленский 338
Кин (Ф. П. Горев) 347
П. А. Стрепетова 352
Рощин-Инсаров 356
Гамлет 370
Е. Я. Неделин 375
Последний русский актер 378
Великий комик 381
М. Г. Савина 390
Вилли Ферреро 399

Примечания 407

Влас Михайлович Дорошевич

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ

Составитель
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУПРИНИН

Заведующая редакцией *Л. Сурова.* Редактор *И. Колчина.* Художественный редактор *И. Сайко.* Технические редакторы *Г. Смирнова, Л. Беседина.* Корректоры *З. Кулемина, В. Чеснокова.*

ИБ № 3469

Сдано в набор 31.03.86. Подписано к печати 04.09.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 24,15. Уч.-изд. л. 24,20. Тираж 100 000 экз. Заказ 1733. Цена 2 р. 20 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854. ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8. Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



В. М. Дорошевич.
Репродукция из альбома «Современные деятели литературы и искусства». СПб., 1901 г.





Красная площадь, 1884 г.
Большой театр, 1883 г.
Фототипии из альбомов В. Найденова.





Здание присутственных мест на Воскресенской площади, 1888 г.
Исторический музей, 1884 г.
Фототипии из альбомов В. Найденова.





Вид Садовой, 1887 г.
Сухарева башня, 1884 г.
Фототипии из альбомов В. Найденова.





Кузнецкий мост, 1888 г.
Фототипия из альбомов В. Найденова.
Моды начала 1880-х годов.
Литографии. Издание Германа Гоппе. СПб., 1883 г.





Станция Московско-Рязанской железной дороги, 1888 г.
Красные ворота, 1884 г.
Фототипии из альбомов В. Найденова.



Политехнический музей, 1884 г.
Третьяковский проезд в Китай-городе.
Фототипии из альбомов В. Найденова.





На Долгоруковской близ тюрьмы.
Открытка из серии «Москва в баррикадах», 1906 г.
«Старый строй».
Карикатура из журнала «Стрела» (Петербург, 1907, № 3)


Выпускъ 75 (1906 г.) № 6.
«Юмористическій альманахъ»
ПРОГРЕССИВНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ
ВРЕМЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ, ЦИРКУЛЯРАМИ И ПРОЧИМИ ПРЕЛЕСТЯМИ ИСТИННО-КОНСТИТУЦІОННАГО РЕЖИМА.

Сказочка о бюрократии: «Нос вытащит — хвост увяз, хвост вытащит — нос увяз».
Карикатура из юмористического альманаха «Прогрессивный избиратель» (Петербург, 1906, № 6)


Журналъ Народный
РОЖОК
Цѣна 2 коп.
№ 1.
1910 г.

Подписная цѣна:
На годъ 2 руб.,
Заграницу 3 руб.

Рѣчь черносотеннаго оратора.

„Не нужна намъ конституція,
Думу тоже надо прочь...
Намъ нужна въ странѣ сѣкуція,
Намъ мила глухая ночь.
Вы покой въ странѣ нарушили!
Вы стоите за жидовъ,
Вы основы всѣ разрушили,
Чтете насъ за дураковъ.
Мы спасители отечества,
Нашъ девизъ, назадъ, назадъ!
Пусть да, здравствуетъ купечество,
Баринъ, попъ и бюрократъ.
Что ты Пуришъ занедужился
Или струсилъ съѣшь тя волкъ?!“
Тутъ ораторъ понатужился,
Поперхнулся и замолкъ.

«Речь черносотенного оратора».
Карикатура из журнала «Народный рожок» (1910, № 1)



«И видит око, да зуб неймет».
Карикатура из журнала «Стрела» (Петербург, 1907, № 2)



Циркуляры в лицах: «При выборах в Думу не останавливаться перед крайними мерами относительно крестьян. Губернатор З.».
Карикатура из журнала «Прогрессивный избиратель» (Петербург, 1906, № 6)

«Ведь вот беда! У меня ефта самая плюса сделалась, а пристав велит в отставку выходить: потому, грит, ты, Сидоренко, леветь начал!»
Карикатура из журнала «Прогрессивный избиратель» (Петербург, 1906, № 6)



«Клоуны-эксцентрики».
Карикатура из журнала «Стрела» (Петербург, 1907, № 6)



А. В. Амфитеатров.
Репродукция из альбома «Современные деятели литературы и искусства». СПб., 1901 г.



А. П. Чехов.
Репродукция портрета писателя работы И. Э. Бриза, 1898 г.



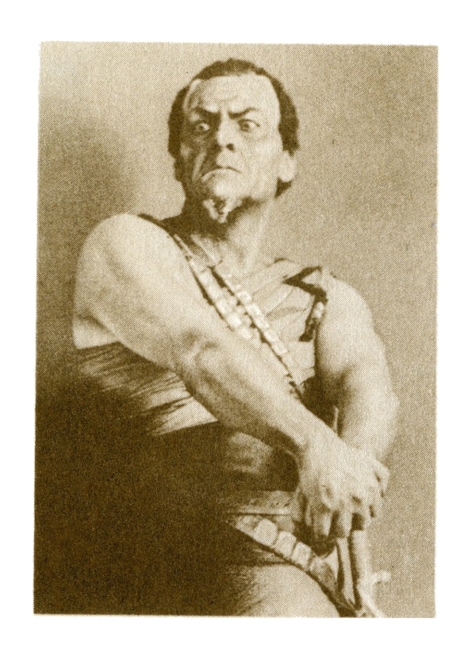
А. П. Ленский.
С открытки середины 1900-х годов. Художественная фотография К. А. Фишера, Москва



Ю. М. Юрьев.
С открытки начала 1900-х годов. Фотография Рихарда, Петербург



Ф. И. Шаляпин.
С открытки начала 1900-х годов



Ф. И. Шаляпин в роли Мефистофеля (опера «Мефистофель» Ш. Гуно. Большой театр, 1906 г.). *С открытки. Художественные фотографии К. А. Фишера, Москва*



М. Н. Ермолова.
С открытки 1900-х годов. Художественная фотография К. А. Фишера, Москва



М. Г. Савина — Василиса Мелентьевна, в одноименной пьесе А. Н. Островского, 1899 г.
С открытки начала 1900-х годов